

# ФИЛОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выходит четыре раза в год

№1

2009



Барнаул

Издательство Алтайского  
государственного университета  
2009

## Учредители

Алтайский государственный университет  
Барнаульский государственный педагогический университет  
Бийский педагогический государственный университет имени  
В.М. Шукшина  
Горно-Алтайский государственный университет

## Редакционный совет

О.В. Александрова (Москва), К.В. Анисимов (Красноярск), Л.О. Бутакова (Омск), Т.Д. Венедиктова (Москва), Н.Л. Галеева (Тверь), Л.М. Геллер (Швейцария, Лозанна), О.М. Гончарова (Санкт-Петербург), Т.М. Григорьева (Красноярск), Е.Г. Елина (Саратов), Л.И. Журова (Новосибирск), Г.С. Зайцева (Нижний Новгород), Е.Ю. Иванова (Санкт-Петербург), Ю. Левинг (Канада, Галифакс), П.А. Лекант (Москва), Н.Е. Меднис (Новосибирск), О.Т. Молчанова (Польша, Щецин), В.П. Никишаева (Бийск), В.А. Пищальникова (Москва), О.Г. Ревзина (Москва), В.К. Сигов (Москва), И.В. Силантьев (Новосибирск), Ф.М. Хисамова (Казань)

## Главный редактор

**А.А. Чувакин**

## Редакционная коллегия

Н.А. Гузь (зам. главного редактора по литературоведению и фольклористике), С.А. Добричев, Н.М. Киндикова, Л.А. Козлова (зам. главного редактора по лингвистике), Г.П. Козубовская, А.И. Куляпин, В.Д. Мансурова, И.В. Рогозина, А.Т. Тыбыкова, Л.И. Шелепова, М.Г. Шкуропацкая

## Секретариат

О.А. Ковалев – отв. секретарь по литературоведению  
Н.В. Панченко – отв. секретарь по лингвистике  
М.П. Чочкина – отв. секретарь по фольклористике

**Адрес редакции:** 656049 г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Алтайский государственный университет, филологический факультет, оф. 411-а.  
Тел./Факс: 8 (3852) 366384. E-mail: [sovet01@filo.asu.ru](mailto:sovet01@filo.asu.ru)

ISSN 1992-7940

© Издательство Алтайского университета, 2009

## СОДЕРЖАНИЕ

### Статьи

<b>В.П. Даниленко.</b> Языковая картина мира в теории Л. Вайсгербера .....	7
<b>Н.В. Бугорская.</b> «Темно и вяло» vs. «образцово и просто»: два стиля научного письма .....	18
<b>В.С. Савельев.</b> О современных методах исследования древнерусского текста (на материале «Повести временных лет») .....	30
<b>А.Т. Тыбыкова.</b> О категории модальности в алтайском языке .....	47
<b>Э.В. Хилханова.</b> Проблема основного языка при двуязычии и критерии его определения (на примере бурятско-русского двуязычия) .....	61
<b>Л.В. Чернец.</b> О «внесценическом» времени и пространстве .....	67
<b>О.М. Гончарова.</b> Поэзия В.А. Жуковского и русская лирика XIX–XX веков: <i>наследие и наследники</i> в пространстве смыслов и текстов .....	76
<b>О.А. Ковалев.</b> Оправдание вымысла как стратегия нарративного текста (на материале творчества Ф.М. Достоевского) .....	91
<b>И.Б. Казакова.</b> Идеи неоплатонизма в мировоззрении С.Т. Кольриджа .....	108

### Научные сообщения

<b>Е.Н. Татаринцева.</b> Моделирование принципов русской орфографии как единиц лингвоперсоналогического функционирования языка (на шкале «отражательное – условное») .....	121
<b>Л.В. Иванова.</b> Роль англо-американских сокращений в современных немецких средствах массовой информации .....	128
<b>А.В. Марущак.</b> Специфика публицистических текстов отечественной прессы периода хрущевской «оттепели» (1953–1964 годы) .....	134
<b>О. Киба.</b> Основные направления лексического варьирования в списках Повести о Петре и Февронии: системно-функциональный аспект .....	141
<b>Ю.Б. Бакулина.</b> Античные мотивы и образы в творчестве Н.С. Гумилева .....	147
<b>Т.А. Самсонова.</b> Художественная функция литературных имен в лирике А.А. Ахматовой .....	153

<b>А.Ю. Ольховая.</b> «Запрет смеха» в повести-сказке В.М. Шукшина «До третьих петухов» .....	161
<b>К.В. Быстрова.</b> Интернет как современный ареал бытования сказки .....	167

### Проблемы филологического образования

<b>А.А. Чувакин, Т.В. Чернышова, И.Ю. Качесова, Л.А. Кошей, Н.В. Панченко.</b> Введение в теорию коммуникации как филологическая дисциплина: программа и ее возможная интерпретация .....	174
---	-----

### Филология: люди, факты, события

<b>Т.В. Чернышова.</b> Первый Конгресс РОПРЯЛ «Русский язык и культура в формировании социокультурного пространства России» (Санкт-Петербург, 14–18 октября 2008 г.) .....	192
--	-----

### Критика и библиография

<b>В.И. Шаховский.</b> <i>Пищальникова В.А.</i> История и теория психолингвистики : курс лекций. Ч. 2. Этнопсихолингвистика. – М. : Московский государственный лингвистический университет, 2007. – 228 с. ....	196
<b>А.И. Куляпин.</b> <i>Кукуева Г.В.</i> Рассказы В.М. Шукшина: лингвотипологическое исследование : Монография. – Барнаул : Барнаульский государственный педагогический университет, 2008. – 184 с. ....	202

<b>Филология и человек в изменяющемся мире: Интернет-конференция .....</b>	205
<b>Резюме .....</b>	209
<b>Наши авторы .....</b>	214

## CONTENTS

### Articles

<b>V.P. Danilenko.</b> Linguistic World Concept in L. Weisgerber's Theory .....	7
<b>N.V. Bugorskaya.</b> «Ignorant and Languid» vs. «Exemplary and Simple»: two Styles of Scientific Writing .....	18
<b>V.S. Savelyev.</b> On Modern Research Methods of Old Russian Text (in «Povest Vremennykh Let») .....	30
<b>A.T. Tybykova.</b> On Modal Category in Altai Language .....	47
<b>E.V. Khilkhanova.</b> The Problem of Matrix Language in Bilingualism and Criteria of its Definition (Exemplified on the Buryat-Russian Bilingualism) .....	61
<b>L.V. Chernets.</b> On «Outscenic» Time and Space .....	67
<b>O.M. Goncharova.</b> V.A. Zhukovsky's Poetry and Russian Lyrics of XIX-XX: Legacy and Successors in Meaning Space and Texts .....	76
<b>O.A. Kovalyov.</b> Fiction Justification as Narrative Text Strategy (in F.M. Dostoevsky's Works) .....	91
<b>I.B. Kazakova.</b> Neoplatonic ideas in Coleridge's Views .....	108

### Scientific reports

<b>E.N. Tatarintseva.</b> Modelling of Russian Orthography Principles as Units of Linguistic Personality Functioning (on the Scale «Reflecting- Conditional»).....	121
<b>L.V. Ivanova.</b> The Role of the Anglo-American Borrowings in the German Media .....	128
<b>A.V. Marushchak.</b> The Specific Character of Publicistic Texts of Khrushchev's Period (1953 – 1964).....	134
<b>O.A. Kiba.</b> Main Directions of Lexical variation in the Manuscripts of the Story about Peter and Fevronya: System-Functional Aspect .....	141
<b>Y.B. Bakulina.</b> Antique Motives and Images in N.S. Gumilyov's Creativity.....	147
<b>T.A. Samsonova.</b> Artistic Function of the Literary Names in A.A. Akhmatova's Poems .....	153
<b>A.Y. Olkhovaya.</b> Laugh Prohibition in V.M. Shukshin's Tale «Do Tretykh Petukhov».....	161
<b>K.V. Bystrova.</b> Internet as a Modern Area of Being Fairy-tale .....	167

## Problems of philological education

<b>A.A. Chuvakin, T.V. Chernyshova, I.Y. Kachesova, L.A. Koshchey, N.V. Panchenko.</b> Theory of Communication Introduction as Philological Discipline: Programme and its Interpretation .....	174
--	-----

### Philology: people, facts, events

<b>T.V. Chernyshova.</b> The First Congress ROPRYAL «Russian language and Culture in the formation of Sociocultural Russian Space» .....	192
--	-----

### Critics and bibliography

<b>V.I. Shakhovsky.</b> <i>Пицальникова В.А. История и теория психолингвистики : курс лекций. Ч. 2. Этнопсихолингвистика. – М. : Московский государственный лингвистический университет, 2007. – 228 с. ....</i>	196
<b>A.I. Kulyapin.</b> <i>Кукуева Г.В. Рассказы В.М. Шукшина: лингвотипологическое исследование : Монография. – Барнаул : Барнаулский государственный педагогический университет, 2008. – 184 с. ....</i>	202
<b>Philology and Person in changing world: Internet Conference</b> .....	205
<b>Summary</b> .....	209
<b>Our authors</b> .....	214

## СТАТЬИ

### ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В ТЕОРИИ Л. ВАЙСГЕРБЕРА

*В.П. Даниленко*

**Ключевые слова:** языковая картина мира. Л. Вайсгербер, язык, мышление.

**Keywords:** linguistic world concept, L. Weisgerber, language, thought.

О.А. Радченко в своей докторской диссертации [Радченко, 1997] называет Лео Вайсгербера (1899–1985) «апостолом родного языка», что свидетельствует об отсутствии в его концепции общетипологической направленности: в центре ее для автора был родной язык. Этот язык, вместе с тем, исследовался ученым не сам по себе, а в сравнении с другими. Но цель этого сравнения состояла не в общей типологии языков, а в обнаружении содержательного своеобразия (характера) родного языка. Вот почему концепция Л. Вайсгербера является по преимуществу характерологией немецкого языка. В общелингвистическом же плане она была прямым продолжением учения В. Гумбольдта о внутренней форме языка. Его интерес к этому учению, очевидно, возник под влиянием Э. Кассирера, который издал свою «Философию символических форм», когда Л. Вайсгербер работал над докторской диссертацией.

Эрнст Кассирер (1874–1945) распространил гумбольдтовское понятие внутренней формы языка на религию и искусство, определяя язык, религию и искусство как символические формы духовного освоения мира. Понятие внутренней формы языка, как мы помним, В. Гумбольдт наполнял мировоззренческим и идиоэтническим содер-

жанием. Подобным содержанием Э. Кассирер стал наполнять не только язык, но также религию и искусство того или иного народа.

Как и в языке, полагал Э. Кассирер, в религии и искусстве отражается особая точка зрения на мир – та точка зрения, с которой смотрел на него народ, создавший ту или иную религию или искусство. О религии, в частности, он писал следующее: «Для религиозного сознания справедливо в особой мере, что его собственное содержание никогда не исчерпывается устоявшимся набором догм и постулатов веры, но в нем выражается сплошная форма, собственное направление миро-созерцания; это содержание состоит, более того, по своей сути в определенной точке зрения, при помощи которой все содержание бытия освещается по-новому и тем самым приобретает новый облик... Таким образом каждая религия может создать свое бытие и свой мир собственным образом и в этой структуре можно, тем не менее, выявить определенные константные категории религиозного мышления» (цит. по: [Радченко, 1997, с. 12]).

Мы видим, что речь здесь идет о религиозной картине мира. Э. Кассирер, таким образом, был тем ученым, кто прокладывал путь к понятию картины мира и ее типам. Это понятие он пока еще применял не ко всем сферам духовной культуры, а лишь к трем – религии, искусству и языку, тем самым наметив путь лишь к трем типам картины мира – религиозной, художественной и языковой. На науку, нравственность и политику понятие картины мира Э. Кассирер еще не распространял.

Л. Вайсгербера в первую очередь привлекла у Э. Кассирера идея уподобления языковой картины мира двум другим – религиозной и художественной. Сам Л. Вайсгербер в дальнейшем будет предпочитать сравнивать ее с научной. Но с особенно интересными он считал у Э. Кассирера те места, где речь шла о влиянии языка, языковой картины мира на познание, в какой бы области культуры оно ни происходило – религии, науке, искусстве и др. Вот один из таких пассажей: «...отправной точкой всякого теоретического познания является уже сформированный языком мир: и естествоиспытатель, и историк, и даже философ видит предметы *поначалу* так, как им их преподносит язык» (цит. по: [Радченко, 1997, с.116]).

Мы знаем, что Э. Сепир, а особенно Б. Уорф, ушли от влияния языка на мышление очень далеко. Б. Уорф прямо заявлял о неспособности человека к освобождению от влияния родного языка на процесс познания. В менее категорической форме об этом будет говорить и Л. Вайсгербер. Вот почему его не могла устроить в только что приве-

денной цитате мысль Э. Кассирера о том, что язык влияет на познавательную деятельность ученого только *поначалу*.

Между тем Э. Кассирер занимал в вопросе о соотношении языка и мышления вполне взвешенную позицию. Будучи философом-гносеологом, он не преувеличивал влияние языка на мышление. Вот почему его внимание было направлено на поиск путей к освобождению от каких-либо препятствий, возникающих у человека в его стремлении ко все более адекватному отражению в его сознании объективной действительности. Это и позволило Э. Кассиреру избежать неогумбольдтианских крайностей.

Э. Кассирер признавал власть языка над научным сознанием. Но он признавал ее лишь на начальном этапе деятельности ученого, направленной на исследование того или иного предмета. Однако, в отличие от неогумбольдтианцев, он был уверен, что в процессе познания человек в состоянии освободиться от того мировидения, которое *поначалу* навязывает ему его родной язык. Более того, вслед за Т. Гоббсом он призывал ученых (в частности, философов) к освобождению от языковых уз. «...Философское познание вынуждено прежде всего освободиться от уз языка и мифа, – писал Э. Кассирер, – оно должно оттолкнуть этих свидетелей человеческого несовершенства, прежде, чем оно сможет воспарить в чистый эфир мысли» (цит. по: [Радченко, 1997, с. 123]).

Поясняя мысль об анахроничности и, следовательно, неприемлемости в науке многих представлений о мире, закрепленных в языке, Э. Кассирер писал: «Научное познание, возвращенное на языковых понятиях, не может не стремиться покинуть их, поскольку оно выдвигает требование необходимости и универсальности, которому языки как носители определенных разнообразных мировидений, соответствовать не могут и не должны» (цит. по: [Радченко, 1997, с. 116]).

Становится понятным в данной связи, почему Э. Кассирер не стал относить науку к одной из «символических форм» духовного освоения мира. Дело в том, что в науке, научной картине мира доминирует универсализм, тогда как в религии, искусстве и языке – идиоэтнизм. Иначе говоря, препятствием для отнесения науки к «символическим формам» познания для Э. Кассирера послужил ее интернациональный, наднациональный характер.

В решении вопроса о соотношении языка и мышления Л. Вайсгербер не пошел по пути Э. Кассирера, но и не был так односторонен, как Б. Уорф, однако и у него мы обнаружим очевидную гипертрофию в отношении влияния языка на познание.

Главное, что вдохновляло Лео Вайсгербера, – идея идиоэтничности языкового содержания. Этой идее он служил на протяжении всей своей научной жизни. Не о таких ли людях писал М.Ю. Лермонтов в поэме «Мцыри»:

Я знал одной лишь думы власть,  
Одну – но пламенную страсть...

Идею этничности языкового содержания Л. Вайсгербер нашел в учении В. Гумбольдта о внутренней форме языка, на основе чего он и построил свою теорию языковой картины мира (*Weltbild der Sprache*).

К разработке понятия языковой картины мира Л. Вайсгербер приступил в начале 30-х годов. В статье «*Die Zusammenhänge zwischen Muttersprache, Denken und Handeln*» (Связь между родным языком, мышлением и действием) (1930) мы находим первый подступ к определению этого понятия. Его определение было словоцентрично. «Словарный запас конкретного языка, – писал Л. Вайсгербер, – включает в целом вместе с совокупностью языковых знаков также и совокупность понятийных мыслительных средств, которыми располагает языковое сообщество; и по мере того, как каждый носитель языка изучает этот словарь, все члены языкового сообщества овладевают этими мыслительными средствами; в этом смысле можно сказать, что возможность родного языка состоит в том, что он содержит в своих понятиях определенную картину мира и передает ее всем членам языкового сообщества» (цит. по: [Радченко, 1997, с. 250]).

Термином «картина мира» Л. Вайсгербер пользовался уже в своей программной монографии «Родной язык и формирование духа», опубликованной в 1929 году, но здесь он пока не относил этот термин к языку как таковому. Он указывал лишь на стимулирующую роль языка по отношению к формированию у человека единой картины мира: «Он (язык. – В.Д.) позволяет человеку объединить весь опыт в единую картину мира и заставляет его забыть о том, как раньше, до того, как он изучил язык, он воспринимал окружающий мир» [Вайсгербер, 1993, с. 51].

В вышеупомянутой статье 1930 года, как мы видели, Л. Вайсгербер уже прямо вписывает картину мира в сам язык, делая ее фундаментальной принадлежностью языка. Но здесь картина мира пока еще инкорпорируется лишь в словарный состав языка, а не в язык в целом. В статье «*Sprache*» (Язык), опубликованной в 1931 году, он делает новый шаг к соединению понятия картины мира с языком, а именно – вписывает его в содержательную сторону языка в целом. «В

языке конкретного сообщества, – писал он, – живет и воздействует духовное содержание, сокровище знаний, которое по праву называют картиной мира конкретного языка» (цит. по: [Радченко, 1997, с. 250]).

Особенно важно подчеркнуть, что в 30-е годы Л. Вайсгербер еще не делал чрезмерного акцента на мировоззренческой стороне языковой картины мира, поскольку в это время он еще не оставлял в тени ее объективный источник – внешний мир. Так, в работе 1934 года «Die Stellung der Sprache im Aufbau Gesamtkultur» (Положение языка в системе культуры) он указывал: «...главную предметную основу для картины мира конкретного языка создает природа: почва, географические условия, в частности климат, мир животных и растений...» (цит. по: [Радченко, 1997, с. 251]).

Со временем Л. Вайсгербер оставит в стороне объективную основу языковой картины мира и начнет подчеркивать ее мировоззренческую, субъективно-национальную, идиозтническую сторону, проистекающую из того факта, что в каждом языке представлена особая точка зрения на мир – точка зрения, с которой смотрел на него народ, создавший данный язык. Сам же мир будет оставаться в тени этой точки зрения. Начиная с 50-х годов ученый станет высвечивать в языковой картине мира ее «энергетический» (от «энергейя» В. Гумбольдта) аспект, связанный с воздействием картины мира, заключенной в том или ином языке, на познавательную и практическую деятельность ее носителей, тогда как в 30-е годы он делал упор на «эргоническом» (от «эргон» В. Гумбольдта) аспекте языковой картины мира.

Научная эволюция Л. Вайсгербера в отношении к концепции языковой картины мира шла в направлении от указания на ее объективно-универсальную основу к подчеркиванию ее субъективно-национальной природы. Место мира в его научном сознании все больше и больше занимала точка зрения на мир. Вот почему, начиная с 50-х годов, он стал все больше и больше делать упор на «энергетическом» определении языковой картины мира: воздействие языка на человека, с его точки зрения, в первую очередь проистекает из своеобразия его языковой картины мира, а не из универсальных ее составляющих. В книге «Die inhaltbezogenen Grammatik» (Грамматика, ориентированная на содержание) (1953) Л. Вайсгербер писал: «В понятие языковой картины мира входит также динамическое («энергетическое»). – В.Д.), которое В. Гумбольдт видел во внутренней форме языка, воздействие формирующей силы, которая, в соответствии с условиями и возможностями человеческого духа, помогает бытию (в самом широком смысле) стать в каждом языке осознанным бытием / сознанием со всей испол-

ненной борьбы взаимосвязью между импульсами со стороны “внешнего мира” и вмешательством человеческого духа, в котором следует представлять себе этот процесс как непрерывное духовное преобразование и устройство» (цит. по: [Радченко, 1997, с. 256]).

Чем в большей тени оставлял Л. Вайсгербер объективный фактор формирования языковой картины мира – внешний мир, тем больше он превращал язык в некоего демиурга, который сам создает мир. Вот почему свою докторскую диссертацию о Л. Вайсгербере О.А. Радченко назвал «Язык как мирозидание».

В решении вопроса о соотношении науки и языка Л. Вайсгербер не пошел по пути Э. Кассирера, хотя в молодые годы он и испытал с его стороны сильное влияние. Позиция Л. Вайсгербера здесь оказалась более близкой к той, которую занимал в решении этого вопроса Бенджамен Ли Уорф (1897–1941), хотя немецкий ученый не был здесь так прямолинеен, как американский.

Б. Уорф выводил научную картину мира прямо из языковой, что неминуемо вело к их отождествлению. Он писал: «Мы расчлняем природу (и мир в целом – В.Д.) в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории, типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном – языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [Уорф, 1960, с. 174].

Из позиции Б. Уорфа следует, что между научным и обыденным познанием мы должны в конечном счете поставить знак равенства, поскольку языковая картина мира отражает массовое, «народное», обыденное сознание, но именно это сознание американский исследователь и расценивал в качестве сита, через которое мы должны, с его точки зрения, пропускать наши впечатления от внешнего мира, чтобы их упорядочить.

В решении вопроса о соотношении научной и языковой картин мира Л. Вайсгербер не доходил до их отождествления, но вместе с тем он не мог и здесь отказаться от своей излюбленной идеи о том, что в родном языке заложена сила («энергейя»), которая самым существенным образом воздействует на человеческое сознание во всех сферах духовной культуры – в том числе и в области науки.

Чтобы облегчить понимание вопроса о влиянии языка на науку, Л. Вайсгерберу необходимо было их сблизить, показать, что разница между ними не столь велика, как может показаться на первый взгляд

неискушенному человеку. Но чем же в первую очередь отличается научная картина мира от языковой? Степенью универсальности / идиоэтничности.

Наука стремится к универсальности, поскольку имеет своей высшей целью объективную истину, которая должна быть полностью очищена от каких-либо субъективных (в том числе и национальных) примесей. Конкретный же язык, напротив, всегда обречен на идиоэтизм, поскольку он не в состоянии освободиться от своих субъективно-национальных рамок. Чтобы сблизить науку и язык, надо либо добавить универсальности в язык, либо уменьшить ее в науке. Первый путь был для Л. Вайсгерберера неприемлем, поскольку он противоречил его идиоэтническим убеждениям. Он выбрал второй, пытаясь развеять «предубеждение» о том, что наука свободна от идиоэтизма и что в ней господствует универсальное. Он писал о научном познании: «Универсально оно в том смысле, что оно независимо от пространственных и временных случайностей и что его результаты в том смысле адекватны структуре человеческого духа, что все люди вынуждены признать определенный ход научного размышления <...> Такова цель, к которой наука стремится, но которая нигде не достигнута» (цит. по: [Радченко, 1997, с. 257]).

А что же мешает науке быть до конца универсальной? «Связь науки с предпосылками и сообществами, – отвечает Л. Вайсгербер, – не имеющими общечеловеческого масштаба». Эта-то связь и «влечет за собой соответствующие ограничения истинности» (цит. по: [Радченко, 1997, с. 257]).

Следовательно, если бы люди были лишены своих этнических и индивидуальных особенностей, то они сумели бы добраться до истины, а поскольку они не имеют этой возможности, то полной универсальности они никогда не смогут достичь. Казалось бы, из этих размышлений Л. Вайсгерберера должен следовать вывод о том, что люди (и в особенности – ученые), по крайней мере, должны стремиться к освобождению своего сознания от субъективизма, проистекающего из их индивидуальности. Они должны, в частности, стремиться к освобождению от идиоэтнических уз своего родного языка. Такой вывод в решении вопроса о соотношении науки и языка и делал, как мы помним, Э. Кассирер. Но Л. Вайсгербер избрал другую логику.

С точки зрения Л. Вайсгерберера, попытки людей (в том числе и ученых) освободиться от власти родного языка всегда обречены на провал. В этом состоял главный постулат его философии языка. Объективный (= безязыковой, невербальный) путь познания он не при-

знавал. Отсюда следовало и его решение вопроса о соотношении науки и языка: раз уж от влияния языка наука освободиться не в состоянии, то надо превратить язык в ее союзника.

Как же Л. Вайсгербер показывал пользу языка для науки? Еще в 1928 году он написал статью «Der Geruchsinn in unseren Sprachen» (Обоняние в нашем языке), где проанализировал два лексических поля немецкого языка – обоняния и вкуса. Оказалось, что последнее представлено в немецком лишь четырьмя основными наименованиями: *bitter*, *salzig*, *sauer*, *süß* (*горький*, *соленый*, *кислый*, *сладкий*), тогда как поле обоняния оказалось намного представительнее. Какие же выводы сделал из этого факта молодой Л. Вайсгербер? Он перенес их на почву науки, используя этот факт в качестве доказательства влияния языка на науку.

Тот факт, что в немецком языке представлено мало наименований для обозначения вкусовых ощущений, с точки зрения Л. Вайсгерберера, отразился и на соответствующей области науки, изучающей эти виды ощущений: она оказалась в плачевном состоянии. Но, как ни странно, не лучше обстояло дело и с исследованием различных видов запаха, хотя поле обоняния в немецком языке намного репрезентативнее поля вкуса. Вот тут-то Л. Вайсгербер и рекомендовал науке прибегнуть к помощи языка. При этом, советовал ученый, чтобы дать по возможности полную классификацию запахов, необходимо обнаруживать обозначения запахов не только в литературном языке, но и за его пределами – в диалектах, в жаргонной речи торговцев вином, табаком, чаем и т.п., парфюмеров, дегустаторов и т.д.

Какова же логика Л. Вайсгерберера, на которую он опирался в данной статье (а он оставался верен этой логике и в дальнейшем)? Анализ показывает, что в вопросе о соотношении научной и языковой картин мира Л. Вайсгербер был предшественником Б. Уорфа. Как и последний, немецкий ученый предлагал в конечном счете строить научную картину мира исходя из языковой. Но во взглядах Л. Вайсгерберера и Б. Уорфа просматривается и отличие. Если американский ученый пытался поставить науку в полное подчинение языку, то немецкий признавал это подчинение лишь частично – только там, где научная картина мира отстает от языковой.

В полемику с Л. Вайсгербером по поводу анализируемой статьи вступил П. Кречмер, который объяснял ситуацию с классификацией обонятельных и вкусовых ощущений в науке исходя из природы самих этих ощущений, а не из их обозначений в языке, но Л. Вайсгербер был непоколебим. Иначе и не могло быть, поскольку его логика в этой ста-

ть, как и в его дальнейшем научном творчестве, опиралась на понимание языка как промежуточного мира (*Zwischenwelt*) между человеком и внешним миром. Под человеком здесь надо иметь в виду и ученого, который, как и все прочие, по Л. Вайсгерберу, не в состоянии в своей исследовательской деятельности освободиться от уз, налагаемых на него картиной мира, заключенной в его родном языке. Он обречен видеть мир сквозь призму родного языка. Он обречен исследовать предмет по тем направлениям, которые ему предсказывает его родной язык. Переключка с Б. Уорфом здесь очевидна. Л. Вайсгербер писал: «Всякое научное мышление основывается на дифференциациях и способах мышления, данных в общепотребительном языке» [Радченко, 1997, с. 262], то есть в языковой картине мира.

Допускал ли Л. Вайсгербер хотя бы относительную свободу человеческого сознания от языковой картины мира? Допускал, но в ее же рамках. Иначе говоря, от языковой картины мира, имеющейся в сознании, в принципе никто освободиться не может, но в рамках самой этой картины мы можем позволить себе некоторый «маневр», который и делает нас индивидуальностями. Л. Вайсгербер писал: «Каждый человек располагает известной возможностью для маневра в процессе усвоения и применения его родного языка и <...> он вполне способен сохранять своеобразие своей личности в этом отношении» [Вайсгербер, 1993, с. 135]. Но своеобразие личности, о котором здесь говорит Л. Вайсгербер, всегда ограничено национальной спецификой его языковой картины мира. Вот почему француз всегда будет видеть мир из своего языкового окна, русский – из своего, китаец – из своего и т.д. Вот почему, как и Э. Сепир, Л. Вайсгербер мог сказать, что люди, говорящие на разных языках, живут в разных мирах, а вовсе не в одном и том же мире, на который навешаны лишь разные языковые ярлыки [Сепир, 1993, с. 261].

Л. Вайсгербер прибегал ко многим примерам, чтобы показать мировоззренческую зависимость человека от его родного языка. Рассмотрим здесь только два из них.

Как, например, спрашивал Л. Вайсгербер, в нашем сознании формируется мир звезд? Объективно, с его точки зрения, никаких созвездий не существует, поскольку то, что мы называем созвездиями, на самом деле выглядит как скопления звезд лишь с нашей, земной точки зрения. В реальности же звезды, которые мы произвольно объединяем в одно «созвездие», могут быть расположены друг от друга на огромных расстояниях. Тем не менее звездный мир в нашем сознании выглядит как система созвездий. Но где же язык? Где его мировоззренчески-

творящая сила? Она в тех наименованиях, которые имеются в нашем родном языке для соответственных созвездий. Именно они-то и заставляют нас с детства творить в нашем сознании свой мир звезд, поскольку, усваивая эти наименования от взрослых, мы вынуждены перенимать и представления, связанные с ними. Но, поскольку в разных языках имеется неодинаковое число звездных наименований, то, стало быть, у их носителей будут разные звездные миры. Так, в греческом Л. Вайсгербер нашел лишь 48 наименований звезд, а в китайском – 283 [Радченко, 1997, с. 244]. Вот почему у грека – свой звездный мир, а у китайца свой.

Другой пример. Если мы обратимся к немецкому языку, то найдем в нем, например, слова *Kraut* (*полезная трава*) и *Unkraut* (*сорняк*). О чем же сказали эти слова Л. Вайсгерберу? Они подтвердили лишний раз «творящую» силу немецкого языка по отношению к формированию в сознании его носителей соответственных представлений о травах. С объективной точки зрения, снова рассуждал ученый, в природе не существует полезных и вредных трав. Язык же зафиксировал здесь точку зрения немецкого народа на них. Каждый немецкий ребенок потому должен принять эту антропоцентрическую точку зрения на травы, что она навязывается ему его родным языком, когда он его усваивал от старших.

Подобным образом дело обстоит, по Л. Вайсгерберу, и со всеми другими классификациями, которые имеются в картине мира того или иного языка. Именно они в конечном счете и задают человеку ту картину мира, которая заключена в его родном языке. Эта картина мира может существенно отличаться от научной. Вот почему по поводу несовпадения, например, языковой картины мира в области классификации растений с соответствующей ботанической классификацией Л. Вайсгербер писал, что языковая картина мира здесь «совершенно не совпадает с ботанической, и многие из необходимейших языковых средств вообще нельзя обосновать или оправдать ботанически» (цит. по: [Радченко, 1997, с. 244]).

Возникает вопрос: почему же автор этих строк стремился к сближению языковой картины мира с научной? Почему он, в частности, советовал ученым искать классификацию запахов не в сфере их восприятия как такового, а в лексическом поле обоняния, имеющемся в немецком языке? Это нелогично, если, как он сам утверждал в статье о травах, языковая картина мира и научная могут очень сильно отличаться друг от друга. Очевидно, свою задачу он видел не в том, чтобы своим трудом способствовать преодолению в сознании людей их язы-



ковых картин мира и их вытеснению научной картиной мира. Напротив, всю свою жизнь он стремился показать непреодолимую силу языковой картины мира на сознание ее носителей.

Признавая высокий авторитет Лео Вайсгербера как автора весьма глубокой и тонко разработанной концепции языковой картины мира, мы не можем, однако, принять идею ее автора о том, что власть родного языка над человеком абсолютно непреодолима. Не отрицая влияния языковой картины мира на наше мышление, мы должны, вместе с тем, указать на приоритет неязыкового (невербального) пути познания перед языковым, при котором не язык, а сам объект задает нашей мысли то или иное направление. Не языковая картина мира в конечном счете определяет наше мировоззрение, а сам мир, с одной стороны, и независимая от языка концептуальная точка зрения на него, с другой стороны.

Не язык как таковой, а заключенная в нем особая точка зрения на мир со стороны его носителей всегда находилась в центре внимания Л. Вайсгербера. Подобную позицию по отношению к своим героям, по М.М. Бахтину, занимал в своих полифонических романах Ф.М. Достоевский: не герой как таковой находился в центре его внимания, а его точка зрения на мир. М.М. Бахтин писал: «Герой интересуется Достоевского не как явление действительности, обладающее определенными и твердыми социально-типическими и индивидуально-характерологическими признаками, не как определенный облик, слагающийся из черт односмысленных и объективных, в своей совокупности отвечающих на вопрос “кто он?”. Нет, герой интересуется Достоевского как особая точка зрения на мир...» [Бахтин, 1979, с. 54].

Язык интересуется Л. Вайсгербера, скажем мы, не как явление действительности, не как объект, обладающий определенными признаками, в своей совокупности отвечающих на вопрос «Что он такое?». Нет, язык интересуется Л. Вайсгербера как особая точка зрения на мир. А значит, в определенном смысле, Л. Вайсгербер в языкознании – это все равно что Ф.М. Достоевский в искусстве.

### Литература

- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.  
 Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. М., 1993.  
 Радченко О.А. Язык как мирозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. М., 1997. Т. 1.  
 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993.  
 Уорф Б. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. М., 1960. Вып. 1.

### «ТЕМНО И ВЯЛО» ИС. «ОБРАЗЦОВО И ПРОСТО»: ДВА СТИЛЯ НАУЧНОГО ПИСЬМА

*Н.В. Бугорская*

**Ключевые слова:** язык науки, стилевая манера, стилевой эзотеризм, простота и ясность.

**Keywords:** language of science, style manner, style ezoterism, simplicity and lucidity.

Предметом рассмотрения в данной работе являются два стиля, две манеры научного письма. Понятие стиля употребляется здесь не в традиционном для лингвистики (стилистики) значении, а в самом общем, которое не требует дополнительного истолкования и вводится исключительно для указания на вариативность способов представления содержания в рамках научного дискурса. Таким образом, понятие стиля, стилевой манеры связано с вопросами выбора (или изобретения) формы изложения. Вследствие своего «формального» статуса стилевая манера не относится к числу тех параметров, с учетом которых должна производиться оценка содержания научного труда в том или ином научном сообществе. Однако, несмотря на то, что декларативно значимость имеет лишь содержательная новизна работы, ее форма, связанная с содержанием непростыми отношениями, влияет на общее восприятие работы и часто – на ее судьбу<sup>1</sup>. Показателен тот факт, что форма языкового представления мысли постоянно связывается различными мыслителями с характером самой мысли или особенностями мышления<sup>2</sup>, и, несмотря на то, что она до сих пор не являлась предме-

<sup>1</sup> Красноречивым свидетельством тому могут служить рассуждения Ф. Анкерсмита о своей работе «Нарративная логика. Семантический анализ языка историков», опубликованной в 80-е годы прошлого века: «“Нарративная логика” оказалась очень отвлеченной книгой с чрезвычайно трудной терминологией, взятой из области, которая в те времена называлась философской логикой. Еще хуже то, что ей не удалось усидеть между двумя стульями. Читателям, прошедшим школу аналитической философии языка и науки, мог нравиться ее способ аргументации, но они вовсе не испытывали никакой симпатии к столь странным (для них) историческим заключениям. В то время как у читателей, симпатизирующих историцизму, техническая сторона аргументации вызывала полное отвращение. Поэтому та книга так и не получила никакой действительного отклика. Те же отзывы, которые на нее все-таки последовали, стали печальными доказательствами ее полного непонимания. С тем же успехом я мог бы и не писать эту книгу» [Анкерсмит, 2007, с. 4].

<sup>2</sup> Яркой иллюстрацией данного тезиса является «стилевая позиция» американского филолога и историка науки П. Фейерабенда, известного критика науки, который проводит

том специального научного рассмотрения, вопросы формы периодически всплывают на поверхность научных дискуссий.

Поскольку представления о стилевых решениях формировались в условиях идейного конфликта, в сознании мыслителей они оформлялись в виде полярных стилевых манер: одна характеризуется усложненностью форм языкового выражения и условно может быть названа *эзотеристской*, другая пропагандирует простоту и ясность изложения. При этом, поднимая вопросы языкового представления содержания, ученые и философы, как правило, возводили в ранг стилового идеала вторую и скептически оценивали первую, опознавая стиловую эзотерику с помощью различных примет. К примеру, для Эразма Роттердамского он отождествляется со злоупотреблением иноязычными выражениями или архаическими «речениями»: «Как видите, мне действительно захотелось подражать риторам нашего времени, которые считают себя уподобившимися богам, если им удастся прослыть двуязычными, наподобие пиявок, и которые полагают верхом изящества пересыпать латинские речи греческими словечками, словно бубенцами, хотя бы это и было совсем некстати. Если же не хватает им заморской тарбарщины, они извлекают из полуистлевших грамот несколько устарелых речений, чтобы пустить пыль в глаза читателю. Кто понимает, тот тешится самодовольством, а кто не понимает, тот тем более дивится, чем менее понимает. Ибо нашей братии весьма приятно бывает восхищаться всем иноземным. А ежели среди невежественных слушате-

---

аналогию между идейной значимостью научной работы и формой языкового представления: «Безграмотные, серые книги наводняют рынок, пустая болтовня, уснащенная необычными и непонятными терминами, претендует на выражение глубоких идей, “специалисты”, лишенные разума, характера и даже крохотной доли интеллектуального, художественного, эмоционального темперамента, рассказывают нам о нашем “положении” и о средствах его улучшения, причем они поучают не только нас – тех, кто способен обойтись и без них, – в их руках находятся наши дети, которым они могут навязывать собственное интеллектуальное убожество...» [Фейерабенд, 1986, с. 365]. Фактически ту же самую зависимость между языком и мыслью отмечает отечественный философ М. Мамардашвили: «Теперь представьте, что мы пытаемся освободиться от этого “философского” языка, хотим научиться мыслить и выставляем в противовес Сталину таких мыслителей, как Плеханов, Бухарин, Луначарский или кого-то другого. Но из этого ничего не получится. Уровень этих мыслителей ничтожен. Ведь нужно было сначала сравнять вокруг себя горы гуманитарной мысли в России, чтобы на освободившемся пространстве такие люди выглядели монбланами философской мысли. Их тексты не просто чудовищно скучны, но еще и написаны совершенно деревянным, мертвым языком. Они изначально исключают живую, свободную мысль (курсив мой. – Н.Б.). Поэтому, возвращаясь к нашей теме, скажу, что без разрешения задачи по очищению языкового пространства вообще и философского в частности мы дальше никуда не двинемся» [Мамардашвили, URL].

лей и читателей попадутся люди самолюбивые, они смеются, рукоплещут и, на ослиный лад, помахивают ушами, дабы другие не сочли их несведущими» [Роттердамский, 1991, с. 35–36].

Надо отметить, что специальное идеологическое обоснование в истории научно-философской мысли получила только та стилевая манера, которая проповедовала простоту и ясность изложения. Исторически этот момент приурочен к эпохе Просвещения, чьи идейные установки самым непосредственным образом повлияли на вопросы стиля научного письма. В этот период, как известно, происходит идейное обособление науки от других форм «учености». Первые идеологи науки – философы Нового времени – выстраивали свою философскую программу в борьбе против самой авторитетной в то время формы учености – средневековой схоластической логики. Помимо склонности к умозрениям, догматизму и излишнего доверия к авторитетам, отвергаемый схоластический образ мысли ассоциировали с приверженностью к неясным понятиям.

В картезианской философии были сформулированы принципы простоты и ясности языка науки, к которым периодически будут апеллировать потомки. В этот период и в связи с теми же задачами достижения простоты и ясности языка научного изложения была выдвинута грандиозная программа «языкового строительства» (создания идеального языка науки), сопряженная с критикой естественного языка, не соответствовавшего, по мнению философов Нового времени, задачам научного познания и изложения. Реализация этой программы осуществлялась, к примеру, в рамках философской концепции «единой науки» и «универсального языка» Г. Лейбница.

В XVIII–XIX веках отвергаемая стилевая манера отождествляется уже с характерными особенностями письма традиционной философии, за которой с тех пор закрепляется название *метафизика*, приобретающее в научных кругах обидный смысл и употребляющееся до сих пор для указания на пустопорожные рассуждения.

«Восстание против метафизики» достигает невиданного размаха в начале XX века. Особую роль в этом «всеобщем восстании против метафизики» сыграл вышедший на авансцену мировой философской мысли логический эмпиризм (логический позитивизм), начало которому было положено выдающимся английским философом Б. Расселом и его не менее выдающимся учеником Л. Витгенштейном. В «зрелой стадии» логический позитивизм связан с деятельностью Венского кружка, сформировавшего свою программу вокруг идей «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна. Данное направление фило-

софской мысли унаследовало от классической традиции идею языкового строительства – создание «правильного» логического языка, – густо замешенную на критике языка естественного. Последнему вменялось в вину не что иное, как усложненность и провокативность языковой формы. Вот как выражена эта мысль в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна: «Язык передевает мысли. И притом так, что по внешней форме этой одежды нельзя заключить о форме переодетой мысли, ибо внешняя форма одежды образуется совсем не для того, чтобы обнаруживать форму тела. Молчаливые соглашения для понимания разговорного языка чрезмерно усложнены» [Витгенштейн, 1994а, с. 18].

Реализация программы построения символических языков, призванных разработать, как мыслилось, адекватный науке способ языкового представления ее результатов и тем самым освободить язык науки от оков неспецифических языковых форм, парадоксальным образом вошла в противоречие с той самой стилиевой установкой, которая изначально лежала в основе движения за создание идеального языка науки и ассоциировалась с простотой и ясностью языка научного письма.

По-видимому, осознание данного обстоятельства явилось одной из причин идейного раскола, произошедшего в рядах этого мощного логико-философского направления. Внешним образом этот раскол был связан с идейным «отступничеством» Л. Витгенштейна и проявился в возникновении нового философского течения – философии анализа обыденного языка (иначе именуемого философией лингвистического анализа). Классический вид данной программы связывают с именем того же Л. Витгенштейна. В последних произведениях («Замечания по основаниям математики» и «Философские исследования») понимание Витгенштейном функций обыденного языка, задач философии и природы значения существенно отличается. «Он по-прежнему признает сложность обыденного языка, но отношение к ней меняется. «В “Трактате” Витгенштейн из сложности обыденного языка делал вывод о необходимости выявления структуры обыденного языка в совершенном языке, в котором все сложные высказывания с помощью тавтологий сводились бы к элементарным высказываниям, отображающим атомарные факты. В последних работах он приходит к мысли, что попытка построения такого совершенного языка является бесполезной и ошибочной, и предпочитает бороться со сложностями обыденного языка путем отдельных прямых атак на конкретные проблемы в терминах обыденного языка, на котором в конечном счете должно выражаться любое объяснение» [Хилл, 1965, с. 469].

В целом, несмотря на то, что философы обыденного языка отказались от «языкового строительства» и создания универсального языка науки средствами символической логики, что во многом определяло характер деятельности представителей логического позитивизма, установка на поиск адекватных форм языкового выражения научного знания оставалась общей для тех и других, и разность их лозунгов не должна вводить в заблуждение. Так, объединяющим моментом выступает критико-языковая направленность, установка на очищение и исправление языка. Различия же обусловлены конкретным предметом критики. Для логического позитивизма, разрабатывавшего идеальные языки символической и пропозициональной логики, предметом критики являлся естественный язык. Понятие естественного языка представляет собой довольно сильную абстракцию и было изобретено во многом для того, чтобы служить причиной всех коммуникативных неудач и тем самым оправдывать необходимость построения идеальных языков.

Отрицание необходимости построения идеальных языков сторонниками лингвистического анализа, безусловно, должно было повлиять на оценку того, что называлось ими обыденным языком. Можно сказать, что сам по себе обыденный язык был реабилитирован, а причина всех бед усматривалась в его неверном использовании людьми. Поскольку предметом конкретного языкового анализа лингвистических философов были произведения традиционной философии, то ей и досталось в первую очередь. Философы обнаружили, что язык, который использовался традиционной философией, обладает все теми же недостатками, что и язык простецов, некогда третированный Ф. Бэконом.

С точки зрения доктрины логического позитивизма, это само собой разумелось, поскольку философия пользовалась все тем же естественным языком, вводящим всех в заблуждение. Однако лингвистическая философия указала на одно обстоятельство, которое не позволяло принижать роль естественного языка: в ситуациях обычного человеческого общения он функционирует вполне исправно. Философские проблемы, по мнению Л. Витгенштейна, являются не прямым результатом сложности обыденного языка, а результатом особого подхода к языку, их не возникает до тех пор, пока язык используют обычным образом. Так, например, в обычном рассуждении мы не встречаем трудностей при связывании имен и вещей, но как только «философ начинает выявлять само *отношение* между именем и вещью, уставившись на находящийся перед ним объект и повторяя его название <...> бесчисленное количество раз», именование начинает казаться странным занятием. Таким образом, «философские проблемы возникают тогда, когда язык

*бездельничает*». Они встают тогда, «когда язык работает вхолостую, а не тогда, когда он по-настоящему работает» [Витгенштейн, 1994б, с. 97]. Одним словом, дело в том, что философы (это можно распространить и на ученых) неправильно используют язык, что приводит к созданию целого ряда псевдопроблем.

В связи с необходимостью исправления подобного положения дел перед философией выдвигаются новые задачи. По словам Л. Витгенштейна, здравая философия наших дней, имея дело с проблемами традиционной философии, не должна ни «показывать, что тот или иной конкретный вопрос недопустим, ни отвечать на него»; она должна показать, как, собственно, можно избежать традиционных философских головоломок. Тем самым философия становится «борьбой с околдовыванием нашего разума при помощи языка». Ее задача – «вернуть слова от их метафизического к их обыденному употреблению», «показать мухе выход из мухоловки» [Витгенштейн, 1994б, с. 470]. Философ должен раскрыть обстоятельства возникновения путаницы, чтобы все «лежало на поверхности и нечего было объяснять», он подходит к выполнению своей задачи не амбициозно, обещая построить дом, а более скромно, обещая лишь «убрать комнату» [Витгенштейн, 1994б, с. 471].

Итак, сторонники анализа обыденного языка ратовали за то, чтобы умерить амбиции и не строить идеальный язык, а разобраться со старым. Очищенный от искажений, он окажется вполне пригодным для использования его в качестве языка научного описания. При этом программа предшественников ставилась под сомнение не в силу ее ненужности или ошибочности, а в силу ее неуниверсальности<sup>1</sup>. Пожалуй, немаловажным мотивом поворота к привычным (естественным) фор-

<sup>1</sup> Известный философ-аналитик Г. Райл высказывается по этому поводу следующим образом: «Некоторые из тех, кому мечта поборника формализации представляется всего лишь мечтой – а я принадлежу к их числу, – утверждают, что логику повседневных утверждений, и даже логику утверждений ученых, юристов, историков и игроков в бридж, в принципе невозможно адекватно представить посредством формул формальной логики. Так называемые логические постоянные, отчасти благодаря продуманному ограничению, действительно имеют рассчитанную логическую силу. Однако неформальные выражения и повседневного, и специализированного дискурса имеют свои собственные нерегламентированные логические возможности, которые нельзя без остатка свести к логическим возможностям марионеток формальной логики. <...> Это не означает, что изучение логического поведения терминов несимволического дискурса не облегчается благодаря использованию средств формальной логики. Конечно, формальная логика здесь помогает. Так, игра в шахматы может помочь генералам, хотя нельзя заменить военные действия партий в шахматы» [Райл, 2000, с. 355].

мам рассуждения от символических языков логики был и усложненный характер последних: овладение логическими языками потребовало бы дополнительных, и немалых, усилий, тогда как использование привычных форм речи этого не требовало. Так или иначе, можно утверждать, что усилиями логического позитивизма был окончательно сформирован новый стилиевой стандарт научной речи, ориентированный на логические и математические формы записи, что пополнило коллекцию эзотерических стилиевых манер. С этих пор представления о стилиевом эзотеризме связывают не только с «метафизическим», ориентированным на корпус классических философских текстов, но и с «формализованным» стилем письма, в котором усматривают попытку мимикрировать под точные науки. Причем именно последний теперь расценивается как менее адекватный и неуниверсальный способ языкового выражения: «Никто еще не доказал, что нагромождения формул, напоминающих формулы алгебры, обладают большей объяснительной силой, не говоря уже о том, что они, якобы, способны привести к открытию новых фактов» [Ажеж, 2002, с. 275].<sup>1</sup>

Обострение стилиевого конфликта в значительной степени характеризует и современное состояние науки. Язык научного изложения по-прежнему выступает ответственным за сущностные основы науки и за ее судьбу. Так, французский теоретик языкознания К. Ажеж даже усматривает в нем причины упадка такой науки, как лингвистика: «Почему же тогда в последней четверти XX века лингвистика утратила свой былой престиж? Почему ей не удалось сдержать свои обещания? Почему ее считают даже ответственной за эзотерические блуждания иных дисциплин, имеющих дело с языком, как, например, литератур-

<sup>1</sup> Чаще, конечно, об этом говорят представители гуманитарных наук. Так, А. Синяевский в предисловии к работе П. Вайля и А. Гениса «Родная речь» заявляет: «Кто-то решил, что наука должна быть непременно скучной. Вероятно, для того, чтобы ее больше уважали. Скучное – значит, солидное, авторитетное предприятие. Можно вложить капитал. Скоро на земле места не останется посреди возведенных до неба серьезных мусорных куч. А ведь когда-то наука почиталась добрым искусством и все на свете было интересным. Летали русалки. Плескались ангелы. Химия именовалась алхимией. Астрономия – астрологией. Психология – хиромантией. История вдохновлялась Музой из хора Аполлона и вмещала авантюрный роман. А ныне что? Воспроизводство воспроизводства? Последний приют – филология. Казалось бы: любовь к слову. И вообще, любовь. Вольный воздух. Ничего принудительного. Множество затей и фантазий. Так и тут: наука. Понаставили цифры (0,1; 0,2; 0,3 и т.д.), понатыкали сноски, снабдили, ради научности, аппаратом непонятных абстракций, сквозь который не продрагаться (“вермекулит”, “груббер”, “локсодрома”, “парабиоз”, “ультрарапид”), переписали все это неудобоваримым языком, – и вот вам, вместо поэзии, очередная пирамида по изготовлению бесчисленных книг» [Синяевский, 1995, с. 3].

ный анализ в определенном его понимании? Ведь лингвистика, изучая самое человеческое, что есть в человеке, никак не может быть замкнутой областью знания. По-видимому, лингвистика стала жертвой крайностей, умножения ненужной изощренности, в результате чего некоторые из ее достижений были использованы неверно. Одержимость научностью придала ее облику ложную строгость, равную которой нельзя обнаружить более нигде, включая самые точные науки. Увлечение формальной записью в конце концов загнало ее в тесную келью технического дискурса, так что с трудом можно представить себе, что предметом этого дискурса может быть человек говорящий. Ибо из него не только изгнаны история и социальность, но и человеческое превращается в нем в предельную абстракцию, а слова не говорят ни о чем» [Ажеж, 2002, с. 279].

Безусловно, за этой заботой о языке у К. Ажежа стоят серьезные проблемы: проблема недобросовестного использования языка, который с помощью усложненности своей формы камуфлирует скудость содержания и одновременно оберегает использующего его ученого от всякого вмешательства реальности и от всякого риска опровержения; проблема взаимопонимания между учеными, отсутствие какого-либо ставит под сомнение успех такого предприятия, как наука; а также проблема социальной ценности науки и ее результатов, особенно актуальная в условиях распространения антисциентистских настроений. Сам исследователь говорит об этом так: «Тривиальность содержания становится менее очевидной, если облечь его в изысканные одеяния. Испытывая сладострастное влечение к прекрасному дискурсу, грамматист может избрать язык лишь в качестве повода и глубоко запрятать предмет своего исследования, наслаждаясь разговорами по его поводу. Или же, увлеченный игрой в метаязык, лингвист сбивается на людический вид деятельности, вместо того чтобы просто использовать метаязык в качестве удобного инструмента. И тогда его труды становятся труднодоступными, а, значит, мало известными. Те, кто сам профессионально не ведет научных исследований, с трудом могут поверить в общественную и даже интеллектуальную полезность подобных изысканий, эзотерический характер которых словно нарочно оберегает их от всяких попыток понять их суть извне. Даже по мнению других ученых, нелингвистов, в частности, тех, кто работает в иных областях гуманитарного знания, такие труды не достигают своей цели. Лингвистика должна остерегаться формализаторского эзотеризма, и тогда она будет способна выполнить свою основную задачу; она должна перестать быть некой схоластикой, когда другие специалисты не видят, какое влияние

она может оказать на их собственные исследования. В этом случае она сможет стать тем, чем она, по мнению многих, обескураженных ее карикатурностью, не являлась до сих пор, – дисциплиной, способной пролить свет на социально-историческую действительность» [Ажеж, 2002, с. 275–276].

Эти резоны вполне оправдывают пафос данного и подобных ему высказываний, направленных против эзотерической манеры, но то, как обстояли дела с поиском простоты и ясности в истории логико-философской мысли, когда стремление обрести ясность привело к созданию одного из самых рафинированных научных жаргонов, наводит на мысль о том, что стилиевой эзотеризм является продуктом неких основательно укорененных в сознании фундаментальных предпосылок.

Любопытное предположение относительно причин его существования было сделано С.Д. Серебряным. Исследователь объясняет появление «птичьих языков» отечественных ученых, в частности семиотиков и структурных лингвистов, необходимостью обходить различные препятствия и идеологические запреты, противостоять советскому «новоязу», который, как полагает ученый, имел место не только в официальной публицистике, но и в науке. Стилиевой конфликт, таким образом, выступает внешней формой конфликта идеологического. Эту мысль продолжает следующее соображение С.Д. Серебряного: «Теперь же, когда прежние запреты отпали, выяснилось, что у наших гуманитарных наук практически нет общего, всем понятного и достаточно разработанного языка» [Серебряный, 1998, с. 10].

За этими словами стоит уже привычная для научного сообщества озабоченность языковой формой представления научного содержания, но в свете предложенного объяснения положение вещей выглядит как временное, как результат конкретной исторической ситуации. Однако, как показывает анализ научной литературы, обозначенный стилиевой конфликт выходит за пределы отечественной науки и имеет в основе своей не только и не столько идеологические мотивы (хотя не исключает и их).

Представляется, что корни стилиевого эзотеризма уходят в глубь веков, его существование предопределяется той предпосылкой, которая фундирует саму гносеологическую идею. Когда в античную эпоху возникает самая ранняя форма учености – философия, теоретическое, концептуальное мироотношение, она определяет себя через противопоставление обыденному, то есть неразвитому, традиционному, основанному на опыте и вере в авторитет, сознанию. На категориальном уровне данная конфронтация оформляется как оппозиция «мнения» и

«знания». «Знание» есть результат постижения сущности вещей, которая не лежит на поверхности, для ее извлечения необходимы значительные усилия разума, между тем как познание поверхностное ведет к заблуждениям и есть лишь «мнение». «Мнение» обосновывается с опорой на авторитет и ведет к догматизму мышления, достижение «знания» требует свободного мышления. В результате философствование как путь к знанию выступает в качестве способности избранных, между тем как мнение остается уделом многих. «Мнение» часто обнаруживает привязанность к привычке, тогда как «знание» требует преодоления привычных представлений, необходимости посмотреть на «обычное» необычным образом.

Отчасти суть этой оппозиции можно интерпретировать как противопоставление сложности простоте. Обыденное сознание склонно примитивизировать связи явлений, устанавливать непосредственные зависимости там, где необходимо видеть опосредующие моменты, философия, а вслед за ней и наука, как раз выясняет эту опосредованность. Иначе говоря, там, где обыденное сознание не видит сложности, ученое сознание ее усматривает (в этом состоит суть проблематизации), и, углубляя представления о мире, часто перешагивает границу наблюдаемости, уже не опираясь на наглядность. «Ученый дискурс» оперирует утонченными абстракциями, для представления которых недостаточен обычный языковой ресурс, поэтому задача изобретения имен здесь всегда актуальна. Поляризация миров «простецов» и «мудрецов», держателей знания, объясняет и оправдывает в глазах тех и других языковую сложность и экстравагантность «ученых дискурсов».

Можно также указать на социально-психологические причины стилевого эзотеризма. Научное сообщество в целом, как всякая социокультурная формация, имеет атрибуты, которые позволяют ему обособляться в кругу прочих социокультурных групп и одновременно служить идентификационными параметрами для своих. Язык, как известно, играет в данном процессе едва ли не определяющую роль. Представляется, что существует прямая зависимость между сложностью языковых кодов и степенью респектабельности социальной группы<sup>1</sup>. Эта сложность культивируется, создавая непреодолимое препятствие для нарушителей культурных границ. Научное сообщество,

<sup>1</sup> Так, язык аристократического сословия всегда характеризовался изощренностью и усложненностью этикетного кода, делавших его недоступным для низших сословий. Крайней формой языкового герметизма является использование в обиходе иностранного языка. Последнее было свойственно отнюдь не только русской аристократии: в свое время французский язык служил модным жаргоном и английской знати.

с тех пор как начало претендовать на статус культурной элиты, было вынуждено заботиться и о поддержании языковой герметичности, которая оформляла групповую солидарность и подчеркивала групповую исключительность, подобно тому, как это делали жрецы и шаманы. В итоге усложненность языковой формы становится важным элементом эстетики научного письма, которой не пренебрегают и сами поборники простоты и ясности<sup>1</sup>.

Однако, как точно подметил современный отечественный философ Л.П. Киященко, «проблематизация языка науки особенно замечается тогда, когда в науке становится слышим гул голосов несоответствующего, множественного “разноречья”» [Киященко, 2002, с. 358]. В условиях этого «разноречья» очевидным для многих становится то, что интеграции научного знания сильно препятствуют языковые барьеры. К примеру, диалог гуманитария и математика, по словам другого философа, зачастую напоминает любовные игры слепых в зарослях крапивы: при явной заинтересованности сторон возникают постоянные и непредсказуемые ситуации острого непонимания и неприятия [Буданов, 2002, с. 341]. Поэтому *внутри научного сообщества* вопросы языковой формы представления научного знания звучат с новой силой<sup>2</sup>, воскрешая просвещенческий идеал простоты и ясности научного письма.

В свете реализации данной задачи особую значимость приобретают популяризаторские работы. Так, А.Д. Швейцер в предисловии к книге Роджера Т. Белла (Социоллингвистика, 1976), отмечая, что социоллингвистические исследования представляют интерес не только для лингвистов, но и для социологов, философов, психологов и этнографов, указывает на один пробел в современной социоллингвистической литературе – отсутствие книги, «которая бы вводила широкого читателя в социоллингвистическую проблематику и знакомила бы его в сжатом виде с основными ее достижениями. Книги <...> в которой были в

<sup>1</sup> Так, переводить на национальный язык латинизмы (op. cit., etc., sui generisi pp.) – все равно что нарушать законы жанра и объяснять смысл анекдота (становится понятно, но уже не смешно).

<sup>2</sup> Причем в настоящее время вопрос о научной речи связывается с до сих пор не принятыми в расчет, но немаловажными аспектами деятельности ученого – экономическими: «Вопрос о том, насколько зависит успех той или иной идеи, концепции, той или иной “философии” от способа ее представления в тексте, выглядит далеко не праздным в эпоху, когда “большая философия”, отстаивая свои законные права в системе культуры, не может игнорировать следствий, вытекающих из обретения текстом статуса информационного продукта. В числе этих следствий – проблемы конкурентоспособности и “успешности”, адресованности и правильного определения целевой группы, согласования конъюнктурных соображений с миссией служения вечному» [Алексеев, 2006, с. 7].

доступной для неспециалиста форме изложены результаты дескриптивных исследований» [Швейцер, 1980, с. 5]. Тот же мотив популяризации лингвистических идей в кругу представителей других наук движет и К. Ажежем [Ажеж, 2007].

О том, что перелом в сознании научного сообщества в отношении к деятельности по популяризации научных знаний произошел не так давно, свидетельствуют, к примеру, рассуждения А.Ф. Лосева по поводу его работы «Введение в общую теорию языковых моделей», опубликованной в конце 60-х годов прошлого столетия. Цель этой работы, по словам самого ученого, состояла в том, чтобы «изложить некоторые труднейшие и совершенно недоступные студентам и даже многим преподавателям проблемы современного языкознания» [Лосев, 2004, с. 3]; для этого предлагалось «переводить все достижения математической лингвистики на язык именно лингвистики, на язык филологии» [Лосев, 2004, с. 12]. При этом А.Ф. Лосев подчеркивает (по-видимому, потому что это идет вразрез с общественным мнением), что не следует «считать для себя унизительным переводить все эти параллели между двумя областями научного знания на язык простой, элементарной и максимально популярной» [Лосев, 2004, с. 4] (курсив мой – Н.Б.). Нельзя не согласиться с ученым еще и в том, что «делается это с большим трудом» [Лосев, 2004, с. 4]. Иначе говоря, работа по «переводу» с одного научного жаргона на другой или выработка своеобразного «научного койне» требует от исследователя обширных знаний во многих областях, высокой квалификации и представляет собой самостоятельную задачу. Наш современник, итальянский философ и филолог У. Эко, размыкая культурные границы научного сообщества, даже постулирует нравственный принцип: «... одно из назначений интеллигента – кроме жесткой и суровой критики – это просвещенная популяризация» [Эко, 2007, с. 202].

В заключение заметим, что проблема упрощения языка науки не может быть решена исключительно теми способами, на которые часто уповают исследователи: устранением иноязычной терминологии, заменой ее исконной, привычной и прозрачной лексикой. Достижение ясности научного языка – это отнюдь не проблема создания подходящей номинации для готовых понятий, это проблема концептуализации процедур образования самих понятий. Для того чтобы их понять, необходимо участвовать в процессе их возникновения.

## Литература

- Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. М., 2003.
- Алексеев А.П. Философский текст: идеи, аргументация, образы. М., 2006.
- Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. – М., 2007.
- Буданов В.Г. Принципы синергетики языка // Философия науки. Вып. 8: Синергетика человекомерной реальности. М., 2002.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы. Ч. I. М., 1994а.
- Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. Ч. I. М., 1994б.
- Киященко Л.П. Мифопоэзис научного дискурса // Философия науки. Вып. 8 : Синергетика человекомерной реальности. М., 2002.
- Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. М., 2004.
- Мамардашвили М.К. Третье состояние [Электронный ресурс]. URL: <http://orel.rsl.ru/nettext/russian/mamardashvili/mamadashvili/sostojanie.html>.
- Райл Г. Обыденный язык // Райл Г. Понятие сознания. М., 2000.
- Роттердамский Э. Похвала Глупости. М., 1991.
- Серебряный С.Д. Введение // История мировой культуры: Наследие запада: Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
- Синяевский А. Веселое ремесло // Вайль П., Генис А. Родная речь. Уроки изящной словесности. М., 1995.
- Фейерабенд П. Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
- Хилл Т.И. Современные теории познания. М., 1965.
- Швейцер А.Д. Предисловие // Белл Р.Т. Социоллингвистика. М., 1980.
- Эко У. Наука, технология и магия // Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ. М., 2007.

## О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»)

*В.С. Савельев*

**Ключевые слова:** коммуникативное событие, автор, древнерусская литература.

**Keywords:** speech act in the imagination of the Old Russian Text author.

Всестороннее исследование проблем коммуникации в последние десятилетия является одной из основных задач лингвистики. В много-

численных работах, посвященных человеческому общению с помощью естественного языка, обнаруживаются различные точки зрения на предмет, подчас противоречащие друг другу, но не становящиеся от этого менее обоснованными и достойными интереса. К сожалению, значительные успехи, которых достигла русистика в области семантики и коммуникативистики, почти не находят отражения в работах, посвященных изучению истории языка<sup>1</sup>. Между тем, современные методы исследования, имеющие несомненную объяснительную силу, крайне важны именно для диахронического описания: истолкование текста является одной из главных задач историка языка.

Что представляет собой речевая коммуникация с точки зрения современной лингвистики и древнерусского книжника? До какой степени методы исследования, применяемые современниками, уместны при изучении древних текстов? На эти вопросы мы попытаемся – хотя бы частично – дать ответ в нашей статье, которая посвящена изучению **прямой речи** в одном из главных древнерусских памятников начала XII века – «**Повести временных лет**» (ПВЛ)<sup>2</sup>.

Обращение к тексту ПВЛ не является случайным: именно в летописи обнаруживается множество фрагментов, передающих устную речь персонажей, что позволяет хоть в какой-то степени «получить доступ» к материалу, необходимому для изучения древнего дискурса, и предположить, какие особенности характеризуют его.

ПВЛ представляет собой произведение двоякой природы: текст летописи является письменным и, будучи сам по себе речевым актом, в котором коммуникантами выступают автор и читатель, дает описание речевых актов, в которых коммуникантами являются персонажи. Таким образом, ПВЛ отражает речевую деятельность коммуникантов разной природы – **текстовую** и **дискурсивную**. Первая связана с созданием письменного текста (то есть самой ПВЛ), адресат которого, будучи разделенным с автором в пространстве и времени (создание текста и его восприятие не одновременны), является виртуальным (потенциальный читатель). Дискурсивная же деятельность направлена на перлокутивный эффект, а потому подразумевает непосредственный контакт коммуникантов и устную форму общения. В связи с этим интересно, что автор летописи, «воспроизводя» реплики персонажей, сам порождает текст, в рамках которого обязательно указывается наличие

<sup>1</sup> Редкими исключениями служат работы М.И. Лecomцевой, А.В. Михайлова, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, Д.В. Аникина, И.В. Кузнецова, игумена Тихона.

<sup>2</sup> Подробную библиографию и обзор наиболее распространенных точек зрения о происхождении и составе ПВЛ см. в работах: [Королев, 2000; Голочко, 2003].

или отсутствие желаемого **перлокутивного эффекта** (например, *И съзъва цесарь бояры <...> И рече единъ: «Искүси и единою и еше: послн емү оружье». Они же послушаша его и послаша емү мечь и иню оружье* (6479 / 971) – царь и бояре в своих действиях руководствуются данным им советом // *Якоже бо Олга часто глаголаше: «Азъ, сынү, Бога познах и радуюся. Аще и ты познаеши Бога, то радоватися начнешн». Онъ же не внимаше того, глаголя: «Како азъ хочю инъ законъ одинъ прннати? А дружина моя семү смѣяти начнүт». Она же рече емү: «Аще ты крестншнся, всн имүт то же творнть». Онъ же не послуша матерн и твораше норovy поганьскыя* (6463 / 955) – Ольге не удается убедить сына поступить правильно<sup>1</sup>. Таким образом, прямая речь в летописи представляет собой текст в тексте (или **дискурс в тексте**): для самих персонажей их речевые действия ограничены рамками диалога, но получают текстовое обрамление (в препозиции и постпозиции) в рамках летописи – это уже речевая деятельность автора.

Итак, речь персонажей ПВЛ достигает читателя через посредство автора текста, реализующего свое представление о коммуникативной деятельности человека. Подробное описание событий, предшествовавших коммуникативному акту и последовавших за ним, как событий взаимосвязанных свидетельствует о том, что в представлении книжника коммуникация не исчерпывается собственно произнесением (или написанием) высказывания: летописец описывает множество составляющих **коммуникативного события** (КС) – «ограниченного в пространстве и времени, мотивированного, целостного, социально обусловленного процесса речевого взаимодействия коммуникантов» [Борисова, 2005, с. 13]. КС есть своеобразный «комплекс комплексов», разные составляющие которого важны в равной степени.

I. Как правило, первичной причиной коммуникации служит **экстралингвистическая ситуация** – некое положение дел в окружающем мире (во внеязыковой действительности), побуждающее **Коммуни-**

<sup>1</sup> Примеры из ПВЛ даются по изданию [Повесть временных лет, 2000]. Поскольку для целей данной статьи точное воспроизведение графики, орфографии и пунктуации ПВЛ по соответствующим спискам несущественно, графика и орфография примеров упрощены, произведена разбивка текста на предложения, пунктуационные знаки используются в соответствии с современными нормами. В скобках после примера указывается год, под которым помещен цитируемый фрагмент.



**канта-1** (К-1) вступить в контакт с **Коммуникантом-2** (К-2)<sup>1</sup>. Неисчислимость ситуаций, провоцирующих общение, является кажущейся – систематизация их вполне возможна: виды человеческой деятельности, связанной с его отношением к внешнему миру (а иногда – в случае автоадресации – и внутреннему), ограничены определенными сферами. Так, в ПВЛ ситуациями, приводящими к общению, служат войны, борьба за (пре)столонаследие, поиски веры и немногие другие. Разумеется, эти побуждающие говорить ситуации были не единственными в жизни героев ПВЛ, однако для летописи релевантными оказались именно эти ситуации, поскольку они заставляли персонажей выполнять определенные **социальные функции** – князя, дружинника, священнослужителя, – функции, интересующие автора и читателя ПВЛ.

Среди **стимулов**, «призывающих» К-1 вступить в общение, особое внимание у летописца вызывает **получение информации** путем **сенсорного восприятия**, приводящего к **ментальной**, а затем и к **речевой деятельности** (*Пондоста по Дънепру, идучи мимо, и узрѣста на горѣ городокъ и въспрошаста, ркуще: «Чий се городъ?»* (6370 / 862), *Половци же, слышавше, яко идуть русь, и собрашася бес числа и начаша думати. И рече Урусоба: «Просимъ мира в руси, яко крѣпко ся нимуть бити с нами, мы бо много зла створихомъ Руской земли»* (6611 / 1103). В качестве стимула общения в ПВЛ упоминается и **воспоминание** о чем-либо – своеобразное «возрождение» информации (*И пришедшу ему къ Киеву и пребысть 4 лѣта, на 5 лѣто помяну конь свой, от него же бяху рекъли волъсви умрети Ольгови. И призва старѣйшину конюхомъ, ркя: «Кде есть конь мой, его же бѣхъ поставлять кормити и блюсти его?»* (6420 / 912).

II. Собственно общению предшествует **подготовительный этап**, во время которого у К-1 возникает намерение вступить в коммуникацию, при этом перед ним встает сложная задача: он должен активизи-

<sup>1</sup> Коммуникантами мы будем называть участников КС, при этом Коммуникантом-1 будет считаться инициатор общения, которому принадлежит «первое слово» в диалоге. В процессе общения Коммуниканты могут меняться ролями: например, в споре Коммуникант-2 может «перехватить инициативу», заставив Коммуниканта-1 отвечать на «неприятные» вопросы и выслушивать обвинения, то есть выступать не как реагирующая сторона, а как сторона, которая инициирует общение.

ровать свои способности таким образом, чтобы коммуникация оказалась успешной<sup>1</sup>. В связи с этим К-1 должен произвести ряд действий:

1. Крайне важно, чтобы К-1 адекватно оценил **конситуацию** (коммуникативную ситуацию) – «объективно существующую собственно экстралингвистическую ситуацию общения; условия (в самом широком смысле) общения и его участников (то есть кто, что, где, когда)» [Красных, 2003, с. 84]. Существенно, происходит ли коммуникация в **канонической ситуации общения**<sup>2</sup> (КСО) или нет. Описывая КС, автор ПВЛ очень часто обращает внимание на то, что К-1, «организуя» КСО, или сам стремится оказаться в одном пространстве с собеседником (*Она же, хотячи домови, приде къ патриарху, благословения просящи на домъ, и рече ему: «Людые мои погани и сынъ мой, да бы мя Богъ съблюлъ от всякого зла»* (6463 / 955), или «призывает» его к себе (*И созва князь бояры своя и старца, рче Володимеръ: «Се придоша посланни нами мужи, да слышимъ от нихъ бывшее»* (6495 / 987). В противном случае ему приходится общаться через «посредников»-послов, что влияет на структуру «пересылаемого» высказывания (*И заутра Ольга, сѣдящи в теремѣ, посла по гости, и придоша к нимъ, глаголюще: «Зоветь вы Ольга на честь велнку»* (6453 / 945) – послы должны сообщить древлянам, что их приглашает Ольга, и это исключает возможность использования дейктиков, уместных в КСО).

КСО предполагает активное использование «материальных» условий осуществления речевого акта: так, наличие в поле зрения того или иного предмета вещного мира позволяет К-1 «включить» его в свою речь, использовав как аргумент, как иллюстрацию или совершив с его помощью некий жест – невербальный знак, несущий информацию, – который или «подкрепит» речь, или даже сделает ее излишней. Например, вместо ответа на вопрос можно показать некий предмет (*Они же ркоша: «Что суть вдалѣ?» Они же показаша мечь. И рѣша старць козарстни: «Не добра дань, княже!»*), рукопожатие «ратифицирует» договоренность (*И рече князь печенѣжский Претичу: «Буди ми другъ». Онъ же рече: «Тако буди». И подаста руку между собою*

<sup>1</sup> В данном случае мы не задаемся вопросом, до какой степени осознанной, интуитивной или/и автоматической является деятельность К-1, предшествующая собственно говорению (письму).

<sup>2</sup> Коммуниканты одновременно находятся в «общем» пространстве.

(6476 / 968), невербальное действие выражает оценку сказанного (*Он слышавъ, Володимеръ плону на землю, рекъ: «Не чисто есть дѣло»* (6494 / 986) или адресует высказывание (*Володимеръ же се слыша, възрѣвъ на небо, и рече: «Аще ся свѣдетъ се, имамъ креститися»* (6496 / 988).

Понимание важности визуального контакта в КСО хорошо показывает один из эпизодов с княгиней Ольгой и древлянами: *И принесша я на дворъ къ Ользѣ, и, несъше я, и вринуша въ яму и съ лодьєю. И приникши Олга и рече имъ: «Добѣра ли вы честь?»* (6453 / 945) – упоминая это действие Ольги, летописец подчеркивает, что для нее было важно, чтобы поверженные (вернее, вверженные) враги видели ее, когда она задает им свой жестокий вопрос (они бы услышали ее, даже если бы она и не приникала к краю ямы).

2. К-1 должен определить свое отношение к адресату. «Каждый речевой жанр в каждой области речевого общения имеет свою определяющую его как жанр типическую концепцию адресата» [Бахтин, 1997, с. 200]. Адресат может быть персонифицирован (конкретный человек или группа людей) или не персонифицирован (так, договоры Руси с греками, включенные в ПВЛ, адресованы тем, кто окажется в ситуациях, описанных в договорах – таким образом, референт этой части текста оказывается потенциальным). Фактор адресата крайне важен: одно и то же слово, обращенное к разным адресатам, может привести к совершенно разным последствиям. Более того, даже обращаясь к одному и тому же адресату, К-1 должен принимать во внимание то, кем для него является К-2 в этой конкретной ситуации. Так, для Владимира в одном случае греческие цари выступают в качестве врагов, в другом – союзников, что заставляет его выбирать ту или иную тактику в прескриптивном диалоге: угрожать (*И вниде Володимеръ въ градъ и дружина его, и посла Володимеръ къ цесаревнѣ Василянѣ и Костянтину, глаголя сице: «Се градъ ваю славный взях. Слышу же се, яко сестру имаете дѣвою. Да аще ею не вдасте за мя, то створю граду вашему, яко и сему створихъ»* (6496 / 988) или советовать (*И посла пред ними слы, глаголя сице цесаревнѣ: «Се идуть к тебѣ варязи. Не можн ихъ дѣржати в городѣ, или то створят ти въ градѣ, яко здѣ. Но расточи я раздно, а семо не пущай ни единого»* (6488 / 980).

Особо следует сказать о ситуации **автоадресации**, когда К-1 говорит, как будто ни к кому не обращаясь. Однако любой текст адресован: К-1 может представлять собой языковой коллектив и упоминаемая реплика-решение является результатом неэксплицированного диалога, в ходе которого это решение принималось (*И не бѣ в нихъ правды, и въста родъ на род, и быша усовницѣ в нихъ, и воевати сами на ся почаша. И ркоша: «Понцемъ сами в собѣ князя, иже бы володѣлъ нами и рядилъ по ряду, по праву». Идоша за море к варягомъ, к руси* (6370 / 862), или, в том случае, если говорящий – один человек, К-1 адресует реплику самому себе – это плод его размышлений (*Святославъ ... видѣвъ же мало дружинны своя, рече в себе: «Бгда, како прелѣстивше, изъвьють дружини мою и мене», бѣша бо мнози погыбли на полку* (6479 / 971). Таким образом, летописец «воспроизводит» поток мыслей персонажа, тем самым демонстрируя свое представление о связи мыслительной и речевой деятельности.

3. Отношение к адресату подразумевает, помимо прочего, оценку его способностей понять то, о чем ему будет сказано. Говорящие на одном языке для того, чтобы понимать друг друга, должны обязательно обладать общими знаниями о мире. И если они обладают этими общими знаниями, то не во всех случаях их необходимо эксплицировать. Так, древляне, ввергнутые Ольгой в яму, отвечают на ее вопрос о том, нравится ли им «честь»: *«Пуще ны Игоревы смѣрти»* (6453 / 945). И они не должны пояснять, кто такой Игорь и какова была его смерть, потому что Ольга – вдова Игоря – обладает теми же знаниями, что и они. Но вряд ли эту реплику смог бы понять читатель летописи, знакомый с предысторией отношений Игоря, Ольги и древлян, – ему не хватило бы **фоновых знаний**. Общие для участников КС фоновые знания, не требующие экспликации, образуют **когнитивную базу**<sup>1</sup> (КБ) –

<sup>1</sup> КБ реализуется, в частности, в часто встречающихся в ПВЛ речевых формулах – **топосах**, «устойчивых словесных формулах, допускающих, конечно, какие-то вариации» ([Конявская, 2000, с. 33]). Топосы представляют собой речения, которые не производятся, но воспроизводятся говорящим. Использование топосов характеризует древнерусскую культуру в целом. Более того, культуры, передающие значительную часть информации посредством естественного языка, не могут обходиться без топосов, которые относятся с более широким явлением – прецедентными феноменами – и составляют часть КБ древнерусского человека. С одной стороны, топосы экономят речевые усилия говорящих, с другой – легко распознаются собеседниками: и те и другие обладают общей КБ.

«структурированную совокупность необходимо обязательных знаний и национально-детерминированных и минимизированных представлений того или иного национально-лингво-культурного сообщества» [Красных, 2003, с. 61]. Конкретной реализацией когнитивной базы является **прагматическая пресуппозиция**: «говорящий, который высказывает суждение S, имеет прагматическую пресуппозицию P, если он, высказывая S, считает P само собой разумеющимся – в частности, известным слушателю» [Падучева, 1996, с. 235]. Так, в речи древлян содержится пресуппозиция *Смерть Игоря была ужасна*, и это пресуппозиция «правильная»: Ольга понимает невысказанную мысль собеседников.

Интересно, что во многих случаях летописец, комментируя КС, «дополняет» реплику говорящего, и причиной тому – понимание недостаточности фоновых знаний читателя (*Федосий ... нарече имъ Якова прозвѣтера. Братъи же нелюбю бысть, глаголюще, яко: «Не здрѣсть постриглься», бѣ бо Ияковъ пришелъ съ Летъца с братомъ своимъ Павломъ (6582 / 1074), Онъ же изыде изъ града съ ѹздою и хожаше сквозъ печенѣгы, глаголя: «Не видѣ ли коня никтоже?» – бѣ бо ѹмѣя печенѣжскы, и н мняхуть и свонхъ (6476 / 968), И рче Володимиръ: «Теребитѣ пѹть и мосты мостите», хотяше бо нти на Ярослава, на сына своего, но разболѣся (6522 / 1014).* Таким образом, книжник восполняет КБ читателя, осознавая двоякую природу создаваемого текста, существующего в двух измерениях: образуются пары коммуни-

---

Таким образом, топос известен и может употребляться в определенной ситуации любым коммуникантом, входящим в данный лингво-культурный социум. Именно поэтому в летописи обращение к топосам характеризует речь не только персонажей ПВЛ, но и самого летописца. Так, оценка какого-либо события как экстраординарного связана с употреблением высказывания, в котором подчеркивается «небывалость» происшедшего. Подобные формулы встречаются как в прямой речи (*Вълодимеръ же слышавъ, яко ять есть Василко и ослѣпленъ, ѹжасася и въсплакася вельми и рече: «Сего не было есть у Русьской земли ни при дѣдехъ нашихъ, ни при отцихъ нашихъ сякого зла» (6605 / 1097), Се слышавъ, Давыдъ и Олегъ печална быста вельми и начаста плакатися, рекуща, яко: «Сего не было в родѣ нашемъ» (6605 / 1097), так и в нарративе (*И совокупнишася ови, и бысть сѣча зла, ака же не была в Руси, и за руки емлюще сѣчахуся (6527 / 1019), ... и строенно банное камяно, сего же не бысть в Руси (6598 / 1090).**

Следовательно, выявление топосов оказывается крайне важным для установления и описания древнерусской КБ: в них реализуются устойчивые представления о мире, свойственные носителю древнерусской культуры.

кантов «персонаж – персонаж» и «повествователь – читатель», и их КБ, скорее всего, не совпадают.

4. Вступая в общение, К-1 должен руководствоваться определенными **нормами речевого поведения**, базой которых является **система ценностей**, принятая в данном «национально-лингво-культурном сообществе». «Для организации речевого поведения релевантна деонтическая норма (должное – разрешенное – запрещенное)» [Борисова, 2005, с. 89]: в частности, говорящие должны следовать «принципу Поллианны», требующему устранения из разговора неприятных сюжетов» [Арутюнова, 1999, с. 84]. И если К-1 все-таки нарушает этот принцип, то это может привести его к пагубным последствиям (*И воевода нача Святополчъ, яздя възлѣ вѣрегъ, ѹкарятти новгородци, глаголя: «Что придосте с хромьцемъ симъ, а вы плотници суще? А представимъ вы хоромъ рѹбитъ нашихъ». Се слышавше новгородци и рѣша Ярославѹ, яко: «Заутра перевеземъся на ннхъ. Аще кто не поидеть с нами, то сами потнем» <...> И бысть сѣча зла ... И одолѣ Ярославъ (6524 / 1016), И нача Бѹды ѹкарятти Болеслава, глаголя: «Да что ти пропоремъ трескою чрево твое толъстое», бѣ бо великъ и тяжекъ Болеславъ, яко ни на кони не могли сѣдѣти, но бяше смысленъ. И рече Болеславъ: «Аще вы сего ѹкора не жаль, азъ единъ погибнѹ» ... и побѣди Болеславъ Ярослава (6526 / 1018)<sup>1</sup>). То пристальное внимание, которое летописец уделяет оскорблениям, приводящим к ущербу для говорящего, свидетельствует о том, что, по мысли книжника, оскорбление является причиной последовавших событий именно потому, что представляет собой отступление от норм общения.*

Речевая тактика оскорбления является частным случаем нарушения **постулата релевантности** (произносится нечто неуместное). Следует заметить, что избранный летописцем способ описания КС демонстрирует, что его языковое сознание включает в себя нормы, которые в современной лингвистике именуются **коммуникативными постулатами**<sup>2</sup>: восполняя КБ читателя недостающими фоновыми знаниями (см.

---

<sup>1</sup> Примечательно, что летописец поясняет, почему сказанное можно было воспринять как оскорбление: «избыточный вес» мешает князю воевать, но «смысленность» позволяет ему воодушевить воинов и добиться победы.

<sup>2</sup> «Коммуникативные постулаты, или постулаты дискурса по Грайсу, – это своего рода предписания говорящим, вытекающие из некоего общего принципа кооперации –

выше), автор ПВЛ следует постулату информативности. Упоминание молчания в качестве ответной реплики указывает на аномальность такого «неинформативного» поведения, вызывающего осуждение (*И отвѣща к нему Володимеръ: «...И чему не жалѹешн, до кого ти овнда?» И не отвѣща ему ничтоже Давыдъ. И сташа ѹся братья на коннхъ. И ста Святполкъ съ своею дружиною, а Давыдъ и Олегъ съ своею дружиною раздно, кромѣ себе. А Давыдъ Игоревичъ сѣдѹше опрочъ. И не припустаху его к совѣ и особѣ думаху о Давыдѣ* (6607 / 1099) – промолчавший, не сумевший оправдаться Давыд исключается из круга коммуникантов).

Внимание летописца неизменно привлекает речевое поведение персонажей, связанное с нарушением постулата истинности, состоящего в том, что в нормальных условиях участники КС должны говорить правду или, «по крайней мере, не говорить того, что считают ложным» [Падучева, 1996, с. 237]. Обманывая собеседника<sup>1</sup>, К-1 преследует исключительно собственные цели, не заботясь о благе К-2. Так, князь Олег, обратившийся через посланников к Аскольду и Диру со словами *«Гостѣ есмы, идемъ въ грѣкы отъ Олга и отъ Игоря княжича. Да придетъ к роду своему к намъ»* (6390 / 882), обманывает своих собеседников, достигая тем самым желаемого перлокутивного эффекта: выманивает собеседников из города и убивает их.

Коммуникативный постулат ясности гласит: в своей речи следует быть кратким и упорядоченным, избегать неясных выражений, неоднозначности (см.: [Падучева, 1996, с. 237]). Однако в реальной речи этот постулат может умышленно нарушаться: так, княгиня Ольга обманывает древлян, строя свою речевую стратегию на основе нарушения именно постулата ясности – она вводит собеседников в заблужде-

принципа, состоящего в том, что участники речевой коммуникации в нормальных условиях имеют общей целью достижение взаимопонимания» [Падучева, 1996, с. 237].

<sup>1</sup> Летописец неоднократно указывает, что в речевой замысел коммуниканта входил обман собеседника (*И ркоша грѣци: «Мы недѹжи противу вамъ стати. Но возми на нас дань и на дружинѹ свою и повѣжьтѣ ны, колько васъ, да вдамы по числѹ на головы».* *Се же ркоша грѣци, лѣстѹчи подъ русью, сѹтъ бо грѣци мѹдри и до сего дни* (6479 / 971), *И рече Блѹдъ Ярополку: «Видиши ли, колко вой ѹ брата твоего? Намъ нѹхъ не перебороти. И твори миръ съ братомъ своимъ», лѣстя подъ нимъ, се рече* (6488 / 980).

ние, раз за разом произносятся двусмысленные высказывания<sup>1</sup>. Последовательное включение в текст ПВЛ таких эпизодов указывает на их восприятие летописцем как необычных.

5. К-1 должен определить цель общения: хочет ли он получить информацию, или побудить собеседника к действию, или поделиться с ним своим знанием, мнением или эмоцией. Данная цель, достигаемая посредством слов, является ближайшей, но не единственной: производя изменения в ментальном мире К-2, К-1 стремится изменить положение дел в реальном мире, причем таким образом, что эти изменения коснутся и его – инициатора общения. Так, Владимир, требуя от разных собеседников информации о том, какова их вера, стремится к действию, которое хочет совершить сам, – выбрать одну из этих вер.

Согласно теории речевых актов (ТРА), каждое произнесенное высказывание отражает коммуникативное намерение говорящего – то, ради чего он это высказывание произносит: это могут быть просьба, совет, предложение, угроза, согласие и другие иллокутивные функции. Летописец нередко «помогает» читателю понять, какую коммуникативную цель преследовал говорящий (*Олегъ ... бѣ бо преже въпрошалъ волѣхвовъ и кѹдесникъ: «От чего ми есть ѹмьрети?»* (6420 / 912), *Олегъ же посмѣяся и ѹкори кѹдесника, рка: «То ть не право молвятъ волѣсви, но все то лѣжа есть: конь ѹмерлъ, а я живъ»* (6420 / 912), *В се же время придоша людѣ новъгородьстни, просяще князя себѣ: «Аще не поидете к намъ, то налѣземъ князя себѣ»* (6478 / 970). Употребление в нарративной части глаголов, называющих иллокутивные функции высказываний, позволяет автору ПВЛ не эксплицировать реплики персонажей – частично (*И повѣлъ осѣдлати*

<sup>1</sup> Вот один из многочисленных примеров: *Ркоша же древяне: «Что хоцещи ѹ насъ? Ради даемъ и медомъ и скорою». Она же рече нимъ: «Нынѣ ѹ вас нѣтъу меду, ни скоры, но мала ѹ васъ прошо: дайте ми от двора по три голѹби и по три воробьи. Азъ бо не хоцѹ тяжкы дани възложити на васъ, якоже мѹжь мой, но сего ѹ васъ прошо мала. Изнемогли бо ся есте въ осадѣ. Да вдайте ми се мало»* (6454 / 946) – этому фрагменту можно дать следующее толкование: коварная княгиня Ольга, в качестве речевой стратегии избравшая введение собеседника в заблуждение, и на этот, якобы смиловившись, настойчиво, три раза, просит у древлян мала, то есть употребляет слово, омофоничное имени князя древлян – Мала. Подобная интерпретация эпизода встречается, в частности, у А.С. Демина [Демин, 2005, с. 562]. Характерно, что летописец ни разу не говорит напрямую о том, как следует воспринимать речи княгини, однако печальная судьба древлян должна натолкнуть проницательного читателя на мысль о том, какое именно коммуникативное намерение имела Ольга.

*конь: «Да ть вижу кости его»* (6420 / 912) – нет необходимости приводить слова Олега \**Оседлайте коня*, но имеет смысл объяснить, зачем он отдал такое распоряжение) или полностью (*И рече имъ: «Послушайте мене, не предайтесь за три дни, и азъ что вы велю и створите»*). *И они же ради и обѣщаюся послушати* (6505 / 997). Такая «техника организации текста» позволяет книжнику добиться его компрессии, более высокой степени информативности.

Важное место в ТРА занимает исследование особого класса глаголов – **перформативов**, «эксплицирующих иллокутивную функцию высказывания» [Кобозева, 2000, с. 260]. Произнесение таких глаголов само по себе равно совершению действия, а не просто сообщению о нем; так, когда Феодосий, обращаясь к Стефану, говорит: *«Чадю! Се предаю ти монастырь»* (6582 / 1074), – это означает, что в этот момент монастырь переходит в духовное ведение Стефана – момент произнесения слова «предаю» и есть акт передачи.

Объектом исследования ТРА служит высказывание, равное, по сути, одному предложению. Между тем, реплика К-1 не обязательно ограничивается одним высказыванием. Произносятся ряды предложений, каждое из которых выражает определенную иллокутивную функцию, говорящий может преследовать некую **глобальную иллокутивную цель**, не обязательно совпадающую с представленными в отдельных предложениях. Так, Святополк, отвечая на упрек Владимира, Давыда и Олега, говорит: *«Повѣдалъ ми Давыдъ Игоревичъ, яко: «Василко брата ти убилъ Ярополк и тебе хочеть убити и зяяти волость твою – Туровъ, и Пинескъ, и Берести, и Погориню, и шель ротѣ с Володимѣромъ, яко състи Володимеру в Кневѣ, а Василкови – Володимери». А неволя ми главы своєю блюсти. И не язъ его слѣпилъ, но Давыдъ, и велъ и к собѣ»* (6605 / 1097). Три высказывания, произносимые им, имеют разные функции: сообщение (*Давыд поведал, что мне угрожает опасность*), суждение (*Мне, как князю, следует беречь свою голову*) и снова сообщение (*Это не я слепил, а Давыд*). Оценивая же реплику в целом, можно сказать, что Святополк **оправдывается** – это его глобальная иллокутивная цель: Святополк сообщает факты, доказывающие его невиновность, и высказывает суждение о том, что должен делать князь, и оказывается, что именно так Святополк и поступал. Характерно, что его собеседники воспринимают его реплику как про-

изнесенную ради оправдания и отвечают: *«Извѣста о семь не имѣй, яко Давыдъ естъ слѣпилъ и»*.

6. Комбинируя в пределах реплики разные высказывания, говорящий осуществляет поиск такого их сочетания, а точнее такой смены иллокутивных функций в ходе речевого акта, такой **речевой стратегии**, которая позволит ему добиться глобальной иллокутивной цели, достичь желаемого перлокутивного эффекта. В ПВЛ обнаруживается множество диалогов, в которых персонажи проявляют свои речевые способности, достигая практических целей **словом**. Можно сказать, что умение говорить осознавалось летописцем как необходимое качество социально значимого лица. Вот, например, история о том, как князь Глеб разоблачил волхва, смутившего умы многих новгородцев:

*И раздѣлишася надвое: князь бо Глѣбъ и дружина его сташа у епископа, а людье вси идоша за волхву. И бысть мятежь великъ вельми. Глѣбъ же возма топоръ подъ скутъ и приде к волхвѣ и рече ему: «То веси ли, что утрѣ хочеть быти, что ли до вечера?» Онъ же рече: «Все вѣдаю». И рече Глѣбъ: «То вѣси ли, что ти хочеть днесь быти?» Онъ же рече: «Чюдеса велика створю». Глѣбъ же выня топоръ и ростя и и паде мертвъ, и людие разидошася»* (6579 / 1071).

Князь Глеб задает верификативные вопросы (суть ответа сводится к подтверждению или опровержению высказываемого предположения), прогнозируя ответы оппонента (другие попросту невозможны: у волхва нет выбора, он должен соглашаться с князем, подтверждая свои чудесные способности). После того как князь добился от волхва необходимых ответов, он опровергает их неоспоримым «аргументом». Этот окончательный вердикт-жест (князь убивает волхва топором) представляет собой и опровержение слов оппонента (вместо великих чудес тот оказался убит), и его наказание. При этом целью князя было не переубедить волхва, а разубедить легковерных новгородцев в том, что кудесник обладает чудотворной властью. И это ему удается именно за счет правильно построенного «диалога». Очевидно, что топор, упомянутый в самом начале фрагмента, был взят неслучайно (он, как и знаменитое ружье на стене, должен был «выстрелить», иначе его не следовало упоминать): князь продумал то, как он будет разговаривать с оппонентом и чем закончится выяснение отношений между ними. В данном случае князь выполнил свою социальную функцию (государственная власть над людьми), а способ, к которому он прибег, вызвал восхищение у летописца, включившего эту историю в ПВЛ.

III. Пройдя подготовительный этап, К-1 приступает к воплощению замысла в речь, облекая мысль в слова, – начинает говорить. В говорении, или **локутивном акте**, К-1 должен проявить свои способности, которые можно назвать техникой речи: правильный выбор интонации, тона, громкости речи, расстановка логических ударений, внятность произнесения обеспечивают успешность коммуникации. Так, реплика смертельно раненного Ярополка «*Оухъ, тот мя вороже погуби!*» (6595 / 1087) потрясла и присутствовавших рядом, и летописца, внесшего ее в текст и специально отметившего, что князь *рече великимъ гласомъ*. Акустические особенности говорения крайне важны, поскольку отражают психологическое состояние коммуниканта, то есть служат средством передачи информации, что побуждает летописца сообщать об этих особенностях (*Вълодимер же, въздохнувъ, рече: «Добро сим одесную, горе же сим ошуюю»* (6494 / 986), *И слышаша людье, яко в Турийскѣ суть, и канкоша людье на Давыда, рекуще: «Выдай, кого ти хотятъ. Аще ли, то предамыся»* (6605 / 1097).

Крайне важной представляется следующая особенность ПВЛ: большинству реплик персонажей предшествуют конструкции, состоящие из нескольких глаголов, при этом часть из них описывает характеристики КС (стимул, приведший к коммуникации; наличие / отсутствие КСО; иллокутивные функции и т.п.), а один, чаще всего последний в ряду, указывает на локутивный акт (например, *Вълодимеръ же слышавъ, яко ятъ есть Василко и ослѣпленъ, ужасася и въсплася вельми и рече: «Всего не было есть у Русьской земли ни при дѣдехъ нашихъ, ни при отцехъ нашихъ сякого зла»* (6605 / 1097) – описывается цепочка событий, приведших к говорению: стимул – психологическая реакция – эмоциональная реакция – рациональная реакция (суждение, произносимое персонажем). Таким образом, представление книжника о структуре КС оказывается удивительно близким тому, которое существует в современной научной литературе: он действительно воспринимает КС как явление комплексное и, соответственно, требующее подробного описания и дает ему характеристики, соотносимые с категориями современной лингвистики.

IV. Следующим за локутивным актом этапом КС является **восприятие** сказанного К-2. При этом К-2 производит ряд последовательных действий, к которым относятся собственно **восприятие** («восприятие как «прием» некоего сообщения некоторым «устройством»), **ос-**

**мысление**, приводящее к **пониманию**, и **интерпретация**, происходящая «путем соотнесения «декодированной», вычлененной из текста информации с имеющимися знаниями об экстралингвистической реальности» [Красных, 2003, с. 140]. Очевидно, что К-2 должен понять замысел К-1, и в процессе «дешифровки» полученного сообщения он встречается с различными сложностями:

1. Значительная часть информации поступает к адресату не эксплицитно, но должна «выводиться» им самим на основе сказанного, причем речь в данном случае идет не только о прагматических пресуппозициях:

а) К-2 должен уметь выводить **логическое следствие** – суждение, основой которого является эксплицированная в высказывании информация. Так, Владимир, отчаявшийся найти мужа, способного сразиться с печенегом, услышав реплику старца «*Княже, есть у мене единъ сынъ дома меншии, а съ четыри есмь вышелъ, и онъ дома. От дѣтства си своего нѣсть кто имъ ударилъ. Единною во ми сварящю, оному же мнущю уснь, и разгнѣвася на мя, преторже черевини рѹками»* (6501 / 993), обрадовался, а причиной тому стало правильно установленное следствие: «сын старца силен > он может сразиться с печенегом»;

б) Неэксплицированной является информация, содержащаяся в **имплицатурах** – «заклечениях, которые делает Слушающий, принимая во внимание не только само содержание предложения S, но и то обстоятельство, что Говорящий вообще произнес S в данной ситуации, и то, что Говорящий не сделал вместо высказывания S некоторого другого высказывания S'» [Падучева, 2001, с. 42]. Характерно, что имплицатуры часто выводятся из высказываний, нарушающих коммуникативные постулаты: именно так распознаются оскорбления, шутки и под. (например, если воспринимать шуточное высказывание русичей о радимичах «*Пѣщаницы волчьья хвоста бѣгають»* (6492 / 984) буквально, то оно покажется абсурдным).

2. Очень часто высказывания, которые, казалось бы, предназначены для выражения вполне определенных иллокутивных функций, в данной конкретной КС выражают цели совершенно иные. Например, касожский князь Редедя, задавая Мстиславу вопрос: «*Что ради губивѣ дружинѹ межн собою?»* (6530 / 1022), – на самом деле не интересуется его мнением, а сам утверждает: «*Дружину губить незначем*». И Мсти-

слав понимает это и не дает ответа на вопрос, поскольку в этом ответе нет нужды, но соглашается с предложением сойтись в личном бою.

Высказывания, имеющие не **прямые**, «вытекающие из буквального смысла предложения» [Падучева, 2001, с. 44], а **косвенные иллокутивные функции**, используются для совершения **косвенных речевых актов** (КРА). Анализ ПВЛ показывает, что восприятие КРА персонажами летописи, «расшифровка» ими сказанного аналогична современной: однозначно толкуются высказывания, иллокутивное значение которых выводится только из пресуппозиций, сопутствующих КС; расшифровывается коммуникативное намерение говорящего, а не мнимая иллокутивная цель, устанавливаемая на основе опознавания формальных признаков высказывания. Так, царь Константин, обращаясь к Ольге, говорит: *«Подобна еси царствовати в городѣ семъ с нами»*. Это оценочное суждение может быть воспринято и как похвала, и как констатация факта, однако Ольга, *разумѣвши*, отвечает царю: *«Азъ погана есмь, да аще мя хоцещи крестити, то крѣсти мя самъ. Аще ли – то не крещюся»* (6463 / 955). Если бы она восприняла реплику Константина буквально, она не должна была бы ответить ему **так**. Но она понимает, что за словами царя скрывается какой-то иной смысл, какая-то иная иллокутивная цель (не похвала, а что-то другое), и дальнейшие события показывают, что она верно расшифровала этот КРА: это было предложение выйти замуж.

3. Одной из особенностей устной речи является ее **эллиптичность**: стремясь сделать свою речь более информативно насыщенной, К-1 не эксплицирует все то, что может быть восстановлено из контекста или констатации, руководствуясь принципом «выразить максимум содержания, используя минимум средств». Умение восстановить «недостающую» в высказывании информацию входит в число обязательных навыков К-2. Так, Святослав, принимая дары от греческих послов, бросает своим отрокам отрывистое *«Похорогите!»* (6479 / 971). С точки зрения нормативной грамматики, ему следовало бы сказать *\*Вы спрячьте эти дары!*, однако в реальном КС называние субъекта и объекта действия *спрятать* излишне: собеседники и так понимают, о чем идет речь.

V. Восприняв, поняв и проинтерпретировав высказывание собеседника, К-2 приступает к деятельности иного рода: в той или иной форме он **отвечает** на уже прозвучавшую реплику. «...Всякое понимание живой речи, живого высказывания носит активно-ответный харак-

тер (хотя степень этой активности бывает весьма различной); всякое понимание чревато ответом и в той или иной форме обязательно его порождает: слушающий становится говорящим» [Бахтин, 1997, с. 169]. В ПВЛ на особый реактивный характер речевой деятельности К-2 указывает глагол *отвѣщати* (*Отвѣщав же, Володимеръ рече: «То где крещеніе приемь?»*) (6495 / 987) – вопрос вполне может послужить «ответом» – реакцией на прозвучавшее).

Таким образом, круг замыкается: «слушающий становится говорящим», рождается **диалог** – обмен репликами между участниками КС.

\*\*\*

К сожалению, в рамках данной статьи невозможно в полной мере описать представление древнерусского книжника о КС. Но и на основе сказанного можно сделать вывод: в тексте ПВЛ реализуется целостная концепция восприятия КС как явления, состоящего из множества в равной степени значимых элементов, взаимосвязанных и взаимоопределяющих.

Наше знание о мировоззрении средневекового человека ограничено той информацией, которую иногда удастся извлечь из материальных источников, прежде всего – текстовых (через слово – написанное или передаваемое из уст в уста). Между тем, не менее важным оказывается выявление смыслов, не выраженных словом, а находящихся «за ним». Методы исследования, разрабатываемые современной лингвистикой, связанные в том числе и с изучением КС, могут быть существенным подспорьем в этой сложной, но необходимой деятельности.

## Литература

- Аникин Д.В. Исследование языковой личности составителя «Повести временных лет»: дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2004.  
 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.  
 Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Собрание сочинений : в VII томах. М., 1997. Т. V.  
 Борисова И.Н. Русский разговорный диалог. Структура и динамика. М., 2005.  
 Верещагин Е.М. Церковнославянская книжность на Руси. М., 2001.  
 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. М., 2005.  
 Демин А.С. «Подразумеваемое» повествование в «Повести временных лет» // Герменевтика древнерусской литературы. Сборник 12. М., 2005.  
 Игумен Тихон (Полянский) Этические аспекты в антилатинских произведениях митрополита Никифора // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 3.

- Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М., 2000.
- Конявская Е.Л. Авторское самосознание древнерусского книжника (XI – середина XV в.). М., 2000.
- Королев А.С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е – 70-е годы X века. М., 2000.
- Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М., 2003.
- Кузнецов И.В. «Слово о вере христианской и латинской» печерского игумена Феодосия как ранний памятник русской публицистики // Филологические науки. 2006. № 6.
- Лекомцева М.И. Семантика некоторых риторических фигур, основанных на тавтологии (на материале «Похвального слова Кириллу-философу» Климента Охридского) // Структура текста. М., 1980.
- Михайлов А.В. Реконструкция древнерусского менталитета в диахронии (проблематика структуризации) // Языковая семантика и образ мира. Казань, 1997. Т. 23.
- Падучева Е.В. Семантические исследования. М., 1996.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 2001.
- Повесть временных лет / подготовка текста, перевод и комментарии О.В. Творогова // Библиотека литературы Древней Руси. Том 1: XI–XII века. СПб., 2000.
- Толочко П.П. Русские летописи и летописцы X–XIII вв. СПб., 2003.

## О КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

*А.Т. Тыбыкова*

**Ключевые слова:** модальность, алтайский язык, категория наклонения, модальные слова.

**Keywords:** modal category, the Altai Language, category of mood, modal words.

Категория модальности относится к наиболее интересным и сложным проблемным объектам современной лингвистики. Природа модальности, ее разнородное содержание требует дальнейшего углубленного изучения. Несмотря на наличие ряда исследований, посвященных категории модальности, вопрос о ее лингвистическом статусе, о типах модальных значений, о способах выражения модальных отношений в тюркологии продолжает оставаться дискуссионным. Противоречивые суждения имеются в решении таких вопросов, как соотношение категории модальности и функциональных типов предложений, модальных и эмоционально-экспрессивных значений, отношение модальности к другим семантическим явлениям.

Модальность – это функционально-семантическая категория, выражающая разные типы отношения высказывания к действительности, а также разные виды субъективной квалификации сообщаемого. Модальность является языковой универсалией, она принадлежит к числу основных категорий естественных языков. Если объективная модальность – обязательный признак любого высказывания, то одна из категорий, формирующих предикативную единицу – предложение. Объективная модальность выражает отношение сообщаемого к действительности в плане реальности и ирреальности. Главным средством оформления модальности в этой функции является категория глагольного наклонения. В алтайском языке субъективная модальность охватывает всю гамму реально существующих в языке разноаспектных и разнохарактерных способов классификации сообщаемого и реализуется определенным классом служебных слов, синтетическими глагольными формами, аналитическими глагольными конструкциями. В алтайском языке большой интерес представляет изучение аналитических структур и процесса десемантизации в синтаксисе. Синтаксис – динамическая по сравнению с морфологией часть языковой системы, он непосредственно связан с актом коммуникации, что позволяет на уровне речи наблюдать образование аналитических структур и обнаруживать истоки этой десемантизации.

В лингвистике исследователи выделяют объективную и субъективную модальность. Объективная модальность органически связана с категорией времени и дифференцирована по признаку временной определенности / неопределенности. Объективно-модальные значения организуются в систему противопоставлений, выявляющуюся в грамматической парадигме предложения. Модальные отношения, в отличие от объективно-синтаксических отношений, как бы лежат в другой плоскости, они обнаруживаются в плоскости субъективно-объективного отношения говорящего к высказываемой действительности, в дополнительных, вставных оценочных высказываниях, замечаниях, пояснениях в ходе процесса отражения фактов, событий реально-го мира.

Грамматические отношения могут быть двоякого рода: либо объективно-синтаксические отношения между словами в словосочетании, предложении, либо отношения всего высказывания или предложения к реальности, называемые субъективно-объективными, или модальными. В кругу модальных отношений обычно рассматривают отрицание и утверждение, разнообразные субъективные оттенки значений, облекающие формы времени.



Академик В.В. Виноградов отмечает, что с предложением, с его разнообразием типов тесно связана категория модальности [Виноградов, 1975]. Каждое предложение включает в себя модальное значение как существенный конструктивный признак, то есть содержит в себе указание на отношение к действительности. Содержание категории модальности и формы ее обнаружения исторически изменчивы. Любое целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отражая действительность, облекается в одну из существующих в данной системе языка интонационных конструкций и выражает одно из тех синтаксических значений, которые в совокупности образуют категорию модальности. Роль интонационно-мелодических средств для выражения модальных оттенков высказываний или предложений неодинакова в зависимости от грамматического строя и лексического состава синтаксических единств. Наблюдается большая разница между модальными типами высказываний, свойственными книжному и разговорному языку. Богаты экспрессивно-модальными оттенками высказывания художественной литературы и разговорной речи.

Категория модальности принадлежит к числу основных, центральных языковых категорий. Каждое сообщение или высказывание, оформляемое в виде предложения, адресуется кому-либо: слушателю, собеседнику, иногда самому себе. Говорящий или пишущий всегда имеет в виду слушателя или читателя и излагает свои мысли для него. При этом он постоянно стремится к тому, чтобы другие его поняли, реагировали на его слова, обменялись с ним своим мнением. Именно для этой цели говорящий или пишущий свои мысли, являющиеся отражением реальной действительности, оформляет в виде отдельных предложений, которые, будучи плодом стремления говорящего или пишущего субъекта быть понятым, являются всегда модальными. Это вполне понятно, ибо познание действительности представляет сложнейшую мыслительную действительность, отражающую не только внешний мир, но и внутреннее состояние, активное участие мыслящего субъекта. Следовательно, в предложениях, отражающих действительность в ее практическом общественном сознании, что-нибудь утверждается или отрицается, а также выражается отношение говорящего к собеседнику в форме изложения своих мыслей. Все это обозначается средствами модальности. Они выступают в роли стилистического ключа, открывающего модальность предложения. Иногда они оправдывают, мотивируют выбор и употребление отдельных слов, подчеркивая их экспрессивно, нередко выделяют и интонационно.

В алтайском языке модальные слова и частицы отражают точку зрения говорящего субъекта на отношение речи к действительности или выбор и функции отдельных выражений в речи. Передавая оценку высказываемой мысли или способа ее выражения, они граничат с «частичами речи», реляционными словами, но резко отличаются от основных их разрядов и классов (предлогов и союзов) своими синтаксическими функциями, в основном выступая служебным компонентом сказуемого. Этот класс слов в алтайском языке стремительно возрастает. Глагольные аналитические конструкции в сочетании с вспомогательными глаголами, отдельные служебные слова и фразеологические единицы и другие, входящие или тяготеющие к категории модальности, очень разнообразны.

Говоря о семантике модальных слов, нужно заметить, что человек, познавая реальный мир, всегда так или иначе относится эмоционально к познаваемому, так как без эмоций никогда не возможен поиск истины. Поэтому эмоциональное отношение к познаваемому всегда неразрывно связано с рассудочной оценкой, характером понимания реальной действительности.

Как известно, сфера модальности во всех языках характеризуется большой сложностью, и пока здесь для лингвистов остается много неясного. В частности, с теоретической точки зрения очень слабо очерчены границы того множества форм, которые в каждом конкретном языке признаются, представляются в грамматиках как формы наклонений. Конечно, существует определенная традиция, то есть порядок, некогда заведенный, поддерживаемый и «удобный». И это же оказывается очень неудобным, когда ставится задача сопоставительного изучения языков, в том числе даже и близкородственных. Нередко оказывается, что «одни те же» этимологические формы в одних языках одними авторами расцениваются как формы наклонений, в других языках другими авторами таковыми не признаются. Безусловно, нельзя исключать, что формы, восходящие к одному источнику, как, например, к форме =*гы дег* (в алт. языке причастный аффикс =*гадый*), в тюркских языках, развиваясь самостоятельно, приобретали разные свойства и действительно существенно разошлись функционально. Однако наряду с такими ситуациями никак нельзя исключать и того, что формы, объективно, даже независимо от того, восходят ли они к общей праформе, традицией могут быть разнесены в разные рубрики, в разные классы, категории форм. В тюркологии мы нередко сталкиваемся с ситуациями подобного рода.

Прежде чем переходить к анализу фактического материала, представим свое понимание категории наклонения и ее границ. С нашей точки зрения, наклонение – это морфологическое ядро категории модальности, которая, как таковая, является не только морфологической, но и синтаксической категорией, то есть категорией предложения, а не глагола. Поэтому, естественно, не должен стоять вопрос об отнесении к области наклонения тех значений или оттенков значений, которые передаются в языке с помощью модальных частиц. В русском языке вводно-модальные слова, такие как *конечно, безусловно, разумеется, наверно, возможно, сомнительно* и т.п., являются важнейшим средством передачи значений возможности и предположительности.

В тюркологии встречаются самые разные точки зрения на сущность категории модальности и разные подходы к решению этой проблемы.

Различные истолкования модальности объясняются не только сложностью самой проблемы, они вызваны разным подходом к определению семантического содержания и объема этой категории, а также разнообразием модальных отношений. Трудность последовательной интерпретации модальных слов объясняется тем, что они не представляют собой строгой, замкнутой системы, зачастую не имеют четких границ. В этом отношении в алтайском языке нередко особенно размыты очертания отдельных служебных слов и глаголов типа э= ‘быть’, бол= ‘быть’, де= ‘говорить’ и др. В.В. Виноградов отметил, что в русском языке при обозрении лексического материала разговорной речи незначительные части речи с модальным значением определяют точку зрения говорящего субъекта на отношение речи к действительности или на выбор и функции отдельных выражений в составе речи [Виноградов, 1972, с. 568].

В алтайском языке категория модальности выражает отношение сообщения, содержащегося в предложении, к действительности, устанавливаемой с точки зрения говорящего. Модальные слова в живом процессе речи не примыкают ко всем членам предложениям и не служат определением или распространением слов какого-нибудь одного или нескольких грамматических классов. Модальность проявляется на уровне синтаксиса, и обычно она рассматривается в тесной связи с категорией предикативности.

В алтайском языке широко встречаются конструкции, представляющие собой сочетание основного компонента со служебным словом. Формирование аналитических структур в синтаксисе связано с особыми взаимоотношениями между морфологическими (части речи) и

функциональными (членами предложения) классами. В принципе, в языке должна быть возможность переводить в соответствии с задачами высказывания любую семантему в любой класс. На самом деле система конкретного языка накладывает здесь свои ограничения.

Алтайский язык может структурировать предложения исходя из своих внутренних возможностей. Конечно же, при этом большая роль принадлежит доминирующему члену предложения – сказуемому. Язык стремится выработать специальные средства для перевода слов одного функционального класса (части речи) в другой. Но, наряду со словообразованием, особенно в тех случаях, когда оно оказывается недостаточным, язык прибегает к иным средствам формирования функциональных классов слов, используя служебные слова и определенные типы словосочетаний. При переходе слов из одного класса в другой может происходить некоторый сдвиг в значении лексемы, а некоторые имена существительные или глаголы в служебной функции в качестве компонента сказуемого усиливают, акцентируют высказывание говорящего. Это особенно хорошо проявляется в разговорной речи и в языке персонажей художественной литературы. При переносе слова одного функционального класса в другой, транспозиция этих типов классов делает функционально-семантическую категорию модальности более широкой и разнообразной. Они выражают разные виды отношений высказываний к действительности, а также разные виды субъективной квалификации сообщаемого.

В тюркских языках категория модальности наиболее глубоко разработана на материале якутского языка Н.Е. Петровым [Петров, 1988; 1999], на материале башкирского языка М.В. Зайнуллиным [Зайнуллин, 2000]. В алтайском языке отдельные модальные аналитические конструкции были исследованы М.И. Черемисиной, А.Т. Тыбыковой [Черемисина, Тыбыкова, 1988]. А.А. Озонова обратила внимание на основные средства выражения модальных значений возможности, необходимости, вынужденности, желания, достоверности. Впервые на материале алтайского языка ею выделены модальные аналитические конструкции, где в качестве служебного компонента употребляются глаголы разных лексико-семантических групп со значением ‘стремиться’, ‘стараться’, ‘спешить, торопиться’ и др. [Озонова, 1999].

В алтайском языке модальные единицы передают различные значения из сферы возможности, невозможности, вероятности, долженствования, нереальности, кажимости или подчеркнутой достоверности / сомнительности высказывания. Порой модальные слова и модальные частицы очень трудно разграничить, отличить друг от друга.

Частицы, принимающие иногда аффиксы лица и множественного числа и находящиеся в постпозиции по отношению к сказуемому, выступают в модальном значении. Это могут быть сравнительные частицы *ошкош*, *чылап*, отрицательная *эмес*, вопросительная частица *не* и другие. Например: *Слердин ады-жоыгарды качан да газеттен көргөн ошкожым* (СС, АКС, 88) – ‘Кажется, я когда-то в газете видел ваше имя’; *Кырдын үстинде балдардын табыштары угулган чылады* – ‘На вершине горы как будто слышались голоса детей’; *Онын айтканын уккан эмезим* – ‘Я ведь не слышала, что он сказал’; *Жүрүмде көпти билип аларга жүрүмди бойы жүрер керек не* (КТ, КЖ, 44) – ‘Чтобы в жизни много знать, ведь надо самому прожить жизнь’.

Вопрос о так называемых «модальных словах», а точнее – о средствах выражения модальности в разных языках, принадлежит к числу важнейших проблем и теоретического, и практического, то есть описательного, языкознания, ориентированного на преподавание языков. Однако в числе «обязательных» в традиционную программу описания языка входит лишь один из аспектов модальности, самый грамматичный – наклонения глагола. Вся остальная сфера даже и в наиболее изученных тюркских языках остается еще недостаточно исследованной.

Говоря о сфере модальности, мы имеем в виду сферу средств выражения различных значений «истинности», то есть, с одной стороны, реальности или нереальности действия, события, описываемого данным предложением, с другой стороны – достоверность сообщения, то есть адекватность сообщения действительно произошедшему событию (или ожидаемому событию). Наклонения глагола обслуживают в основном первый аспект модальности: реальность или нереальность, то есть желательность, потенциальность и ирреальность (сослагательное наклонение). Второй аспект модальности, выводящий нас за рамки наклонений, связан с достоверностью сообщения в оценке говорящего. Эти значения в разных языках выражаются преимущественно аналитическими средствами с помощью специальных слов: вводные слова, модальные слова, частицы, определенный пласт глаголов в залоговой форме, модальные предикаты в причастных конструкциях.

С понятием «модальное слово» обычно связывается представление о вводно-модальных словах. Они встраиваются в предложение в разных позициях, не будучи строго связаны с его сказуемым, тогда как модальные частицы стягиваются к сказуемому в качестве его модальных проводителей. Однако, наряду с модальными словами, нередко функционируют и единицы более сложной структуры: словосочетания, группы слов, формальные предложения (предикативные конструкции).

В присказуемой функции также выступают не только односложные лексические единицы, но и цепочки, состоящие из нескольких единиц. При этом компоненты таких цепочек могут быть спаяны между собой в разной степени.

В тюркских языках Сибири, в частности в алтайском, модальные слова используются для выражения различных модальных оттенков высказывания. Материал алтайского языка показывает, что они обычно выступают в предложении не в «одиночку», а могут сопровождать специальную форму сказуемого, например ( $Tv=n + айабас$ ): *Ол келип айабас* – ‘Как бы он не пришел’. Что касается форм сказуемости, то они свободно выражают разнообразные модальные значения – оттенки потенциальности и предположительности без всякого участия вводно-модальных слов.

Это обстоятельство представляется нам весьма значимым именно потому, что оно обязывает тюркологов глубже задуматься о природе морфологической категории наклонения применительно к тюркским языкам, где модальные значения выражаются глагольными формами, причем не только аналитическими, но и синтетическими, простыми.

В алтайском языке, кроме вводно-модальных слов, имеются модальные предикаты, разные типы модальных аналитических конструкций. Особенность категории модальности в тюркских языках, в том числе алтайском, заключается в том, что разнообразие модальных значений и оттенков встречается в языке художественных произведений. Но в большей степени характерно для устной разговорной речи, и притом с самым разнообразным синтаксическим значением. Исходя из этого, следует отметить, что, поскольку сказуемое является конструктивным членом предложения, оно получает самое различное содержание, передающее детали субъективного выражения во всех возможных смысловых разновидностях речи.

Структурные типы модальных конструкций представлены следующим образом:

I. Синтетические формы модальности выражены глаголом в сочетании с разными аффиксами:

1) **Tv=гадый**. Данная форма понимается как возможность и невозможность действия: *Оны теп тегин сөслө жартап айдын албагадый* – ‘Самыми простыми словами разъяснить невозможно’.

2) **Tv=бай**. Данная форма передает значение уверенности говорящего в истинности, достоверности своего сообщения: *Орден берди бе? – А бербей* – ‘Орден дали? – Конечно же, дали’.

3) **Tv=базын.** Модальность опасения представляет собой одну из конкретизаций потенциальной модальности: *Бу агаиш сына бербезин – ‘Как бы это дерево не сломалось’.*

II. Модальные аналитические конструкции. Алтайский язык богат разнообразными аналитическими конструкциями, функционирующими как модальные предикаты, в этой позиции возможны разные формы. Типологически разнообразны и сами модальные предикаты, среди которых, кроме слов, представлены и различные устойчивые словосочетания (конструкции). Весь этот исключительно богатый материал невозможно охватить в данной статье. Поэтому ограничимся обзором только небольшой части этих конструкций, вторым компонентом которых является модальный предикат с семантикой возможности и вероятности. Например: *керек* ‘нужно’, *керек эмес* ‘не нужно’, *аргалу* ‘возможно’, *арга жок* ‘невозможно’, *жарабас* ‘нельзя’, *аланзу жок* ‘несомненно’, *маат жок* ‘сомнительно’, *айабас* ‘возможно, как бы не...’ и др. Рассматриваемые предикаты составляют специфическую лексико-семантическую группу, между ними существуют семантические отношения, что позволяет говорить о них как об особой микросистеме в общей системе модальных значений. Основная оппозиция проходит по признаку возможно / невозможно осуществление потенциального события. В первую группу, «осуществление возможно» попадают предикаты *арга бар*, *аргалу* «есть, возможность, возможно, можно». Например: *Турага кирер арга бар – ‘Есть возможность зайти в дом’*; *Бу жоон тоормошты жагыс ла кўчтў кижси кўдўрер аргалу – ‘Это толстое бревно сможет поднять только сильный человек’.* Вторую группу, «осуществление невозможно» попадают предикаты *арга жок*, *жарабас* – ‘нельзя, невозможно, не нужно’. Например: Качар керек. Артык арга жок ‘Убегать надо. Другой возможности нет’. Внутри каждой из этих групп могут быть взаимно противопоставлены предикаты, представляющие возможность или невозможность осуществления события либо являющиеся следствием объективного порядка вещей. Эти предикаты связаны с представлениями о социальных нормах или о личностных нормах и требованиях, в свою очередь, они противопоставляются, как, например, в оппозиции *керек* ‘нужно’, *учурлу* ‘следует, должно’: *Бу айучак жаш... Ого жүрүм жүрер керек* (БУ, Т, 50) – ‘Этот медвежонок маленький... Ему жизнь прожить надо (должно, предстоит)’; *Ол бу ишти эдер учурлу – ‘Он должен эту работу сделать’.*

Представим модальные предикаты, с помощью которых оценивается осуществимость потенциального, еще не осуществленного возможного, но только мыслимого, воображаемого события. Помимо са-

мой оценки «может – не может осуществиться», эти предикаты в подавляющем большинстве случаев выражают еще какие-то дополнительные значения: желательности или нежелательности для говорящего того или иного события (надежда или опасение), например: предикаты *маат жок* ‘сомнительно, может быть, возможно, как бы не’...; *айабас* ‘может быть (случится)’. Например: *Олор жаман неме де эдип айабас – ‘Они как бы не сотворили чего плохого’*; *А тайга жерлерде жаан кар ааган...Кураандар өлө берерден маат жок – ‘В таежных местах навалил большой снег... Как бы ягнята не погибли’.* Данная группа конструкций передает неуверенность говорящего в том, что событие произойдет. Значение неуверенности может окрашиваться разными экспрессивными оттенками – «надежды или опасения», то есть желательности для говорящего того или иного исхода сомнительной ситуации. Если первая группа конструкций соотносится с категорией возможности, то вторая тяготеет к категории вероятности.

По своей структуре модальные аналитические конструкции представляют собой сочетания причастий с аффиксами на =ган, =гандый, -ар и деепричастия на -n в сочетании с модальными предикатами и вспомогательными глаголами (*бол=, тур=, жат=*). Субстантивированные причастия могут выступать также и в локальных падежах.

Кратко представим основные структурные модели:

Tv=ган болор	‘видимо, произошло что-то’
Tv=гандый билдирген	‘казаться каким-то, выглядеть каким-то’
Tv=р-дан башка	‘что еще, придется что-то делать’
Tv=ар-дан маат жок	‘возможно, что-то сделает’
Tv=ар-га туру	‘намеревается делать’
Tv=ар-га жат	‘вот-вот сделает что-то’
v=бас-ка болбос	‘придется (делать) – нельзя не делать’
Tv-п айабас	‘как бы это не произошло (опасение)’

III. Модальные частицы. В современном алтайском языке модальные частицы немногочисленны, но они широко употребительны. Они, как и модальные слова, выражают широкий круг модальных значений, таких как *решительность, уверенность, утверждение, подтверждение, вероятность, сожаление* и др. В предложении модальные частицы обычно выступают в сочетании с деепричастиями и с формами глагольных наклонений. В предложении частицы отличаются абстрактным характером смыслового содержания и их собственное значение сводится к характеристике другого слова или приданию различных оттенков значения знаменательным словам, к которым они

примыкают в качестве постпозитивного компонента. Систему модальных частиц представляют модальные частицы *база* ‘конечно же, ведь’, *чи / чи* ‘же’, *ла* ‘ну пусть’, *чыла-ды / чиле-ди* ‘как будто’, *эмей* ‘ведь’ и другие.

В алтайском языке категория частиц весьма разнообразна по составу, модальные частицы занимают в ней значительное место. В связи с этим возникает вопрос о критериях различения частиц и модальных слов. Круг модальных значений и оттенков, передаваемых частицами, весьма разнороден. В целом, частицы являются богатейшим средством выражения языковой модальности и выявленные их значения дают хороший материал для уточнения содержания и объема категории модальности. Это особенно хорошо наблюдается в тех диалектах, где встречаются глубинные диалектные различия, территориальная разновидность языка используется в качестве средства общения жителями одного или нескольких сел. Лингвистические данные диалектологических экспедиций в 2001–2003 годах, в 2006 году по районам Республики Алтай показывают, что особенности территориального колорита речи вносятся в язык этноса той или иной местности географической средой, в то же время модальные слова, частицы и устойчивые словосочетания обозначают характер речевой экспрессии или эмоциональный тон высказывания. Количественная представленность модальных частиц в немалой степени связана с индивидуальными склонностями говорящих.

Рассмотрим следующие высказывания информантов:

*Бистин эрмек-куучын өскө деремнелерден башка неаа* (инф. 1) – ‘Ведь наша разговорная речь отличается от речи других деревень’; *Кижинин бозаазына өскө кижини отураарга жарабас. Јаман неаа* – ‘Постороннему человеку нельзя садиться на пороге человека (хозяина дома). Ведь плохо же это’; *Унчукпай узынды кымынып ла отурзан, улус бырт эдип, жүреарбий аа* (инф. 1) – ‘Прижав рот, молча будешь сидеть, люди ведь, конечно же, моментально уйдут’; *Сен город барзынма* (инф. 2) – ‘Ты в город поедешь?’ – *Барым ле* (инф. 2) – ‘Конечно же, поеду’; *Мен мынай аркам. Кищец жат көрин / кищец жат кайдырым* (бир эмеш јатсам кайдарым) (инф. 2) – ‘Я так устала. Хоть бы чуть полежать’; *Сен городса барарымын?* (инф. 3) – ‘Ты в город поедешь?’; *Городса барвин зе* (инф. 3) – ‘Конечно же, поеду в город’; *Ол шофер инзе* (инф. 3) (ол шофер эмей база) – ‘Он ведь, конечно же, шофер’.

Модальные частицы вносят в предложение различные модальные оттенки субъективного отношения к сообщаемому (предположение, уверенность, неуверенность, сомнение, недоумение, колебание и др.).

Мы выделяем 8 типов конструкций с модальными частицами:

1. **Tv=гай база, Tv=багай база, NTv=гой база** передают утверждение: *иженип турбай база* – ‘конечно, же веришь’; *шофер болгой база* – ‘ну и пусть будет шофером’; *Керек болзо, көргүзип те бербей база* (БУ, ЭТ, 87) – ‘Если надо, то, конечно же, можно показать’; *Ай эскиде көрмөс түймебей база – деп, Солоний эмеген унчукты* (ЛК, АК, 73) – ‘При старой луне черти конечно же закопошились, – сказала бабушка Солоний’.

2. **Tv=за чы** указывает на усиленное желание: *Бу јалапта јыланаш баскан болзом чы* – ‘По этой поляне ходил бы босиком’; *Тенеринин јылдызын терип алтан болзом чы. Тенек, эдү танмага тееркеп алтан бозом чы. Кайраканнын јылдызын кабырып алтан болзом чы. Канай тенек танмага каткырып алтан болзом чы* (ЛК, АК, 317) – ‘Звезды на небе если бы (я) собрал. Глупого и дурного человека задеть бы (мне). Звезду божественную если бы я пас. Над глупым, тупым человеком посмеяться бы мне’.

3. Модальные частицы **ийне / ине, эмей, эмтир, беди, эмеш пе** и другие, образованные от вспомогательного глагола э= (<äp=), выступают в качестве служебного компонента как глагольного, так и именного сказуемого, передают разные значения: указывают на уверенность говорящего и истинность достоверности говорящего, подтверждение известного факта, выражают значение вежливого вопроса с оттенком некоторой неуверенности и сомнительности: *Јылдыстар онын јарыткыжы ине* – ‘Звезды ведь его освещают’; *Термозына изү чай уруп алган эмтир* – ‘В термос налил горячий чай, оказывается’; *Мен јаантайын сенин јанында эмей база* – ‘Я же постоянно рядом с тобой’; *Ол тойбоды эмеш пе?* – ‘Он, может быть, не наелся?’; *Чын эмеш пе?* – ‘Неужели, правда?’.

4. Сравнительные частицы **ошкош, чылап / чилеп** ‘как’ в качестве служебного компонента сказуемого становятся модальными частицами: *Сен ол керекти уккан ошкожын* – ‘Кажется, ты слышал об этом деле’; *Јок, мен кече оны көргөн ошкожым* (КК, СА, 50) – ‘Нет, я, кажется, его вчера видела’; *Уй мөбрөгөн чиледи* – ‘Как будто промычала корова’; *Карабаш нөкөринең болуш сураган чылады* (ЈК, Ү-С, 81) – ‘Карабаш как будто просил помощи у друга’; *Анайда турганчам, та не*

*де январьда күнүрөй берген чиледи* – ‘Пока я так стоял, как будто что-то около меня загремело’.

5. Усилительная частица **ла** в качестве служебного компонента финитного сказуемого приобретает утвердительное значение: *Мендий уулдар жерде жаткылабай жат ла* (СС, Э, 189) – ‘Такие парни, как я, ведь не валяются на дороге’; *Мен де тегиндү кижини эмес ле* – ‘Я ведь не простой человек’; *Ол көзүңк жаар көргөй лө* – ‘Ну пусть он смотрит в окно’.

6. Усилительная частица **а** с формой на **Тv=бай** указывает на утвердительное согласие для совершения того или иного действия: *Андый кижиле уулдар отурбай аа* (СС, Э, 188) – ‘Конечно же, парни будут сидеть с таким человеком’; *Жаны ла эдип ийген пөтүктү көккидип ийзе, пөтүгөш бойын жаан пөтүк деп бодобой база!* (ЛК, АК, 440) – ‘Конечно же, только что кукурекующего петушка похвалишь, он ведь возмнит себя ведь почтенным петухом’.

7. Модальная частица **деер** (от **де**= ‘говорить’) в сочетании с **кайт-** (от **кай эт**= – вопросительный глагол; *ол кайтты?* – ‘что он сделал?’) указывает на сильное сожаление: *О куда-ай, кудаи, кайттым деер, кайттым деер!* (УС, Ю) – ‘Боже мой, боже мой, что я наделал, что я наделал!’.

8. Модальная частица **не** всегда занимает постпозицию по отношению к сказуемому, но оттенки модального значения зависят от формы главного компонента: *Ол куй таш не* – ‘Это же ведь пещера’ (утверждение); **Тv=ган не**: *Жаанам чын айткан не* – ‘Бабушка ведь правду говорила’ (утверждение); **Тv=гай не**: *Баргай не* – ‘Пойдет ли’ (неуверенность); **Тv=ар не, Тv=ды не, Nv=не**: *Ишти эдер не* – ‘Конечно, работу сделает (уверенность)’, *Мен үрендим не* – ‘Я ведь учил же’ (категорическое утверждение); *Бу үредүни адам Сандрай көөркийдин ле шылтуузында божотты не* (ЖМ, JJ, 35) – ‘Мой отец ведь благодаря Сандрая ведь закончил учебу’; *Кайчы кижинин жаныс ла сөзи, көзи курч не* (ЖК, Ы-С, 12) – ‘У сказителя ведь острыми бывают только глаза и речь’. Модальная частица **не** в сочетании с **кайт-** указывает также на сожаление: *Эмди санансам, мен кайттым не* – ‘Когда думаю (о прошлом), что же я наделала’.

Таким образом, особенностью категории модальности в алтайском языке является то, что модальная семантика может быть задана не только модальными аналитическими глагольными конструкциями, но также и синтетическими формами наклонений. Во всех рассмотренных случаях функция передачи сложных модальных значений ложится на предикат, который приобретает аналитическую

грамматическую форму. В этой синтаксической роли выступают аналитические конструкции, состоящие из лексического компонента – знаменательного глагола, а служебным компонентом являются вспомогательные глаголы, модальные слова и частицы, которые вносят в предложение разные оттенки модальной семантики.

## Литература

- Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М., 1972.  
 Виноградов В.В. О категории модальности и модальных слов в русском языке // Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.  
 Зайнуллин М.В. О сущности и границах категории модальности. Уфа, 2000.  
 Озона А.А. Модальные причастные аналитические с семантикой предположения // Материалы XXXIV Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс». Филология. Новосибирск, 1996.  
 Петров Н.Е. Синтаксические средства выражения модальности в якутском языке. Новосибирск, 1999.  
 Тыбыкова А.Т. Конструкции с модальным значением достоверности в алтайском языке // Филологические исследования (к 100-летию Т.М. Тошакковой). Горно-Алтайск, 2006.  
 Черемисина М.И., Тыбыкова А.Т. О модальных формах сказуемого в алтайском языке // Компоненты предложения. Новосибирск, 1988.

## Источники

- БУ, Т – Укачин Б. Туулар туулар ла бойы артар. Горно-Алтайск, 1985.  
 БУ, ЭТ – Укачин Б. Ээлү туулар. Горно-Алтайск, 1969.  
 КТ, КЖ – Толосов К. Кадын жаскыда. Горно-Алтайск, 1987.  
 ЛК, Ы-С – Ыч-Сүмер алдында. Горно-Алтайск, 1986.  
 ЛК, АК – Кокышев Л. Алтайдын кыстары. Горно-Алтайск, 1980.  
 СС, АКС – Суразаков С.С. Алтай керегинде сөс. Горно-Алтайск, 1984.  
 СС, Э – Сартакова С. Эржине. Горно-Алтайск, 2003.

**ПРОБЛЕМА ОСНОВНОГО ЯЗЫКА ПРИ ДВУЯЗЫЧИИ  
И КРИТЕРИИ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
(на примере бурятско-русского двуязычия)**

*Э.В. Хилханова*

**Ключевые слова:** основной язык, двуязычие, переключение кодов, естественный диалог, модель основного языка-фрейма.

**Keywords:** matrix language, bilingualism, naturally occurring dialogue, Matrix Language-Frame Model.

Изучение проблем двуязычия связано с решением многих неясных, не разрешенных до конца вопросов, к которым относится, в частности, проблема дифференциации *переключения* и *смешения кодов*<sup>1</sup> и *заимствований*, а также тесно связанный с данной проблемой вопрос о том, какой из двух языков в ситуации двуязычия может считаться *основным языком*, а какой – *вставляемым языком* (далее – ОЯ и ВЯ соответственно). Билингвы, как правило, используют в своей речи и отдельные слова, и словосочетания, и фразы, и целые предложения из обоих языков, которыми они владеют. При этом равное владение обоими языками встречается гораздо реже, чем более высокая языковая компетенция в одном языке и, соответственно, более низкая – в другом. Более того, по мнению многих социолингвистов, одна из распространенных классификаций – выделение сбалансированного и несбалансированного двуязычия – является мнимой, так как абсолютно равного владения двумя (и тем более тремя и т.д.) языками не бывает вообще (см., например: [Алпатов, 2000, с. 196]). Ж. Лапонс, например, считает, что доминирующий язык всегда подавляет ассоциации, связанные с другим языком; он отмечает, что нередко двуязычные ученые, но не бывает двуязычных писателей; вспоминая в связи с этим Набокова, Ж. Лапонс подчеркивает, что он писал на разных языках не одновременно, а в разные периоды [Алпатов, 2000, с. 196].

Можно ли на этом основании считать, что один язык является ОЯ, а другой – ВЯ? Или было бы более правильным исходить из того, что при переключении кодов (далее – ПК) не существует общего ОЯ в одном дискурсе, а происходит смена ОЯ, даже если речь идет об отдель-

<sup>1</sup> Поскольку смешение кодов представляет собой разновидность переключения кодов, в дальнейшем мы будем использовать термин «переключение кодов» для описания обоих явлений, за исключением тех случаев, когда необходимо их разграничивать.

ном лексическом сегменте? Эти и другие вопросы относительно основного языка и критериев его определения будут рассмотрены в данной статье на примере бурятско-русского билингвизма.

Социолингвистами предлагаются следующие критерии определения ОЯ:

1) психолингвистический критерий, согласно которому ОЯ – это тот язык, в котором говорящий обладает более высокой компетенцией;

2) социолингвистический критерий, согласно которому ОЯ – это язык, который а) является доминирующим языком внутри языкового сообщества; б) в определенной ситуации общения представляет собой наименее маркированную форму;

3) критерий частоты, согласно которому ОЯ – это язык, который «поставляет» в разговор наибольшее количество морфем, то есть язык, который в дискурсе длиной больше, чем предложение, «дает» наибольшее количество морфем, является ОЯ [Myers-Scotton, 1993, с. 66].

В настоящей статье осуществлена эмпирическая верификация данных критериев на основе транскриптов аудиозаписей естественных диалогов двуязычных бурят. Было записано 9 образцов естественного диалога, что составило 3 часа 24 минуты аудиозаписи. Информанты были отобраны по принципу квотной пропорциональной выборки из трех регионов этнической Бурятии, где компактно проживают буряты: три человека из бывшего Агинского Бурятского автономного округа (ныне часть Забайкальского края), три – из Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (ныне – часть Иркутской области), три – из Республики Бурятия. С возрастной точки зрения информанты представляли три поколения: младшее (18, 22 и 30 лет), среднее (33, 40 и 45 лет) и старшее (47, 50 и 64 года). С точки зрения образования большинство респондентов (семь) имели высшее образование, двое – среднее профессиональное образование.

Рассмотрим следующий, типичный для бурят-билингвов и, в частности, для данного информанта дискурс (информант – женщина 50 лет, в/о, первый язык – бурятский, живет в г. Улан-Удэ)<sup>1</sup>.

*Иванова давно сняли. После первого пожара. Тиигээд вместо него Борисов. А Борисов-ини муу зантайшаг / нэгээ ходо настроениин хүн бэишэ гү ('у этого Борисова не очень хороший характер / кажется,*

<sup>1</sup> Бурятскоязычный дискурс и его фрагменты, включая слова из русского языка, оформленные в соответствии с правилами грамматики бурятского языка, выделяются полужирным. Русскоязычный дискурс, включая слова, не имеющие в данном примере признаков фонетической, морфологической и др. интеграции, дается без выделения.

он как-то всегда человек настроения'). *Тиигээш хаа үсэгэлдэр* ('тем не менее вчера') у меня вообще был такой шикарный день. Декан под-писал, и Борисов. Все говорили, что он не разрешит. Бесполезно, потому что ты никто. Ты не стажер, никто. Я говорю: «Я с сентября буду». – «Но это когда будет». *Тиигээд ехэ мэгдээжэ байһамни бурхан хараа* ('таким образом, в то время как я была в растерянности / бог [меня] не оставил'). *Бурханда һайнаар мургооб* ('я хорошо помоллилась богу').

Первые два критерия (психолингвистический и социолингвистический) не позволяют определить ОЯ, так как в первом случае говорящий обладает примерно одинаковой (но функционально распределенной) компетенцией в бурятском и русском языках, а во втором случае при применении социолингвистического критерия пункты «а» и «б» как бы аннулируют друг друга: доминирующим языком внутри языкового сообщества является русский, но в данной речевой ситуации, когда не только информант, но и ее собеседница являются этническими бурятами, обе говорят на хоринском диалекте (легшем в основу литературного бурятского языка), родились и выросли в сельской местности (хоть и не в одной), хорошо знакомы друг с другом, бурятский язык представляет собой менее маркированную форму общения, чем русский. Согласно третьему критерию, ОЯ должен быть русский как «поставщик» большего количества морфем: 44 vs. 20<sup>1</sup>.

Дальнейший вклад в изучение данной проблемы вносит так называемая *Matrix Language-Frame Model* («MLF-Model») К. Майерс-Скоттон [Myers-Scotton, 2006] (что можно перевести как «Модель основного языка-фрейма»), рассматривающая ПК внутри предложения. Как свидетельствует название, модель базируется на основополагающем различии между ОЯ и ВЯ в серии переключений кодов, причем ОЯ иерархически находится в более высоком положении, чем ВЯ, и образует морфосинтаксическую основу. До применения морфосинтаксических структур, которые производят поверхностные структуры, образовывается определяемый ОЯ каркас. Только затем этот каркас заполняется морфемами.

<sup>1</sup> Личные имена учитывались в тех случаях, когда был выбор в оформлении личного имени по правилам бурятского или русского языка: так, 'Борисов-шни' ввиду включенности в морфологическую систему бурятского языка считалось заимствованием в бурятский язык, а 'Иванова' [сняли] – лексемой русского языка, поскольку здесь не реализована потенциальная возможность оформления и этой лексемы по правилам грамматики бурятского языка.

Основополагающим для MLF-модели является предположение о существовании двух иерархий. Наряду с вышеупомянутой иерархией ОЯ – ВЯ, К. Майерс-Скоттон различает иерархию между содержательными и системными морфемами. Содержательные и системные морфемы хранятся отдельно в ментальном лексиконе, причем системные морфемы могут быть востребованы уже при формировании структуры предложения, и только затем имеющаяся структура заполняется содержательными морфемами [Myers-Scotton, 2006, с. 243–244].

Если применить MLF-модель Майерс-Скоттон к ситуации бурятско-русского двуязычия, то следует сказать, что в нашем корпусе текстов в подавляющем большинстве случаев заимствования оформлялись по правилам грамматики бурятского языка, хотя было зафиксировано несколько немодифицированных единиц. Сколь бы велико ни было количество заимствованных морфем, почти все они подвергаются фонетическому, акцентологическому, морфологическому и семантическому освоению, например: *критиковала* [крит'ик^'ваала], *фиксировалдаг*, *саарһа оформлялха*, *документа оформлялха*, *заканчивалаад*<sup>1</sup> и т.д. Включение русских слов в иноязычный (в нашем случае бурятский) дискурс в русском морфологическом оформлении относится Л.П. Крысиным к разной способности говорящих к самоконтролю: в том, что касается произносительных и интонационных речевых навыков, которые в значительной степени автоматизированы, весьма большой процент говорящих не способен контролировать себя и как-либо корректировать свою речь (цит. по: [Дырхеева, 2002, с. 109]).

Тем не менее, то, что грамматические связи в анализируемом корпусе выражены на бурятском языке, на наш взгляд, свидетельствует о том, что пока еще бурятский язык в состоянии ассимилировать иноязычные элементы и, если следовать этому критерию, может считаться основным языком для говорящих, хотя уже наблюдаются переходные случаи отсутствия языковой ассимиляции и предпочтения ей переключения кода, например:

А 1: *Үхибуутэй гу?* ('дети есть?')

Б 2: *Хоер. Нэгэниинь в Англии, хорен зургаатай басаган.* ('Двое. Одна в Англии, девушка двадцати шести лет').

В данном примере вместо возможного морфологически освоенного по правилам грамматики бурятского языка (то есть энклитики) иностранственного дейкиса *Англи-да* 'в Англии' говорящий предпочел

<sup>1</sup> Глаголы даны в личных формах так, как они были зафиксированы в корпусе текстов.



переключить код и вставить оформленный по правилам русского языка наречный оборот (то есть предлог + существительное) «в Англии».

В случае наличия грамматической модификации ей в первую очередь подвергаются глаголы, но также достаточно распространены и существительные, оформленные по правилам грамматики бурятского языка. С морфологической точки зрения наиболее частотными заимствованиями являются существительные ввиду того, что, во-первых, именно они как номинативная часть речи *именуют* реалии, которым нет обозначения в бурятском языке, во-вторых, существительные могут включаться в предложение без какой-либо морфологической интеграции, что представляет наименьшую опасность с точки зрения нарушения правил грамматики Я<sub>а</sub>, например:

(1) *А, энэшни юу дүүргээб гэнэ, табан жэлэйнгээ һургуули* ('а, он говорит, что окончил эту свою пятилетнюю [высшую] школу'), *специалитет*.

(2) *Тиигээд аспирантурада постунаалхам гэнэ* ('после этого, говорит, буду поступать в аспирантуру').

(3) *Минии любимэ десерт таби* ('поставь мой любимый десерт').

(4) *Дүшэн.. дүшэн долоодохидо тезд* ('в сорок.. сорок четвертом же'), *кварталда, аһаа*.

(5) *Нэгэшье центнер үбһэгүй үлэхэ гэжэ байна бэишэ гүбди үбэлдөө* ('кажется, мы собираемся остаться без единого центнера сена зимой').

(6) *Манайшни гэр энэ юун* ('наш дом-то.. это') ... *пятьдесят четвертый, десятиэтажка*.

(7) *Театрай артист болохоого һананагша* ('хочешь стать театральным артистом')?

(8) *Тезд инээ руководительтэйб, тезд* ('и вот у меня новый руководитель, и вот') *ниче вроде, но она очень весомый человек*.

(9) *Часта тэндэ байхаб* ('буду там в час').

С этой точки зрения, бурятский язык, как язык, который обеспечивает системный каркас для огромного количества заимствований, является основным.

Таким образом, несмотря на наличие критериев и моделей, в реальных дискурсах идентификация ОЯ сопряжена с трудностями, по-

скольку, во-первых, ОЯ может меняться при изменении ситуативных факторов и, во-вторых, трудно определить ОЯ в таких переходных случаях, как ситуация с бурятским языком, когда, согласно одним критериям, бурятский язык является ОЯ для бурят, а согласно другим – уже не является таковым.

На основе проведенного анализа нами предлагается дополнение и детализация рассмотренных выше критериев определения основного языка (см. таблицу 1).

Таблица 1

	Критерии	Бурятский как ОЯ	Русский как ОЯ
	Психолингвистический (ОЯ – это тот язык, в котором говорящий обладает более высокой компетенцией → выражена субъективная модальность и метатекстовые связи)	–	+
	Социолингвистический 1 (ОЯ – это язык, который является доминирующим языком внутри языкового сообщества)	–	+
	Социолингвистический 2 (ОЯ – это язык, который в определенной ситуации общения представляет собой наименее маркированную форму)	+	–
	Лингвистический – критерий частоты (ОЯ – это язык, который «поставляет» в разговор наибольшее количество морфем)	–	+
	MLF-модель Майерс-Скоттон	+	–

Применение данных критериев к языковой ситуации в этнической Бурятии, то есть на макросоциолингвистическом уровне, дало следующие результаты: согласно психолингвистическому критерию, ОЯ для современных бурят является русский язык. Согласно критерию частоты – также русский язык. Определение ОЯ согласно социолингвистическому критерию 2 варьируется в зависимости от конкретной ситуации, так как только так можно определить наименее маркирован-

ный для данной ситуации язык. Согласно MLF-модели К. Майерс-Скоттон, ОЯ для бурятской этнической группы является бурятский. Таким образом, мы имеем соотношение критериев 4 к 2 в пользу русского языка, что, по меньшей мере, позволяет предположить, что бурятская этническая общность находится в стадии смены языка.

### Литература

Алпатов В.М. Зарубежная социоллингвистика о проблемах двуязычия и языков национальных меньшинств // Речевое общение в условиях языковой неоднородности. М., 2000.

Дырхеева Г.А. Бурятский язык в условиях двуязычия: проблемы функционирования и перспективы развития. Улан-Удэ, 2002.

Myers-Scotton C. Duelling languages. Grammatical Structure in Codeswitching. Oxford, 1993.

Myers-Scotton C. Multiple voices: an introduction to bilingualism. Blackwell Publishing, 2006.

### О «ВНЕСЦЕНИЧЕСКОМ» ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

*Л.В. Чернец*

**Ключевые слова:** внесценическое время, внесценическое пространство, сюжет, событие, персонаж, драма, повествование.

**Keywords:** outscenic time, outscenic space, plot, event, character, drama, narration.

Под внесценическим временем и внесценическим пространством понимаются координаты события, непосредственно в произведении не изображенного, по аналогии с понятием «внесценический персонаж» (этот термин общепринят). Как известно, в литературе важно не только само событие, но и способ его представления в тексте. Используя разные термины, литературоведы при анализе событийной сферы произведения с успехом применяют оппозиции: *фабула / сюжет* [Томашевский, 1996, с. 180–182], *сюжет / фабула* [Поспелов, 1978, с. 2–33, 104], *сюжет / временная организация текста* [Хализев 2005, с. 233, 292–293], *история / акт повествования, повествовательный дискурс* [Женетт, 1998, с. 64–65]; вообще терминологический разброс велик [Тамарченко, 2001, с. 181–195]. Мы используем термин «сюжет» в значе-

нии, которое он имеет в работах Г.Н. Поспелова, то есть понимая под ним «порядок событий, в каком они произошли в жизни персонажей» [Поспелов, 1978, с. 104]. Такое понимание традиционно для отечественного литературоведения (В.Г. Белинский, А.Н. Веселовский и др.).

Одни и те же события могут быть представлены в произведении очень по-разному. С помощью названных выше оппозиций можно наглядно увидеть содержательную и конструктивную функцию приемов изображения. Причем в последние десятилетия очевидно смещение интереса теоретиков от расположения событий, разного рода сюжетных инверсий к субъектной организации текста, к тому, кто и как о них говорит, а также к степени детализации изображения.

Понятия «внесценическое время» и «внесценическое пространство» в первую очередь применимы к драме, где наиболее очевидна граница между сценическими и внесценическими событиями. Так, в «Горе от ума» к внесценическому пространству можно отнести Английский клуб, о котором рассказывает Репетилов, соседнюю комнату, где Чацкий встретил «французика из Бордо», а к внесценическому времени – век Екатерины, когда был жив Максим Петрович, которого Фамусов ставит Чацкому в образец.

В драме классицизма, где соблюдалось единство места и времени, за сценой нередко оказывались даже важнейшие события сюжета: о них сообщали, рассказывали персонажи. Так, в «Федре» Расина о гибели Ипполита рассказывает его наставник Терамен. Это позволило сохранить единство места и одновременно избежать прямого показа страшных мучений героя, ставшего «сплошной раной». Как писал теоретик французского классицизма,

Не все события, да будет вам известно,  
С подмостков зрителям показывать уместно:  
Волнует зримое сильнее, чем рассказ,  
Но то, что стерпит слух, порой не стерпит гла

[Буало, 1957, с. 78]

События, подобные гибели Ипполита, не показывались на сцене не только из-за того, что их не мог «стерпеть глаз». Драма моделирует прежде всего ситуации речевого общения, ее основной текст составляют диалоги и монологи. Поэтому события, происходящие, так сказать, в молчании, не для нее; во всяком случае, для «немых сцен» (как в «Ревизоре») нужен фон звучащей, вдруг прерванной речи. Но о действиях, событиях, происходящих в молчании, можно выразительно рассказать (что и делает Терамен).

С отменой правила «трех единств», в романтической и постромантической драме внесценических событий, казалось бы, должно было стать меньше. Ведь каждая часть внешней композиции пьесы (то есть акт или сцена, картина) могла иметь свое место и время действия – как, например, в пушкинской трагедии «Борис Годунов», состоящей из 23 сцен, заглавия которых указывали на место, а часто и на время действия: «Кремлевские палаты (1598 года, 20 февраля)»; «Красная площадь»; «Ночь. Келья в Чудовом монастыре (1603 года)». Все же такое дробление композиции не стало нормой, оно привилось лишь в отдельных жанрах, в особенности в «драматической хронике», где естественно стремление драматурга воспроизвести на сцене наиболее значимые эпизоды, живущие в исторической памяти народа («Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А.Н. Островского). Однако вследствие отбора для сценического воплощения самых важных событий многие факты, составляющие сюжет, лишь упоминались.

Все же в истории драмы и в XIX–XX веках преобладала композиция, представлявшая собой цепочку пригнанных друг к другу эпизодов, как в «Ревизоре» или «Бесприданнице». В этих пьесах соблюдается единство времени, действие занимает всего один день. Показательно, что Островский, театр которого неоднократно называли «эпическим» (порицая его за избыток повествовательных элементов или, напротив, видя в этом новаторство драматурга), специфику драмы видел в стремительно развивающемся действии. «...Представлять целый ряд событий, разделенных большими промежутками времени, не должна драма, – это не ее дело; ее дело – одно событие, один момент, и чем он короче, тем лучше» (из письма к А.С. Шабельской от 15 июня 1885 года [Островский, 1980, т. XII, с. 361]).

Но и концентрические, центростремительные сюжеты в драме включают в свой состав события, лишь упоминаемые, происходящие во «внесценическом» времени и пространстве. Так, в «Бесприданнице» остается «за сценой» то, что произошло между Паратовым и Ларисой на пикнике, кратко передана – в беседе Кнурова и Вожеватова в первом действии – предыстория отношений главных героев и др.

В чем же основная причина, можно сказать, неизбежности «внесценического» времени и пространства в драме? По-видимому, в том, что основной единицей сюжетной композиции в драме является сценический эпизод (см.: [Чернец, 2006, с. 68–69]), важнейший признак которого – единство места и времени. В рамках эпизода время течет непрерывно. Но ведь сказать (и сообщить читателю) нужно не только о том, что происходит *здесь и теперь*.

Драма – род литературы, где время, каждый его отрезок, – на вес золота. Согласно Э. Бентли, «любой драматург вымеряет диалог в долях секунды. Как долго говорит персонаж, иной раз не менее важно, чем то, что именно он говорит. В черновом наброске какой-нибудь групповой сцены драматург вполне может написать: «Здесь реплика персонажа А. на пять секунд» [Бентли, 1978, с. 75].

То, что выбрано как материал для эпизода, изображается детально: ведь именно форма эпизода создает иллюзию жизни, здесь спешить нельзя. Между тем ввести информацию о прошлом, без которого не вполне понятно настоящее, дать предысторию героев, сообщить о событиях, происходящих за рамками эпизода, бывает необходимо. И в высказываниях персонажей появляются отсылки к прошлому, сообщения о событиях за сценой. Так, в «Вишневом саде» А.П. Чехова подробно показано состояние Раневской, узнавшей о продаже имения, сами же торги – событие внесценическое, о них рассказывает Лопахин. Автору важнее передать горе Раневской и плохо скрытое торжество Лопахина, чем его схватку с Деригановым. А в «Чайке» протекает «за сценой» история взаимоотношений Нины и Тригорина, судьба Нины как актрисы.

Само слово «эпизод» восходит к древнегреческому «эписодию», что означало «вставка». В античной драме «эписодий» – диалогическая часть между песнями хора, однако постепенно, с ослаблением роли хора, именно эти «вставки», для которых понадобились «три актера», становятся главными в пьесе. В суждениях Аристотеля об «эписодии» для современной поэтики актуально его замечание, что данный компонент композиции увеличивает «объем» целого. «Во время творчества» поэт должен представлять себе «материал» сначала в «общих чертах, а затем <...> составлять эпизоды и распространять [целое]» [Аристотель, 1957, с. 95]. Составляя события, «должно <...> обрабатывать их по отношению словесному выражению, как можно живее представляя их перед своими глазами...» [Аристотель, 1957, с. 94].

Иными словами, эпизод в драме можно рассматривать как детализированное изображение некоего момента действия, которое происходит «перед нашими глазами», но не как краткое сообщение, упоминание о факте. Можно отметить особый интерес к понятию «эпизод» в теоретической поэтике последних лет и, в частности, отнесение к эпизодам и главных и второстепенных моментов действия (то есть, говоря словами А.А. Потебни, забвение «внутренней формы», этимологического значения слова). Эпизод рассматривается не как «вставка», но как обладающая тематическим единством часть сюжетной компози-

ции, где сохраняется основной состав участников и соблюдается единство места и времени [Сергеева, 2007, с. 6–7]. Эпизод как относительное единство вычленяется из текста, ему можно дать условное заглавие.

Каковы же в драме основные способы введения внесценического времени и пространства? Поскольку в фокусе драмы – речевое общение, в ней реализуются прежде всего коммуникативные, апеллятивные функции речи, слово героя становится его действием. В результате «пропорции между повествованием и речевыми действиями персонажей здесь резко смещены в пользу последних» [Хализев, 1986, с. 42]. Тем не менее повествование в драме есть, и его предметом чаще всего являются события внесценические.

Выработано много способов введения информации о внесценических событиях. Остановимся на двух, наиболее распространенных. Это, во-первых, эпический, повествующий монолог персонажа; его архетипом можно считать монолог Вестника в древнегреческих трагедиях [Гаспаров, 1997, с. 461]. Такой монолог переносит слушателя в другое время и место. Например, в пьесе Островского «Бедность не порок» Любим Торцов рассказывает Мите о своих отношениях с Коршуновым, когда они оба жили в Москве; Любим был тогда «лет двадцати несмысленочек». Этот рассказ, разъясняющий ситуацию в семье Торцовых и заставляющий опасаться за судьбу Любви Гордеевны, вводит важный сюжетный (структурный) мотив. Другой пример: Лука в пьесе А.М. Горького «На дне» рассказывает о том, как сторожил дачу в Сибири и как пожалел мужиков, едва его не убивших. Это рассказ-притча, не имеющий прямого отношения к сюжету пьесы (то есть свободный мотив).

Как правило, эпический монолог обращен к какому-то слушателю (слушателям). Говорящему нужны реплики слушателя, выполняющие хотя бы фатическую функцию. Время и место, о котором идет речь, может быть ирреальным – например, онейрическим (в комедии А.Н. Островского «Праздничный сон – до обеда» Миша рассказывает матери сон, так и не сбывшийся).

Во-вторых, информация о внесценических событиях вводится с помощью информативного диалога, его архетип – «информационная стихомифия» в древнегреческой трагедии) [Гаспаров, 1997, с. 461]. Этот способ в большей степени соответствует природе драмы. Мотивировкой часто служит появление лица, не осведомленного о происходящих событиях, «аутсайдера». Так, в «Последней жертве» Островского Глафира Фирсовна, выполняя желание богатого купца Прибыткова, выведывает у простодушной Михевны (служанки Юлии Тугиной) все

подробности о связи Юлии и Дульчина, делящейся уже полтора года. В результате к трем дням, переломным в жизни главных героев и показанным на сцене, следует прибавить эти полтора года – внесценическое время, за которое Юлия истратила на любовника весь «капитал» (оставшийся после мужа), а Дульчин окончательно лишился кредита. Такова экспозиция, исходная ситуация, зная которую Прибытков смело вмешивается в судьбу Юлии.

Показ, то есть эпизоды, где сюжетное время равно сценическому, и сообщение, то есть рассказ персонажа, где время в той или иной степени «сжимается», чередуются, таким образом, не только в эпосе (где есть повествователь), но и в драме. Здесь тоже может быть множество отсылок к прошлому, с которым настоящее связано крепкими нитями.

Особый случай – сюжет, где внесценические события, прошлая жизнь героев становятся предметом воспоминаний и споров в настоящем времени эпизодов: «Привидения» Г. Ибсена, «Долгое путешествие в ночь» Ю. О'Нила. «Внесценическое» прошлое оценивается здесь ретроспективно, в свете его тяжелых последствий, изображаемых детально, в форме эпизодов.

По сравнению с драмой возможности эпоса в освоении времени и пространства шире. Вместе с повествователем читатель легко и свободно «перелетает» из одного времени и места в другое: «Теперь мы в сад перелетим, / Где встретила Татьяна с ним» [Пушкин, 1957, с. 80].

Однако сама повествовательная форма – это форма рассказа, а не показа, не прямое, а косвенное изображение событий, их фильтрация, отжим, интерпретация, где господствует точка зрения повествователя или определенного персонажа. Поэтому сами эпизоды, если под ними понимать детализированное изображение событий, здесь иные.

Структура повествования может быть настолько сложной, выражаемая «точка зрения» настолько «скользящей», что М.М. Бахтин выделил два «события» в романе: «...Перед нами два события – событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания <...> события эти происходят в разные времена (различные и по длительности) и на разных местах...» [Бахтин, 1975, с. 403–404]. В аспекте нашей темы особенно важно указание на несовпадение длительности событий сюжета и повествования. «Сказка сказывается» с разной, меняющейся скоростью. Повествователь волен, а часто и вынужден одни события описывать подробно, а другие просто упомянуть. То или иное композиционное решение у художника мотивировано. Так, в «Войне и мире» Толстого повествователь кратко сообщает о сватовстве Берга к Вере Ростовой: «Вскоре после приезда Ростовых в Петербург Берг сде-

лал предложение Вере, и предложение его было принято» (Толстой, т. 2, ч. 3, гл. 11) [Толстой, 1980, т. V, с. 193]. Но затем подробно описывается визит Берга к будущему тестю, за несколько дней до свадьбы, с целью уточнить сумму приданого. Приведены слова персонажа: «Потому что рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены, я бы поступил подло, граф...» (Толстой, т. 2, ч. 3, гл. 11) [Толстой, 1980, т. V, с. 196]. Показана растерянность графа Ростова, не подготовившегося к такому разговору и сказавшего «необдуманно первое, что пришло ему в голову: «Люблю, что позаботился, люблю, останешься доволен...» (Толстой, т. 2, ч. 3, гл. 11) [Толстой, 1980, т. V, с. 196]. В первом случае перед нами сообщение о событии, во втором – эпизод, сцена, диалог, то есть детализированное изображение.

Сюжет романа многолинеен, и можно было бы изобразить подробно целый ряд любовных объяснений (Денисов и Наташа, Долохов и Соня, Элен и ее поклонники и др.). Однако лишь немногие объяснения такого рода даны как эпизоды, «крупным планом»: Пьер и Элен; Андрей Болконский и Наташа; Друбецкой и Жюли; Николай и княжна Марья (последний диалог можно назвать невербальным, это язык взглядов).

По аналогии с драмой события, о которых просто сообщает повествователь или персонаж, можно назвать внесценическими; соответственно, внесценичны их время и место. Такие сообщения, как правило, ускоряют повествование, в отличие от эпизодов, замедляющих его и создающих иллюзию жизни.

В 1921 году английский литературовед П. Лэббок выделил две полярные стратегии повествования в романе: «картину (панораму)» от лица повествователя, представляющего «великий принцип экономии» в передаче событий, и «драматизацию повествования», или сцену, приближающую роман к драме. В сцене изображение дано «без сокращения времени и пространства» и господствует точка зрения персонажей: «рассказ прекращается, и свет падает прямо на изображаемых людей и их действия». На примере романов Л. Толстого, У. Теккерея, Г. Флобера, Г. Джеймса исследователь показал обоснованность отбора событий для сценического изображения, подчеркнул важность самого «размещения сцен» в тексте [Lubbock, 1987 с. 256–260]. Ведь не всякое событие достойно сцены.

Эта типология нуждается в уточнениях. А именно: в романе (повести, рассказе) повествователь далеко не всегда самоустраивается в драматической сцене. Так, у Толстого-романиста голос повествователя слышен всегда и везде. Кроме того, наряду с драматическими сценами

(изображающими ситуации общения) в эпосе вычленяются повествовательные и описательные фрагменты, где нет диалогов, но вводится «внесловесная действительность» (пейзаж, интерьер) – их тоже можно считать эпизодами, хотя и несценическими. Оппозиция «эпизод / сообщение» напрямую соотносится с типологией времени и пространства. Между полярными стратегиями повествования, конечно, прослеживается градация, поскольку степень детализации в сообщении варьируется.

Расположение в тексте эпизодов и сообщений может создавать выразительный ритм. Так, крупный план изображения основных событий сюжета часто оттеняется лаконизмом эпилога. Например, новелла А. Грина «Позорный столб» заканчивается так: «Они жили долго и умерли в один день».

Трудно переоценить роль эпизодов в композиции повествования. Однако важны и сообщения о событиях, произошедших «за сценой»: в совокупности они расширяют пространственно-временные рамки изображения, позволяют упомянуть о многом необходимом для понимания целого.

Иногда автор намеренно избегает детализированного, ясного и четкого изображения. Так, в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» многократно, но нарочито разноречиво, сбивчиво и глухо сообщается разными лицами о жизни Николая Ставрогина за границей и в Петербурге, о его беседах с Шатовым и Кирилловым, происходивших в один период времени, но подвигнувших первого к глубокой религиозности, а другого – к атеизму, о его женитьбе на Лебядкиной и пр. Но все это – в прошлом. На «сцене» же произведения – события 1869 года, когда Ставрогин уже далеко не «принц Гарри» и не «Иван-царевич». В финале романа он становится «гражданином кантона Ури», но возвращается в Скворешники и кончает самоубийством. Атмосфера таинственности, акцентирование непреодолимого внутреннего раздвоения и распада личности достигается во многом благодаря приему «внесценического» изображения, монтажа разного рода сообщений, слухов. В череде эпизодов показана лишь развязка, догорающий костер, пепел.

Соотношение сценического и внесценического пространства и времени в эпических и драматических произведениях составляет важный аспект сюжетной композиции, входит в «поэтический», иносказательный язык художника слова. Об этом свидетельствуют признания писателей. Приведем одно из них, принадлежащее Островскому: «...Самое трудное для начинающих драматических писателей – это расположить пьесу; а неумело сделанный сценарий вредит успеху и

губит достоинства пьесы» (из письма к В.С. Шабельской от 5 июня 1885 года [Островский, 1980, XII, с. 361].

### Литература

- Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957.  
 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.  
 Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978.  
 Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.  
 Гаспаров М.Л. Сюжетосложение греческой трагедии // Гаспаров М.Л. Избранные труды. М., 1997. Т. 1.  
 Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры : в 2 т. М., 1998. Т. 2.  
 Островский А.Н. Полное собрание сочинений : в 12 т. М., 1980. Т. 12.  
 Пospelов Г.Н. Теория литературы. М., 1978.  
 Пушкин А.С. Собрание сочинений: в X т. М., 1957. Т. X.  
 Сергеева Е.Е. Эпизод в драматическом и эпическом произведении («Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А.Н. Островского и «Война и мир» Л.Н. Толстого) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2007.  
 Тмарченко Н.Д. (сост.). Теоретическая поэтика: понятия и определения. М., 2002.  
 Толстой Л.Н. Собрание сочинений : в 22 т. М., 1978–1985.  
 Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1999.  
 Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2005.  
 Хализев В.Е. Драма как род литературы. М., 1986.  
 Чернец Л.В. Эпизоды, диалоги и монологи в пьесах А.Н. Островского // А.Н. Островский. Материалы и исследования. Шуя, 2006.  
 Lubbock P. The Craft of Fiction. N.Y., 1957.

### ПОЭЗИЯ В.А. ЖУКОВСКОГО И РУССКАЯ ЛИРИКА XIX–XX ВЕКОВ: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ В ПРОСТРАНСТВЕ СМЫСЛОВ И ТЕКСТОВ

*О.М. Гончарова*

**Ключевые слова:** В.А. Жуковский, русская лирика, наследие.  
**Keywords:** V.A. Zhukovsky, Russian lyrics, legacy.

Его стихов пленительная сладость  
 Пройдет веков завистливую даль.

*А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского»*

И я наследую все это...

*А.А. Ахматова. «Наследница»*

Творческие инициативы и открытия Жуковского активно наследовались учившимися у него поколениями русских поэтов. Они реализовались в текстах XIX столетия; еще более прилежным «ученичеством» отмечена лирика XX века, что отразилось в целой системе аллюзий, реминисценций, «скрытых» или «забытых цитат»<sup>1</sup>, которые были связаны с «возрождением интереса к Жуковскому с самого начала века» [Топоров, 2003, с. 583]. Специфика линии преемственности видится сегодня и в непосредственном влиянии Жуковского на того или другого поэта, и в наличии «в современной поэзии особого слоя Жуковского» или «пласта Жуковского», например, в текстах Блока [Топоров, 2003, с. 583, 585], что в корне меняет наши представления об истории русской поэзии в целом. Однако влияние поэзии и поэтики Жуковского может быть рассмотрено и с другой точки зрения – как наследование и трансформация поэтической семантики или мотивно-семантических образований, определивших собою смысловую целостность русской поэтической традиции<sup>2</sup>.

Обращение к поэтической идее «наследия» позволяет выявить наличие в русской поэзии специфических семантических пластов, связанных в первую очередь с репрезентацией рефлексии лирического Я над природой порождаемого текста и творимого Слова. В общепринятой терминологии речь идет о «теме поэта и поэзии», которая, несомненно, присуща любой литературной системе. Однако в русской тра-

<sup>1</sup> См.: [Миц, 1973; 1992; Топоров, 2003].

<sup>2</sup> Подробнее см.: [Гончарова, 2002].

диции она имеет особые концептуальные основания и образно-речевые решения: проявившись достаточно поздно как область личностного творчества в пределах светской культуры, русская поэзия закономерно активизирует внимание к проблемам поэтической коммуникации, особого типа говорения и его роли в пространстве культуры. Самым существенным моментом такого рода осмыслений и концептуализаций была проблема «истории», «исторических корней», «исторического опыта» и линий его наследования, волновавшая уже «отцов-основателей» русской литературы нового времени – Третьяковского, Ломоносова и Сумарокова<sup>1</sup>.

«Литературное поле», предвавшее и само появление Жуковского-поэта, и направленность его творческих интенций, было действительно проблемным: в большей степени оно определялось не участием в глобальных историко-литературных трансформациях, а задачами самоорганизации, самоопределения и институализации. Эффективным решением этих задач стал целый ряд идеально-проективных решений (прежде всего – теории Ломоносова и Третьяковского), сконструировавших новую для России реальность – национальную словесность. Новое дело, по словам Ломоносова – «несведомое прежним», потребовало обозначения не только контуров «литературного поля», но и необходимого для его функциональности «концептуального поля сознания» (в терминологии В.В. Колесова), то есть самых серьезных концептуализаций таких неизвестных русской традиции эстетических феноменов, как *поэзия* и *Поэт*. Однако концептосфера не литературный тезаурус, она требует организованного смыслообразования и корреляции смыслов, а при их отсутствии – смысловой реконструкции. Именно с этим связаны тончайшие и сложнейшие переходы от теоретических деклараций к художественной практике поэтов XVIII века, например откровенные ориентации на идеи и образы церковнославянской традиции. Поэзия XVIII века постепенно «вырабатывает» такие необходимые элементы художественного дискурса, как своя память об истоках и началах, собственные смысловые контексты, образ русского *Поэта* и др., которые и становятся базовыми семантическими основаниями и художественным опытом будущей русской лирики.

Именно поэтому в «семантической памяти» русской поэзии о своих истоках и началах, которая созидалась буквально на глазах – *здесь и теперь*, идея «наследия» и «наследования», «ученика» и «учителя» стала одной из ведущих. Откровенно она была сформулирована в

<sup>1</sup> См.: [Живов, 1997].

творчестве Державина, который определил своих предшественников, считая себя преемником лиры Аполлона («Дар», 1797), и назвал своего первого русского «наследника»: «Тебе в наследие, Жуковский, / Я ветху лиру отдаю» («Тебе в наследие, Жуковский...», 1808). Жуковский не только принимает «державинскую лиру», но и превращает идею «наследия» в объемный и сложный поэтический метасюжет, ставший со временем неотъемлемым и внутренне необходимым компонентом творческой авторефлексии в текстах русских лириков. Если в год смерти Державина русские поэты только задумывались о том, «кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой?» (А. Дельвиг «На смерть Державина», 1816), и верили, что придут «грядущих чада лет» (П. Плетнев «Гробница Державина», 1819), то Жуковскому позднее удалось найти ответы на эти вопросы и чаяния в художественном осмыслении / интерпретации глубинных основ и путей русской поэтической традиции.

В этих своих исканиях Жуковский совмещает в едином смысловом поле целый ряд образно-речевых и функционально-семантических решений, необходимых для практического освоения и усвоения уже определившейся концептуальной парадигмы. С одной стороны, он активно развивает тему поколений и наследования (например, «К И.И. Дмитриеву», «К кн. Вяземскому», «К Гете» и др.). Скорее всего, и сам мотив «следования» определен влиянием Державина, который еще в 1799 году советовал юным воспитанникам Московского университетского пансиона – В. Жуковскому и С. Родзянко: «идите вслед», «последуйте» («Жуковскому и Родзянке», 1799). Мотив «чреды» уже нескольких поэтических поколений, наследующих друг другу, представлен в послании «К И.И. Дмитриеву» (1831): «И ныне то ж, певец двух поколений, / Под сединой ты третьему поешь». Здесь Дмитриев-поэт изображен «учителем» новых молодых поэтов («И нам, твоих питомцам вдохновений, / В час славы руку подаешь») наряду с Державиным и Карамзиным. Причастность же нового поколения к творчеству через посредство «старших» обозначена в воспоминаниях лирического *Я* мечтой молодости – «Твой голос я подслушивал тогда, / И вопрошал судьбу мою с волнением: / “Наступит ли и мне чреда?”». В более позднем «Царскосельском лебеде» Жуковский подытоживает эту тему «чреды» поэтических поколений, обращаясь к образам поэта-«пращура» и «молодого поколения» («старец, пращур лебединый» – «племя молодое, полное кипеньем»). При этом образ «пращура лебединого» соотнесен в тексте с Державиным, который осмысливается как начало своеобразной чреды «гениев», как первый из «царскосельских

лебедей». Иницированное Жуковским «лебединое» первенство поэтического «прашура» будет поддержано в последующей русской лирике, особенно заметно в тех текстах, которые непосредственно связаны с размышлениями о *Поэте*, русской поэзии и поэтических поколениях – уже во второй половине XX века в произведениях Д. Самойлова, например («Старик Державина», «Смерть поэта», «Вот и все. Смежили очи гении...»).

С другой стороны, в творчестве Жуковского постепенно актуализуется и образ «круга» друзей-поэтов, поэтической «семьи» и т.д. Например, в «Цветке завета»: «И где же вы?.. Разрознен круг наш тесный / Разлучена веселая семья / <...> / Но розно ль мы? Повсюду в поднебесной, / О, верные, далекие друзья». Или в стихотворении «Жизнь (видение во сне)» – «И за ней вились толпою / Светлокрылые друзья». Только на первый взгляд эта мотивика кажется несущественной, однако именно она определяет особые смысловые горизонты в осмыслении образа русского *Поэта* и становится очевидной в более поздней русской лирике, тексты которой репрезентируют мотивы Жуковского в целостных мотивных комплексах и сюжетах в их функционально-семантической соотнесенности с поэтическими принципами и идеями поэта. Так, и «лебединая» царскосельская тема, и «верные», «светлокрылые друзья» Жуковского оживают в стихотворении А. Ахматовой 1916 года:

И вот одна осталась я  
Считать пустые дни.  
О вольные мои друзья,  
О лебеди мои!  
И песней я не скличу вас,  
Слезами не верну.  
Но вечером в печальный час  
В молитве помяну.  
<...>  
Но так бывает: раз в году,  
Когда растает лед,  
В Екатерининском саду  
Стою у чистых вод  
И слышу плеск широких крыл  
Над гладью голубой.  
Не знаю, кто окно раскрыл  
В темнице гробовой.

Конечно, «лебединый» сюжет в русской лирике ко времени Ахматовой оформился и через посредство других поэтических текстов и художественных интерпретаций. Образ бессмертного поэта-лебедя, ярко проявивший себя в державинском «Лебедь», активно развивался в поэзии XIX столетия. Это, например, «Пиит-лебедь» В. Капниста и его стихотворение «На тленность», посвященное Державину («Так лебедь пел, Пиндар российский...»), образ Державина как «лебедя величавого» в «Моих пенатах» Батюшкова и такие тексты, как «Лебедь» Тютчева, «Белые лебеди, вестники светлой весны, пролетели...» А. Майкова, «Приветствую вас, дни труда и вдохновенья...» Апухтина, «Лебедь» Полонского. Однако в этом контексте, определенном, помимо прочего, и идеями античности, становится очевидным тот факт, что Жуковскому удалось создать особый символический сюжет «царскосельского лебедя», вбирающий в себя и тему «наследования», или поэтических поколений. Несомненно, на эти идеи позднее ориентируются и Полонский, в «Лебедь» которого образ «светлокрылых друзей» Жуковского трансформируется в представление о «стаях белых лебедей», и Тютчев в стихотворении «Осенней поздней порою...» (1858), где в пространстве «царскосельского сада» появляются «белокрылые виденья», и Ахматова, написавшая цикл «Белая стая» и в самых поздних стихах помнившая о «стае лебединой» (например, «Пусть даже вылета мне нет...», 1963). Сходная семантика представлена и в стихотворении И. Анненского «Л.И. Микулич», посвященном изображению Царского Села и его поэтических «знаков»:

Там на портретах строги лица...  
<...>  
Там нимфа с таицкой водой,  
Водой, которой не разлиться,  
Там стала лебедем Фелица  
И бронзой Пушкин молодой...

Не случайно Ахматова, прямо обозначив проблему «наследия» в стихотворении «Наследница» (1958), ориентируется и на текст Анненского: «...я наследую все это: / Фелицу, лебедя, мосты».

В том же контексте становится понятным и присущее поэзии XIX–XX веков поэтическое представление о «наследниках» Жуковского как о поэтах, обретающих бессмертие в образе «лебедя». Изображение «умирающего лебедя» также, по всей видимости, связано с творчеством Жуковского («Умирающий лебедь») и унаследовано как константное русской поэзией («умирающий лебедь» изображен в текстах



Полонского, Апухтина, Бальмонта). Так, подразумевая «череду» поэтов-лебедей, Н. Гумилев после смерти Анненского написал в стихотворении «Памяти Анненского» (1911): «Был Иннокентий Анненский последним / Из царскосельских лебедей». Позднее, после смерти Блока, к этим лебедям добавится и еще один, о нем напишет Ахматова в стихотворении «А Смоленская нынче именинница...» (1921):

Принесли мы Смоленской заступнице,  
Принесли пресвятой Богородице  
На руках во гробе серебряном  
Наше солнце, в муке погасшее, –  
Александра, лебедя чистого.

Как представляется, неслучайным в этом контексте стало и превращение самой Ахматовой как *бессмертного* и *крылатого* русского поэта в «царскосельского снегиря» у Д. Самойлова («Смерть поэта», 1966). Так Самойлов создает свой семантический вариант «наследия», или «череды гениев», синтезируя поэтические образные ряды, идущие от Жуковского, Державина и самой Ахматовой.

«Поэтический сюжет», инициированный творческими исканиями Жуковского, может проявлять себя в последующей русской лирике и в других формах, образах, знаках, порою даже самых, на первый взгляд, неприметных и незначительных, однако их наличие в еще большей степени свидетельствует о том, насколько глубоким и прочным было освоение наследия поэта в русской культуре. Обратим внимание в этой связи на ряд стихотворных посланий Жуковского 1819 года, обращенных к С.А. Самойловой. Показательно, что здесь лирический герой именуется себя «Павловским поэтом». Это, с одной стороны, свидетельствует о развитии сюжета поэтического Павловска, с другой – о том, что тексты посвящены и поэтической проблематике: стихотворения связаны с романтической, но достаточно обыденной историей «платка», который, однако, близок поэту и способен «...за предел вселенной / Певца и музу перемчатъ». Позднее, в 1831 году, сюжет «платка» найдет свое продолжение и целостное завершение в стихотворении «Исповедь батистового платка» (впервые опубликовано в собрании сочинений 1902 года). В этом тексте представлена, по сути, уже законченная концептуализация мифосимволического образа, довольно неожиданного для эпохи романтизма:

Я родился простым зерном;  
Был заживо зарыт в могилу;  
Но Бог весны своим лучом

Мне возвратил и жизнь и силу.  
И долговязой коноплей  
Покинул я земное недро...  
<...>  
Вот мы ткачу попали в руки –  
И обратил его челнок  
Нас вдруг для превращений новых,  
В простой батистовый кусок  
Из ниток тонких и суровых...

И эти тексты, и эти мотивы, казалось бы, очень далеки от магистральных стратегий творчества Жуковского. Однако они оказались особо «памятными» русским поэтам эпохи символизма, в поэтике которого, как показано в исследованиях О. Хансен-Леве<sup>1</sup>, актуальными станут самые различные «нитки», «ткани», «полотна» и т.д. Наиболее интересными для сопоставления с «батистовым платком» Жуковского представляются два текста В. Ходасевича, реализующие сходные мотивно-семантические комплексы. Первый из них – стихотворение «Путем зерна» (1917) – мог бы показаться простой реализацией евангельского образа, на который, видимо, ориентировался в первой части «Исповеди батистового платка» и Жуковский: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, умрет, то останется одно; а если не умрет, то принесет много плода» (Ин. 12: 24). Однако вскоре Ходасевич пишет стихотворение «Без слов» (1918), где появляется образ «батистового платка» («Ты показал мне без слов, / Как вышел хорошо и чисто / Тобою проведенный шов / По краю белого батиста...»), соотносимый со второй частью стихотворения Жуковского. Как представляется, и само название текста Ходасевича ориентировано на поэтическую декларацию Жуковского о том, что «лишь молчание понятно говорит» («Невыразимое»). В этом контексте и «ткачество», и «шитье», связанные с «батистовым платком» у того и другого поэта могут вполне определенно рассматриваться в связи с проблемой художественного слова, которая, как показала С. Матхаузерова, уже у самых истоков поэтической русской традиции рассматривалась в различении двух концептов – «слагати» и «ткати». Речь идет о стиле «плетения словес» и ориентации на аналогию с различными видами «ткания», «плетения». Эта идея, по мнению исследовательницы, «любопытна для истории русской литературы в целом (и для истории поэзии в частно-

<sup>1</sup> См. об этом: [Hansen-Löve, 1989, с. 90–91, 137, 155, 237, 365, 446–495].

сти) как своего рода документ, объясняющий пути ее развития» [Матхаузерова, 1976, с. 199].

Интересно, что позднее – в романе К. Вагинова «Козлиная песнь» – «батистовый платок» вновь станет «знаком» поэта, правда, уже в особой, свойственной именно этому произведению художественной интерпретации. Герои романа, собирающие «поэтические предметы» как вещи «для биографии» поэта, беседуют о платках: «Важно установить, в каком году какие носовые платки носил Александр Петрович. Вот у вас батистовый, а у меня полотняный. <...>. Полотняный платок показывает одну настроенность души, батистовый – другую» [Вагинов, 1991, с. 54].

Аналогичным образом представления Жуковского о поэтическом даре и вдохновении, активно поддержанные его «наследниками» в XIX веке, отозвались в стихотворении Б. Пастернака «Никого не будет в доме...» (1931), которое воспринимается обычно как текст, связанный исключительно с любовной тематикой. Для целого ряда текстов Жуковского, как известно, показательна концепция «светлого гостя», «таинственного посетителя», «гения» («К мимопролетевшему знакомому гению», «Таинственный посетитель»). Например: «...ангелом прекрасным / Кто-то светлый прилетел» («Жизнь»); «Появилась предо мной: / Светлый завес покрывала / Оттенял ее черты» («Лалла Рук»); «Явилася она передо мною / В одежде белой, как туман / <...> в сиянье / Вечерних гаснущих лучей» («Привидение»). Именно этот мотивный комплекс, на наш взгляд, и определяет внутреннюю семантику произведения Пастернака:

Никого не будет в доме,  
Кроме сумерек. <...>

Но неожиданно по портъере  
Пробежит вторженья дрожь.  
Тишину шагами меря,  
Ты, как будущность войдешь.

Ты появишься у двери  
В чем-то белом, без причуд,  
В чем-то впрямь из тех материй,  
Из которых хлопя шьют.

Только в первом приближении обозначенные связи и переклички могут рассматриваться как факторы интертекстуальности. Очевидно, что перед нами явления совершенно иного порядка, связанные с про-

блемами семантической памяти культуры и таким феноменом, как «память дискурса», которая в литературном тексте реализуется как «память о памяти» (И.П. Смирнов). Такой тип «памяти» выражает себя не только в цитатах, пусть и забытых или стертых, не только в константных предикатных системах (мифологема, культурема), но и в наследовании концептуальных «матриц», то есть смысловом концептуального поля intersubъективной реальности. Обратим внимание в этой связи на две формулы русской поэзии, манифестирующие представления уже не столько о сущности коммуникативной деятельности *Поэта*, сколько о его медиальной природе – «И лишь молчание понятно говорит» Жуковского (1819) и «Глаголом жги сердца людей» Пушкина (1826). Аналогичные по своей структуре, они во многом различны по смыслу, почему их и не принято соотносить между собой, к тому же вторая – пушкинская – кажется более репрезентативной для русской традиции. Однако именно идею «молчания» и «молчаливого слова» активно развивают следующие поколения русских поэтов (один из наиболее показательных текстов – «Silentium!» Тютчева), особенно в понимании телесности и грубости вербальной коммуникации, самого человеческого слова, его способности быть поэзией или же в тяготе к «немолчанию слову»:

Людские так грубы слова,  
Их даже нашептывать стыдно.  
(«Людские так грубы слова» А. Фета, 1889)

И, сказавши своими словами,  
я еще не сказал ничего.  
(«Охота» Б. Корнилова, 1933)

Я боюсь, что наступит мгновенье,  
И, не зная дороги к словам,  
Мысль, возникшая в муках творенья,  
Разорвет мою грудь пополам.  
(«Разве ты объяснишь мне...»  
Н. Заболоцкого, 1957)

Понимание – молчаливо.  
Звук запаздывает за светом.  
Слишком часто мы рты разеваем.  
Настоящее неназываемо.  
(«Тишины!» А. Вознесенского, 1964)

Такая предикация поэтического *слова* практически не привлекала к себе внимания, поскольку «молчание», которому посвящено программное стихотворение Жуковского «Невыразимое», до сих пор не распознается как обозначение специфики «говорения» (в переводе на язык современной терминологии – технологии трансляции смысла) в парадигме разработанной в XVIII веке поэтической концептосферы.

Интерпретируя новый тип организации речи, поэтическая рефлексия времени автоматически перенесла сакральные функции, утвержденные ранее за религиозно-учительным *словом*, на *слово* иного типа – светское, мирское – и, естественно, на саму фигуру поэта-мирянина<sup>1</sup>. Именно в этом контексте появляется ломоносовская декларация – «Устами движет Бог; я с ним начну вещать...» (1747), которая прямо ведет к пушкинской формуле. И в том и в другом случае ощутима откровенная связь с библейским сюжетом: в ответ на сетования Моисея – «я тяжело говорю и косноязычен» – «Господь сказал [Моисею]: кто дал уста человеку? <...> не я ли Господь [Бог]? итак иди, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить» (Исх. 4: 11–12). Таким образом, «движение уст» *Поэта*, рождающее его *слово*, определяется Божественной волей (у Пушкина – «Исполнишь волею моей»). Заметим, что в последующей традиции, основанной на трансформационном потенциале поэзии Жуковского, «уста» уже не движутся (например, у С. Городецкого – «Ах, уста мои сомкнуты, / Молчаливый монастырь»).

Правда, *молчание* появляется уже у Ломоносова: божественное волеизъявление представлено у него в особой смысловой парадигме, выражающейся в концепции *поэтического восторга* как духовного восхождения к *Неизреченному*, условиями которого являются *тишина* и *молчание*<sup>2</sup>. Для святоотеческой традиции это экстатическое состояние человека, когда, как писал Симеон Богослов, его «душа как бы покидает этот мир, прорываясь в иные измерения, и там объединяется с божественной сущностью» [Бычков, 1991, с. 276]. В этом духовном пространстве царят, по словам глубоко почитаемого русскими мистиками XVIII века Дж. Пордеджа, «глубокое Молчание и такая ужасная Тишина, какой ни словами не выразить, ни помыслить, ни понять не можно: понеже они гораздо превосходят всякие выражения и слова,

<sup>1</sup> Об этом специфическом для русской традиции явлении см.: [Лотман, 1996, с. 88–89; Живов, 1996; Панченко, 2000].

<sup>2</sup> О метафизическом аспекте тишины и молчания как мистической коммуникации, традиционном для русской культуры и литературы, подробнее см.: [Яковлев, 1993; Грек, 1994; Гончаров, 1997, с. 1–29; Богданов, 1997].

также всякие помышления и воображение» [Пордедж, 1787, т. 2, с. 169]. Потому и *Поэт* в русской оде – провидец-визионер; он, как писал В. Кюхельбекер, «вещает правду и суд промысла» [Кюхельбекер, 1979, с. 454].

Жуковский, не отменяя мистических характеристик *Поэта* как медиума-посредника, иначе осмысливает структуру «посредничества»: прежде всего он изменяет субъектно-объектные соотношения вертикали «восторжения». В его поэзии имплицитно присутствующая Божественная воля существует наравне с откровенно представляемыми рефлексией *Я* и его внутренними интенциями. Например: «Ах! не с нами обитает / Гений чистой красоты: / Лишь на миг он навещает / Нас с небесной высоты» («Лала Рук», 1821); «Скажи, кто ты, пленитель безымянный? / С каких небес примчался ты ко мне?» («К мимопролетевшему знакомому гению», 1819). В поэзии Жуковского определяется и сама медиальная субстанция лирического слова – душа *Поэта*, связующая «верх» и «низ» в земном и реальном бытии (тогда как у Ломоносова, например, движение «вверх» лирическое *Я* осуществляет только «презрев земную низкость»). Жуковский видел это иначе: «Что такое соединение души с богом? <...>. Я бы сказал: <...> чистое ощущение своего духовного бытия, вне всякой ограничивающей его мысли, а просто душа в полноте своего бытия, следовательно, душа в Боге» [Жуковский, 1902, т. 10, с. 132].

*Поэт* Жуковского, как и в традиции, наделен спиритуальными характеристиками, но Божественная воля в его деяниях самым непосредственным образом сопрягается уже с собственным «ощущением духовного бытия». Таким образом, традиционные отношения между *небесным* и *земным* в иерархии соподчинения изменяются у него на диалог согласия или диалог понимания. По этой причине «вещание» или «глаголание» не могут выразить обретенных истин – духовное «говорение» может быть только молчаливым. Потому предмет поэзии и есть «не выразимое ничем», поскольку это – «святые таинства», данные *Я* только в его субъектной духовной рефлексии: «Сие столь смутное, волнующее нас, / Сей внемлемый одной душою / Обворожающего глас, / Сие к далекому стремленье, / <...> / Сия сходящая святыня с вышины, / Сие присутствие Создателя в создани...» («Невыразимое»). «Создание» неподвластно «земному языку», святыням, «внемлемым одной душою», нужна и иная речь:

Какой для них язык?.. Горе душа летит,  
Все необъятное в единый вздох теснится,  
И лишь молчание понятно говорит.

Концепция Жуковского закономерным образом определила активный поиск необходимых представлений о душе *Поэта*, способной к «говорению». С одной стороны, все более актуализованным становится в поэзии мотивный комплекс «немота–безмолвие», развивающий семантическое поле поэтического концепта *молчание*. Здесь важно отметить, что только в русском языке *тишина* и *молчание* имеют разное значение и в совокупности образуют *безмолвие* или *немоту*, также связанные с мистическими смыслами [Арутюнова, 1994, с. 115]. Со временем *немота*, усиливающая семантику *молчания* за счет связи с телесностью (немота – это физиологически обусловленное молчание), становится в поэзии «говорящей», «вещей» и т.д. Например:

Когда б ты знал, что эти звуки,  
 Когда бы тайный их язык  
 Ты чувством пламенным проник, –  
 Поверь, уста твои и руки  
 Сковались бы как в час святой  
 Благоговейной тишиной.  
 Тогда душа твоя, немея,  
 Вполне бы радость поняла...  
 («К любителю музыки» Д. Веневитинова, 1827)

Ах, уста мои сомкнуты,  
 Молчаливый монастырь.  
 Пусть страницы разогнуты,  
 Не написана псалтырь:  
 Слово каждое убавит,  
 Слово ль молвить могота?  
 Нестерпимое прославит  
 Счастье только немота.  
 («Молчальница» С. Городецкого, 1906)

В той потрясенной, вещей немоте  
 Ко мне тогда само являлось слово  
 В нагой и неподкупной чистоте.  
 («Я никогда не напишу такого» О. Берггольц, 1946)

С другой стороны, осмысление души *Поэта* приводит к формированию устойчивого комплекса основополагающих характеристик, ставших константными в русской лирике. Это, например, *чистота* души, связанная не в последнюю очередь и с самим Жуковским. Его духовная чистота стала основным и главным предметом поэтической

рефлексии в таком значимом для истории «наследования» тексте Тютчева, как стихотворение «Памяти В.А. Жуковского» (1851): «...чист и цел / Он духом был», «...вевал в нем дух чисто голубиный / И этою духовной чистотою / Он возмужал», «Иль не про нас сказало божество: “Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!”».

Традиционную устойчивость семантических связей мотива *чистоты* с поэзией и творчеством, которые когда-то у Жуковского были определены как «чистейшие мгновенья бытия», демонстрирует их реализация уже в XX веке – например, в стихотворении О. Шестинского 1976 года:

Время от времени нужно  
 душу свою очищать  
 так, как чердак иль подполье  
 мы очищаем от хлама.

<...>

В чистой и ясной душе  
 вдруг я услышу, смятенный,  
 как зажужжала пчела,  
 мед собирая...

С семантикой *чистоты*, возводящей к *слову*, связан, на наш взгляд, образ души-Афродиты, ярко представленный в русской лирике: «Раковина» и «Silentium» Мандельштама, «Хвала Афродите» и «Кто создан из камня, кто создан из глины...» М. Цветаевой, «Das Ewig-Weiblichkeit» В. Соловьева, «Стирка белья» Н. Заболоцкого. Чаще всего образ Афродиты в стихотворных текстах связан со спецификой *поэта* и *поэтической* речи (например, у Мандельштама «Да обретут мои уста / Первоначальную немоту» = «Останься пеной, Афродита, / И, слово, в музыку вернись») или же необходимой *чистой души*:

Благо тем, кто смятенную душу  
 Здесь омоет до самого дна,  
 Чтобы вновь из корыта на сушу  
 Афродитию вышла она!

(«Стирка белья» Н. Заболоцкого, 1957)

Чистая, летящая к небу душа *крылата*, *перната* или способна к *полету*. Мотивы полета или крылатости активно представлены и в русской поэзии нового времени: «То ль я души моей пареньем / Не вознесуся в Твой чертог» (Г. Державин); «Освобожусь воображеньем / И крылья духа подыму» (Е. Баратынский); «Чую размах крыла»

(О. Мандельштам); «Я был прекрасен и крылат / В богоотеческом жилище» (Н. Клюев); «И душа моя касаткой / В отдаленный край летит» (Н. Заболоцкий); «И там, в пернатой памяти моей...» (Д. Самойлов). Отдельные тексты, посвященные обретению крыльев (в духе платоновского мифа), есть в творчестве В. Маяковского («Разве у вас не чешутся обе лопатки?», 1923) и Ю. Мориц («Рождение крыла», 1964).

Модель *Поэта* в творчестве Жуковского, сама возникшая из традиции, стала настолько устойчивой в поэтическом мышлении нового времени, что могла воспроизводиться в русской лирике достаточно точно и два века спустя. Приведем пример ее воспроизведения уже в середине XX века, правда, в применении к иной сакральной инстанции – «Ильичу», что не меняет семантики поэтического *молчания*:

Когда, утратив свежее звучанье,  
Обычными становятся слова, –  
Приходит к нам высокое молчанье  
Стозвучное, живое, как молва.  
Так, выразить словами не умея  
Всех мыслей,  
Обращенных к Ильичу, –  
На каменных ступенях Мавзолея,  
Как в первый раз,  
Я клятвенно молчу.

(«Молчанье» Л. Татьянической)

Та же концептуальная парадигма рождает и совершенно неожиданные презентации медиальной природы Поэта и поэтической коммуникации. Так, например, в стихотворении А. Твардовского «Я убит подо Ржевом» лирическое *Я*, полностью утратив телесность и материальность («Ни петлички, ни лычки / С гимнастерки моей»), тем не менее осуществляет предназначенную поэтическую функцию «провидения» – «Пусть неслышен наш голос, / Вы должны его знать», причем голос этот, как и в традиции, – «мыслимый» («Этот голос наш мыслимый»), то есть неслышимый и не звучащий.

Такого типа соотношения в поэтической традиции XIX–XX веков связаны с несомненно существующим в ней смысловым единством и обусловлены характером процесса художественных эволюций и трансформаций в историческом движении русской лирики, который определялся и спецификой культурно-эстетического феномена «семантической памяти». И потому «наследие» Жуковского, выросшее из

поэтических исканий XVIII столетия и актуализованное в поэзии XX века, стало и своеобразным моментом «перелома» в поэтической истории, и концептуальной «памятью» об истоках, началах и основаниях тех смысловых пространств, в которых реализует себя русский *Поэт*. Именно Жуковский в своей практике обозначает момент «перехода» от уже накопленного опыта к новым поэтическим горизонтам. Таким «переходом» становится вовсе не отказ от наследия XVIII века (как полагал В.Г. Белинский), а смена структуры поэтического «языка». Он не только менялся по линии Державин – Пушкин (в концепции Б.А. Успенского [Успенский, 1996]), но и был опосредован творчеством Жуковского. Роль Жуковского в этом процессе состояла в переводе сконструированной концептосферы в поэтическую реальность, в создании такого дискурса, который, хотя и подразумевал в пределе ориентацию на русские религиозно-мистические или европейские литературные традиции, но был уже самодостаточным и саморефлективным, способным к внутренним смысловым трансформациям и расширению базовой «ядерной» семантики.

## Литература

- Арутюнова Н.Д. Молчание: Контексты употребления // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994.
- Богданов К. А. Очерки по антропологии молчания: Homo Tacens. СПб., 1997.
- Бычков В.В. Малая история Византийской эстетики. Киев, 1991.
- Вагинов К.К. Козлиная песнь : Романы. М., 1991.
- Гончаров С.А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997.
- Гончарова О.М. Поэтический сюжет русской лирики XVIII–XX века в контексте национальной традиции // Вестник молодых ученых. 2002. № 10.
- Грек А.Г. О словах со значением речи и молчания в русской духовной традиции // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994.
- Живов В.М. Государственный миф в эпоху просвещения и его разрушение в России конца XVIII века // Из истории русской культуры. Том IV : XVIII – начало XIX века. М., 1996.
- Живов В.М. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // Новое литературное обозрение. 1997. №25.
- Жуковский В.А. Полное собрание сочинений : в 12 т. СПб., 1902.
- Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.
- Матхаузерова С. «Слагати» или «ткати»? : Спор о поэзии в XVII веке // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976.
- Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века // Из истории русской культуры. Том IV : XVIII – начало XIX века. М., 1996.

Минц З.Г. Функция реминисценций в поэтике А.А. Блока // Труды по знаковым системам. VI. Тарту, 1973.

Минц З.Г. «Забывшие цитаты» в поэтике русского постсимволизма // Труды по знаковым системам. XXV. Тарту, 1992.

Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000.

Пордедж Дж. Божественная и истинная метафизика, или Дивное и опытом приобретенное ведение невидимых и вечных вещей. Ч. 1–3. М., ок. 1787.

Топоров В.Н. Тяга к бездне: к рецепции поэзии Жуковского в начале XX века. Блок – Жуковский: проблема реминисценций // Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003.

Успенский Б.А. Язык Державина // Из истории русской культуры. Том IV : XVIII – начало XIX века. М., 1996.

Hansen-Löve A. Der russische Symbolismus. System und Entfaltung der poetischen Motive. Bd. 2. Wien, 1989.

## ОПРАВДАНИЕ ВЫМЫСЛА КАК СТРАТЕГИЯ НАРРАТИВНОГО ТЕКСТА (на материале творчества Ф.М. Достоевского)

*О.А. Ковалев*

**Ключевые слова:** нарративная стратегия, Ф.М. Достоевский, вымысел, фантазия, реализм, рефлексия.

**Keywords:** narrative strategy, F.M. Dostoevsky, fiction, fantasy, realism, reflection.

1

Понятие «стратегия» применительно к нарративу означает определенную организацию поэтики – системы выразительных средств – с целью достижения того или иного воздействия на читателя и, следовательно, является важной составляющей коммуникативного подхода к изучению художественного произведения. Однако художественный нарратив – сложный, неоднозначный с точки зрения его смысла и целеустановок феномен, и задачи, которые ставит перед собой автор, часто бывают противоречивыми и не вполне ясными ему самому. Как и любой человек, автор далеко не всегда отдает себе отчет в причинах своего поведения, а мотивы явные, осознанные могут радикально расходиться со скрытыми и порой более значимыми. Современная герменевтика вряд ли может позволить себе не учитывать перспективы ин-

терпретации художественного текста, вытекающие из понимания творчества как сублимации бессознательных влечений. Кроме того, написание художественного текста часто ценно для автора именно как возможность высказаться опосредованно, не раскрывая «своих карт», а пытаясь натолкнуть читателя-партнера на ту или иную мысль, эмоцию, реакцию, и, следовательно, стратегия может быть связана со стремлением – более или менее осознаваемым – к сокрытию истинных мотивов своего поведения в тексте.

Как известно, одно из наиболее убедительных представлений о природе художественной литературы базируется на определении ее с помощью категории фикциональности [Шмид, 2003, с. 22–34], имеющей прямую связь с такими понятиями, как воображение, вымысел и фантазия<sup>1</sup>. И хотя Дж. Каллер отмечает, что «теория литературы в 1980–1990-х гг. не уделяла особого внимания различию между художественными и нехудожественными произведениями» [Каллер, 2006, с. 43], работ, посвященных теории фикциональности, к настоящему времени накопилось не так уж мало, включая исследования последних десятилетий<sup>2</sup>. Но, рассуждая о фикциональной природе художественного нарратива, очень сложно миновать вопрос о сущности и значении фантазии, равно как и тот ответ на него, который предлагает психоанализ<sup>3</sup>. В случае обращения к творчеству того или иного автора неизбежно, кроме того, возникает вопрос о формах его рефлексии о фантазировании, то есть об авторском отношении к фантазированию и представлении о нем.

Итак, склонен ли был Достоевский воспринимать литературу прежде всего как искусство вымысла, и если да, то из каких взглядов на природу и гносеологические возможности фантазии он исходил? С одной стороны, ответ кажется очевидным: писатель недвусмысленно высказался на этот счет, объявив себя сторонником фантастического (иначе говоря, метафизического) реализма. Одно из наиболее часто цитируемых высказываний Достоевского, воспринимающихся как вы-

<sup>1</sup> Мы не могли ставить перед собой задачу подробного анализа этих понятий, ограничившись рассмотрением вымысла как категории поэтики, воображаемого – эстетики и психоанализа, фантазирования – как привычного обозначения одной из составляющих творческого процесса. Для нас было достаточным очевидной смежности этих понятий.

<sup>2</sup> См., например: В. Шмид [Шмид, 2003], А. Компаньон [Компаньон, 2001], В. Изер [Изер, 1997], А. Шенле [Шенле, 1997] и др.

<sup>3</sup> В словаре Ж. Лапланша и Ж.-Б. Понталиса дается следующее определение фантазии: «Воображаемый сценарий, в котором исполняется – хотя и в искаженном защитой виде – то или иное желание субъекта (в конечном счете бессознательное)» [Лапланш, 1996, с. 551].

ражение его творческого кредо, – слова из письма к А.Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 года: «Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает» [XXVIII: 329]<sup>1</sup>.

Подобное устранение дистанции между вымыслом и реальностью встречаем и в более поздней характеристике В. Гюго: «... не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения («Последний день приговоренного к смертной казни». – *О.К.*) – самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных» [XXIV: 6]. Именно вымысел и фантазия делают произведение В. Гюго в высшей степени реальным. Достоевский, с одной стороны, исходит из общепринятого представления о противоположности реализма и идеализма, реалистического и фантастического, но, с другой стороны, стремится снять эти противоположности, подчеркивая тот факт, что ни идеализм, ни фантазия, ни фантастическое не противостоят реализму.

Показательным является также небольшое предисловие к публикации трех новелл Э. По [XIX: 88–89]. Высказывания Достоевского об американском писателе перекликаются с его самохарактеристикой<sup>2</sup>. Таким образом, фантазирование в эстетике Достоевского имеет очень высокий статус. Причем представление о силе вымысла, его действительности, его большей по сравнению с действительностью реальностью, видимо, было свойственно Достоевскому практически с самого начала. Так, образ Акакия Акакиевича в восприятии Макара Девушкина – образ, обладающий всей силой действительности.

Обратим внимание на то, что в процитированных выше заявлениях Достоевского о роли вымысла содержится некий оттенок вызова

<sup>1</sup> Здесь и далее сочинения Ф.М. Достоевского цитируются по Полному собранию сочинений в 30 т. (Л.: Наука, 1972–1990). В тексте статьи в квадратных скобках римской цифрой обозначается номер тома, арабской – номер страницы.

<sup>2</sup> Особенно характерны следующие суждения об Э. По: «Эдгар Поэ только допускает внешнюю возможность неестественного события (доказывая, впрочем, его возможность, и иногда даже чрезвычайно хитро) и, допустив это событие, во всем остальном совершенно верен действительности»; «Но в повестях Поэ вы до такой степени ярко видите все подробности представленного вам образа или события, что наконец как будто убеждаетесь в его возможности, действительности, тогда как событие это или почти совсем невозможно или еще никогда не случалось на свете» [XIX: 88–89]. Заметим, правда, что в этой характеристике отсутствует определенность оценки: непонятно, идет ли речь о провидчестве, или простом визионерстве, иллюзии как чистом искусстве.

критикам: писатель вступает в полемику не только с отзывами о его творчестве, но и с господствующим представлением о литературе. Достоевский причисляет себя тем самым к определенной эстетической традиции, не принимая ни расхожего утилитаризма, ни изображения действительности «в формах самой жизни», допуская условность ради более глубокого постижения реальности. Но что стоит за столь уверенным обозначением своей позиции? Отвечая на этот вопрос, невозможно ограничиться лишь тем материалом, который содержится в критических статьях Достоевского, «Дневнике писателя», его переписке. Совершенно исключительную ценность в данном отношении представляют собой тексты его художественных произведений.

«И автор записок и самые “Записки”, разумеется, *вымышлены*. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, *не только могут, но даже должны существовать* в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество», – замечает Достоевский в примечании к «Запискам из подполья» [V: 99] (курсив мой. – *О.К.*), словно повторяя аристотелевское противопоставление истории как описания действительно произошедшего и поэзии как презентации возможного. Однако именно узнаваемость мысли, высказанной в этом примечании, и заставляет нас отнестись к ней скептически, улавливая здесь расхожий логический ход.

Обратим внимание на то, что данное рассуждение содержит мотивировку вымысла (вымышлены, но...), и при этом оправданием ему служит реальное существование вымышленного – как будто Достоевский предлагает какую-то форму средневекового реализма. Однако понятно, что реалистичность вымышленного еще не вытекает из самого факта вымысла. Достоевский настаивает лишь на том, что фантазия может быть реальностью, но ничего не говорит о том, что позволяет ей быть таковой.

В представлениях романистов XIX века о литературе, как и в самом социальном статусе литературного творчества, присутствовал несомненный парадокс: литература, основанная на вымысле, претендовала на статус своеобразной квазинауки. Восходящие еще к Аристотелю размышления о роли литературы в познании, обобщении и отражении реальности, в XIX веке колебались от романтического признания за воображением гениального автора некоей высшей истины до позитивистского уравнивания деятельности писателя и ученого-естествоиспытателя, достигая странного симбиоза в реалистическом романе. Достоевский, будучи последовательным противником чисто позитивистского решения проблемы назначения искусства, обращается

к представлению о фантазии как высшей гносеологической способности. Одновременно писатель учитывает свойство нарративности быть такой трансформацией реальности, которую рассказчик осуществляет в своих собственных интересах, и тем самым акцентирует внимание на коммуникативном аспекте нарратива. Достоевский никогда бы не смог открыто признать возможность творчества исключительно вследствие внутренних потребностей, но зато сделал его психологическую мотивацию предметом изображения в своих художественных произведениях.

## 2

Среди высказываний Достоевского о литературе можно обнаружить, с одной стороны, суждения, сформулированные на общераспространенном языке критики его эпохи, так или иначе вписывающиеся в эстетико-идеологический контекст времени: систему идей (теоретических положений о литературе и искусстве) и понятий (терминов). Несомненно, без вхождения в этот контекст писатель не мог бы вести прямую полемику по проблемам социальной и гносеологической значимости литературы, художественности, назначения искусства. Вступая в литературу в 1840-е годы, Достоевский не мог не воспринять господствовавшие в то время представления об искусстве, равно как и основные понятия этого времени: с одной стороны, критику и эстетику «натуральной школы», на языке которой он учился говорить о литературе (правда, практически с самого начала вступая с этой школой в полемику) и, с другой стороны, гносеологию романтизма, в частности славянофилов (и соответствующие ей представления об искусстве). В дискуссиях 1860-х годов об искусстве Достоевский пытается противостоять крайностям утилитаризма и эстетизма, вырабатывая некую компромиссную точку зрения – не лишая искусство его свободы и в то же время не решаясь объявить целью творчества чистую художественность.

С другой стороны, мы не можем не заметить присутствие у Достоевского наблюдений, не укладывающихся в ведущие концепции искусства и высказываемых невзначай, ненароком. Речь идет не просто о суждениях, не совпадающих с критико-эстетическим мейнстримом, а именно о тех представлениях, которые требовали для своего выражения особого языка и особых теоретических предпосылок, а кроме того, предельного самораскрытия и публичного самоанализа. Таковы, в частности, разрозненные суждения о психологических истоках творчест-

ва: компенсаторном характере фантазирования<sup>1</sup>, возможности с его помощью успокоиться (письмо как форма терапии)<sup>2</sup>, высказаться, привлечь к себе внимание, заслужить одобрение<sup>3</sup>. Рефлексия такого типа пронизывает художественные произведения Достоевского, позволяя судить о подспудном стремлении осмыслить особенности психологии творца и внутренние истоки собственного творчества. Достоевский не пытается концептуализировать эти суждения. Необходимость, важность и ценность фантазии, вымысла, согласно его «официальной теории искусства», иные – это возможность дать более глубокое представление о реальности и о человеке. Очевидно, что подразумевается прежде всего погружение в человека, в его внутреннюю глубину. Но при этом значение самоанализа в этом постижении человека остается неясным. Внимание не акцентируется ни на самопознании (и его мотивах), ни на других причинах, заставляющих человека фантазировать. Между тем именно здесь, может быть, таится главный вопрос относительно роли вымысла у Достоевского: если фантазирование позволяет выйти к некоей подлинной реальности, не является ли эта реальность в своей основе внутренней реальностью фантазирующего субъекта – то есть автора? А если это так, то теория фантастического реализма Достоевского должна рассматриваться как способ оправдания, объяснения и социализации фантазии самого автора. Взгляд наблюдателя фиксируется на самом себе, и если наблюдатель может приблизиться к высшей реальности, то все же лишь постольку, поскольку самоанализ в высшей степени информативен.

Здесь мы видим, как забвению или даже вытеснению подвергаются сугубо личные мотивы творчества. В силу своей несоциализуемости, они отчуждаются от автора и становятся частью его художественного мира: писатель рассматривает их, но рассматривает уже как что-то сугубо внешнее, как часть вымышленной им реальности, а собственно теория творчества формируется без явной опоры на внутренний индивидуальный опыт.

<sup>1</sup> «Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтоб хоть как-нибудь да пожить» (слова героя «Записок из подполья») [V: 108].

<sup>2</sup> «Один механизм письма чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие...» (Иван Петрович в «Униженных и оскорбленных») [III: 178].

<sup>3</sup> «Не хочу уходить, не оставив слова в ответ, – слова свободного, а не вынужденного, – не для оправдания, – о нет! просить прощений мне не у кого и не в чем, – а так, потому что сам желаю того» (Ипполит в «Идиоте») [VIII: 342].



Эпоха 1840–1860-х годов не способствовала анализу произведений с точки зрения психологии автора, что было связано с общими особенностями и установками русской культуры, сложившимися ранее. Вспомним наблюдение Б.Ф. Егорова о слабой представленности в русской критике такого жанра, как литературный портрет [Егоров, 1980, с. 37], – факте, свидетельствующем об отсутствии интереса к тому, как выразился автор в своем произведении. Вспомним также, что гоголевская характеристика истоков собственной фантазии в «Выбранных местах из переписки с друзьями» («Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передавал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться» [Гоголь, 1986, с. 250–251]) получила суровую отповедь не только из уст социологически и позитивистски ориентированного В.Г. Белинского («мы не пойдем к нему спрашивать его, как теперь прикажет он нам думать о его прежних сочинениях» [Белинский, 1982, с. 237]), но и со стороны такого критика, представляющего метафизическую эстетику романтики-шеллингианского плана, как С.П. Шевырев («ты стал свою собственную дрянь, как говоришь, наваливать на героев своих. Для тебя хорошо, если ты таким способом очистил душу свою, но хорошо ли для искусства, которое через твою дрянь могло впасть в односторонность, особенно лишенное комического дара, принадлежащего лицу твоему?» [Шевырев, 1848, с. 27]). Правда, с другой стороны, по наблюдению того же Б.Ф. Егорова русские критики отличались особой резкостью, безапелляционностью суждений и в случае необходимости «переходили на личности» [Егоров, 1980, с. 39–40]. Но эта особенность свидетельствует лишь о том, что интересы «дела» было принято ставить выше, чем интересы отдельной личности, то есть в конечном счете об игнорировании личного начала.

## 3

У Достоевского практически изначально присутствует представление о мечтательности как важной составляющей писательства, а тем самым указание на воображаемую, виртуальную компенсацию какой-то нехватки, замещение «жизни», «действительности» как свойство искусства. Об этом свидетельствуют те авторы (в узком и широком смысле), изображенные в его произведениях, у которых писательство связано с дефицитом реального. Литература может принести успех,

признание, поставить автора в центр внимания, тем самым компенсируя его непризнанность в том или ином окружении<sup>1</sup>.

Необходимо, разумеется, отдавать себе отчет в том, что тема мечтателей у Достоевского претерпевает эволюцию, но и сама эта эволюция во многом определяется этапами и перипетиями писательского самоутверждения – от роли начинающего, молодого, неуверенного в себе, хотя и очень амбициозного автора к позиции учителя, проповедника, пророка. В первом случае символизацией положения писателя служат различные формы неуспешной коммуникации, во втором – герои-учителя, наставники, пророки. Однако не следует думать, будто у Достоевского один тип самоидентификации постепенно сменяет и вытесняет другой. Скорее имеет место сложное переплетение различных идентификаций и колебание оценок, при котором вытеснению и остракизму подвергается то один, то другой тип самопозиционирования писателя.

В силе вытеснения, так или иначе проявившейся в произведениях Достоевского, сомневаться не приходится. Однако возникает вопрос: в какой мере применительно к Достоевскому можно ограничиться психоаналитической моделью творчества как фантазирования в ее классическом варианте.

Литературе вообще было свойственно держать фантазию в узде. Даже в романтизме, казалось бы, максимально открытом к непознанному и мистическим глубинам бытия, присутствие чудесного в жизни обычно остается в статусе радикальной неопределенности. В случае с Достоевским вытеснению подвергается не только желание как таковое, но и рефлексия о нем, которая благодаря этому принимает социально узаконенные формы.

Примером художественной рефлексии Достоевского относительно вымысла и фантазии может служить разговор Ивана Петровича и маленькой Нелли в романе «Униженные и оскорбленные», косвенно указывающий на чувство вины писателя-сочинителя: с позиции простодушного детского восприятия фантазирование является некой аномалией:

– *Что вы тут все пишете?* – с робкой улыбкой спросила Елена, тихонько подойдя к столу.

– *А так, Леночка, всякую всячину. За это мне деньги дают.*

– *Просьбы?*

<sup>1</sup>Механизм этот в свое время был подробно описан Ж.-П. Сартром на примере жизни и творчества Г. Флобера [Сартр, 1998].

– Нет, не просьбы. – И я объяснил ей сколько мог, что описываю разные истории про разных людей: из этого выходят книги, которые называются повестями и романами. Она слушала с большим любопытством.

– Что же, вы тут все правду описываете?

– Нет, выдумываю.

– Зачем же вы неправду пишете? [III: 296].

Герой-повествователь многозначительно уходит от ответа на поставленный вопрос, как будто наивность восприятия собеседницы ставит его в тупик или демонстрирует полную несовместимость наивного и культурного представлений, а значит, и невозможность ответа. Но главная причина его молчания заключается все же в другом.

После прочтения романа наивность Нелли проявляется в чрезмерно эмоциональном восприятии произведения, и теперь категория вымысла дает возможность успокоить наивного читателя: «... ведь это все неправда, что написано, – выдумка; ну, чего ж тут сердиться!» [III: 325]. Реакция Нелли, таким образом, представляет собой форму скрытого ответа на ее же вопрос: вымысел оказался реальнее самой реальности. Напомним, что в оценке романа Ихменевым присутствует сходный наивный комплимент, отделяющий вымысел автора «Бедных людей» от собственно литературы: «Не высокое, не великое, это видно... Вон у меня там “Освобождение Москвы” лежит, в Москве же и сочинили, – ну так оно с первой строки, братец, видно, что, так сказать, орлом воспарил человек... Но знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее. Вот именно за то и люблю, что понятнее! Роднее как-то оно; как будто со мной самим все это случилось. А то что высокое-то?» [III: 189].

Наивный взгляд на литературу, который так часто моделирует Достоевский (вспомним уже упоминавшуюся реакцию Макара Девушкина на образ Акакия Акакиевича<sup>1</sup>, восприятие Смердяковым «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя<sup>2</sup>) – позволяет Достоевскому обратиться к фундаментальным вопросам о природе литературы и ценности (законности) вымысла. Наивный взгляд – прежде всего прагматичный взгляд, но именно в оспаривании прагматичного подхода к литературе заключалась позиция Достоевского как теоретика искусства<sup>3</sup>, занятого поисками способов обоснования свободы творчества и, следовательно, свободы фантазирования. Именно Смердяков в макси-

<sup>1</sup> «Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь» [I: 63].

<sup>2</sup> «– Про неправду все написано, – ухмыляясь прошамкал Смердяков» [XIV: 115].

<sup>3</sup> См. статью Достоевского «Г-н – бов и вопрос об искусстве» [XVIII: 70–103].

мальной степени профанирует прагматичный взгляд на литературу, однако не всегда акценты расставлены столь ясно. Так, например, взгляд на литературу старика Ихменева – это взгляд не только наивно-го, не искушенного в литературе человека, свое превосходство над которым ощущает Иван Петрович, – это взгляд простого человека, моральную силу которого сознает автор. А потому в этой несовместимости самовосприятия и восприятия другого для писателя заключается подлинная проблема. Старик, с его моральным ригоризмом, представляет собой персонифицированное сверх-Я, зависимость от которого ощущает Иван Петрович. Вспомним трагическую судьбу матери Нелли, осужденной ее непреклонным отцом. И здесь скрывается, может быть, главный нерв, своего рода внутренняя, бессознательная сверхзадача всего романа, то, ради чего он был написан – оправдание субъекта желания перед лицом морального ригоризма сверх-Я.

Достоевский, таким образом, подводит читателя к актуальным для себя вопросам, однако, используя фигуру умолчания, акцентирует сложность своей позиции, равно как и невозможность перевода своих представлений на иную – прагматическую – систему ценностей, а в конечном счете – невозможность ответа.

Безусловно, для Достоевского литература – и в отношении ее природы, и с точки зрения ее значения для личности автора – составляла сложную проблему одновременно художественного и теоретического плана. И эта сложность была связана, в частности, с несовместимостью представлений о пророческом характере художественного слова, видения литературы как формы фальши и лицемерия, отношения к фантазирующему писателю как к сладострастнику, с помощью творчества удовлетворяющему свои желания. А следовательно, важная внутренняя интенция эстетики Достоевского – оправдание вымысла перед лицом сурового морального ригоризма, который, очевидно, являлся составной частью его собственной системы ценностей.

И поэтому оправдание мечтательности (или ее осуждение) – одна из важнейших форм имплицитной рефлексии о творчестве в произведениях Достоевского. Писатель пристально всматривается в роль вымысла, фантазии, воображения как в литературе, так и в жизни. Но при этом авторские рассуждения (в разных вариантах) о мечтательности имеют непосредственную связь с самим автором, его идентификацией и отношением к себе. Мечтатель – это, по сути, самоопределение Достоевского [Пекуровская, 2004, с. 88], и, значит, мечтательность в тексте – своего рода знак авторского начала.

Одно из важных и наиболее успешных направлений достоеведения – изучение биографических источников сюжетов произведений, помогающее понять и объяснить работу писательской фантазии: как происходит трансформация реальных жизненных ситуаций в литературные сюжеты и образы персонажей<sup>1</sup>. В то же время за подобными исследованиями стоит особая герменевтическая практика, при которой реальные жизненные ситуации выступают в качестве означаемого для художественных образов. Интересно, что проблема преобразующей природы фантазии и воображения занимала и самого писателя. Будучи и в жизни ярко выраженным мифологизатором и манипулятором<sup>2</sup>, Достоевский в своем творчестве, по сути, ставит и пытается решить вопрос о трансформирующих механизмах наррации: как происходит мифологизация посредством рассказывания историй. Тип мечтателя, фантазера сопоставлен у него с человеком, в своих интересах с помощью речи искажающим реальность. Это своего рода обратная, теневая сторона апологии фантазии.

Конечно, в произведениях Достоевского представлена богатая и сложная градация вралей, фантазеров, порой патологически верящих в свой вымысел. Но помимо, так сказать, психологического или психиатрического аспекта этой проблемы можно отметить аспект языковой (а более конкретно – нарративной) манипуляции, при которой грань между откровенным вымыслом и собственно реальностью зыбка, а нарратив выступает в качестве организации материала (фактов) в интересах субъекта речи – успешного или неуспешного (Голядкин, Москалева, Опискин и др.). Безусловно, все это можно рассматривать как скрытую форму рефлексии о творчестве, а более отдаленно – и о самом себе. Может быть, именно поэтому писатель так часто обращается к приему пересказа: обнажение трансформации нуждается как минимум в двух нарративах, один из которых должен маркироваться как вторичный, а другой воспринимается как нейтральный.

Данное утверждение несколько расходится с общепринятым представлением об эстетике Достоевского, базирующемся на убежденности писателя в том, что отрыв от правдоподобия дает возможность с помощью вымысла приблизиться к некоей подлинной, глубинной реальности. Однако наша задача состоит не в том, чтобы поставить под

<sup>1</sup> В качестве примера подобного исследования можно привести монографию Р. Бэлнепа «Генезис романа “Братья Карамазовы”» [Бэлнеп, 2003].

<sup>2</sup> См., например, об этом: [Пекуровская, 2004, с. 240–241].

сомнение пророческое «ведение» Достоевского, равно как и не в том, чтобы доказать его истинность, – мы лишь стремимся вскрыть неявные формы рефлексии о творчестве у писателя. И правомерно поставить вопрос о том, как, вследствие вытеснения каких представлений о вымысле и о его функциях формировалась его убежденность.

У Достоевского, на наш взгляд, имеет место выраженная коррелятивность художественного мира (диегесиса) и поэтики, стиля (принципов письма). Не будучи связанными непосредственными причинно-следственными связями, они соединяются в единстве авторской личности, восходя к ней как к общему источнику, что выражается и в предметности содержания, и в затвердевших, сформировавшихся в более или менее законченную систему, принявших определенные формы поэтики намерениях.

Поэтому оставим в стороне вопрос о том, как в многочисленных лежах Достоевского отражаются черты личности самого автора – нас интересует другое: как в них запечатлелись размышления и бессознательные представления писателя о важнейшем атрибуте творчества – фантазировании.

Лицемеры и вруны у Достоевского имеют в качестве своего отдаленного и окончательного означающего автора как творца и, следовательно, фантазера, человека, сделавшего профессией свой порок мечтательства. Подобно Оскару Уайльду [Уайльд, 1993], хотя и несколько в ином смысле, Достоевский мог расценить художественное творчество как искусство лжи: в его произведениях нередко проигрывается этот вариант развития идеи писательства, хотя теоретическая концептуализация природы литературы, как было сказано выше, располагается у писателя в основном в иной области.

Близость к такого рода пониманию особенно хорошо ощущается в некоторых произведениях Ф.М. Достоевского 1860-х годов, например в «Записках из подполья», герой которых, непосредственно используя литературу (литературный пафос, литературную эстетизацию – в духе Некрасова – реальности), организует во второй части повести манипуляцию своей слушательницей. Достоевский никогда не доходил до открытого признания литературы ложью, и то, что мы видим в «Записках из подполья», – это одно из возможных, но не реализованных до конца пониманий природы литературы. Здесь Достоевский пришел к построению образа своего alter-ego – писателя-двойника, воплощающего собой комплекс негативных (в основном) черт, связанных с представлением о писательстве.

Важнейшая тема «Записок из подполья» – дефицит живой жизни вследствие власти фантазии, литературы, книги и т.д. Повесть содержит негативную характеристику того воздействия, которое мечтательность способна оказывать на человека. В этой аналитике разбору подвергнуты наиболее негативные последствия отрыва мечтателя от жизни. Имеют ли эти рассуждения какое-либо отношение к самому Достоевскому и к его восприятию литературы? Разумеется. Но персонажность подпольного вносит значительную долю условности в эти рассуждения: они как бы ставятся в кавычки.

Тема искусственности имеет непосредственное отношение к жизни, поведению подпольного, однако поразительным образом не затрагивает его текста. Как и в случае с «Униженными и оскорбленными», мы обнаруживаем, что сам текст этого произведения оказывается за пределами рефлексии о литературе: ей подвержено лишь поведение подпольного и его сознание. Более того, метания подпольного, неспособного дать себе окончательную характеристику, резкость самооценок свидетельствуют скорее о преодолении литературности, как ее понимает Достоевский. Подпольный сожалеет о неспособности дать себе некое окончательное определение, которое могло бы его успокоить, и, таким образом, источником беспокойства героя является рефлексия. Именно в ней – причина разрыва между мыслью и действием, воображением и жизнью. Но литературность сознания таится не в самой рефлексии – скорее, рефлексия позволяет обнаружить эту литературность, хотя литературность, в свою очередь, провоцирует рефлексию.

В то же время сам текст произведения имеет двойственный статус, подчеркивая одновременно неопределенность и его героя-автора. В самом конце повести единство жанровой формы записок нарушается рассуждениями, принадлежащими скорее Достоевскому как автору повести, чем подпольному как автору записок: «... стало быть, это уже не литература, а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой в подполье, – ей-богу, не интересно; в романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя, а главное, все это произведет пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее» [V: 178].

Достоевский неоднократно, пренебрегая – иногда в большей, иногда в меньшей степени – законами мимесиса, превращал текст персонажа в модель литературного творчества. Отметим, что в данном фрагменте метанарратива повести текст произведения опять-таки вы-

водится за пределы собственно литературы, а тем самым вымысел становится косвенно обращен к внутренним потребностям фантазирующего автора (не литература, а «исправительное наказание»). «Отвычка» от жизни, то есть мечтательность – это порок, свойственный всем, и, значит, в том числе и автору. Эта всеобщность мечтательности становится главным, по сути, способом оправдания вымысла. Фантазируя, писатель воплощает общую особенность, характеристику русских людей. Поэтому фантазирование, собственно, есть акт приобщения к некоей первичной, исходной реальности – реальности виртуальной, но оттого более ценной – ибо это то место, где формируется реальность самого факта.

Однако в тексте повести фантазия оборачивается и другой своей стороной: она является важнейшей формой реализации человеческой свободы, и в этом качестве оказывается за пределами оценок – как простая очевидность, как чистый факт неизбежного человеческого своеволия: «Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость (человек. – *О.К.*) пожелает удержать за собой»; «А в том случае, если средств у него не окажется, – выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем» [V: 116–117]. Фантазия реальна постольку, поскольку реально желание: «Не все ли равно, если он (хрустальный дворец. – *О.К.*) существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания?» [V: 120].

Таким образом, беря за основу в своих рассуждениях противопоставление мечты и реальности, Достоевский выступает с вызовом по отношению к попыткам осуждения мечтателя. Двойственность выраженной в повести концепции фантазии – в одновременном ее осуждении и оправдании, доходящем до апологизации. Оценки художественного творчества располагаются у Достоевского в границах, очерченных, с одной стороны, идеей высокого пророческого предназначения художника и, с другой стороны, представлением о писателе как о мечтателе-аутисте, разговаривающем с самим собой, из одной внутренней потребности (именно таким «вопиющим в пустыне» ощущает себя герой «Записок из подполья»). Достоевского несколько условно можно представить в виде писателя, социализующего свою потребность в фантазировании и связывающего ее с общезначимыми ценностями.

Фантазирование у Достоевского – это одновременно форма отношения к жизни, характеризующая автора как личность, неизбежный атрибут писателя как творца, особенность персонажей и элемент поэтики, нуждающийся в оправдании.

Для понимания последнего следует вспомнить, что первый серьезный конфликт Достоевского с авторитетной для него аудиторией был непосредственным следствием введения в нарратив фантастического элемента, резко усиливавшего его условность и гротескный характер образности («Двойник», «Хозяйка», «Господин Прохарчин») и, как это ни парадоксально, исповедального начала.

Не удивительно, что первое обращение к фантастическому (в широком смысле) элементу после возвращения Достоевского в литературу – в рассказе «Крокодил» – потребовало от писателя своеобразной клоунады: повествователь ведет себя подобно шуту, а комментатор – сам Достоевский как член редакции «Эпохи» – хотя также не чужд этой клоунады, отстраняется от своего рассказа, снимая с себя тем самым ответственность за ее неправдоподобное содержание<sup>1</sup>.

Рассказ «Крокодил» – как произведение, наиболее очевидно базирующееся на вымысле, – откровенном и, как кажется, самоценном, в наибольшей степени нуждалось в системе мотивировок-защит. И Достоевский окружает его таковой – прежде всего в виде авторского предисловия к тексту, имеющему поистине шутовской характер.

Возможные претензии к произведению, одним из прецедентных тестов по отношению к которому явилась повесть Н.В. Гоголя «Нос», профанируются следующим приемом: возможные упреки в разгуле фантазии снимаются отрицанием очевидных свойств текста. Это игровое самооправдание – оправдание, которое содержит мнимое, показное стремление следовать правилам игры, а возможную серьезную оценку повести автор таким способом погружает в стихию комического. Если серьезное отношение к ней тем самым полностью и не отводится, часть возможных критических замечаний, тем не менее, обезвреживается.

Характерно, что свободная игра фантазии в глазах читателей, в соответствии с принятым представлением о литературе, нуждалась в оправдании, и таким оправданием могло стать аллегорическое понима-

<sup>1</sup> «Предисловие редакции», предварявшее журнальную публикацию рассказа, открывалось словами: «Редакция с удивлением печатает сей почти невероятный рассказ единственно в том уважении, что, может быть, и действительно все это как-нибудь там случилось» [V: 344].

ние сюжета (как известно, предложенное современными Достоевскому критиками [V: 393–394]). Писатель предвосхищает возможные вопросы о цели вымысла (что имелось в виду на самом деле?), исходя из предустановки, что мир, созданный вымыслом, не может существовать как таковой, лишенный оправдания, не имея определенной цели. Рассказ действительно насыщен огромным количеством аллюзий и намеков на злободневные идеи и теории, что свидетельствует о его непрямой, условной референциальности.

Шутовство повествователя в «Крокодиле» проявляется прежде всего в постоянной игре с категориями вымысла и реальности – например, когда вещи невозможные с точки зрения обыденных представлений о реальности не подвергаются сомнению или даже выдаются за нечто очевидное<sup>1</sup>, а повседневность пытается ассимилировать, превратить фантастическое в обыденность: героям то и дело приходится напоминать себе о том, что случай, произошедший с Иваном Матвеевичем, – необыкновенный, невероятный. Но помимо, так сказать, демонстрации остроумия, здесь можно усмотреть также и своеобразное выражение условности границы между реальностью и фантазией, тем более что поэтика «Крокодила» заставляет вспомнить о подобной игре в произведениях романтиков.

Самоотчуждение Достоевского-автора от текста рассказа «Крокодил» объясняется, видимо, еще и тем, что в рассказе присутствует выраженный элемент стилизации: повествование по манере слишком напоминает «Нос», а гоголевское влияние, как было сказано ранее, подвергалось у Достоевского вытеснению еще начиная с «Бедных людей». Правда, степень идеологической насыщенности и активности аллюзий на современность у Достоевского значительно выше, то есть по сравнению с гоголевской повестью вымысел все же «более оправдан».

Фантастическое у Достоевского нередко имеет характер допущения (ср.: «Бобок», «Кроткая»<sup>2</sup>), и тогда все, кроме этого допущения, подчеркнуто прозаично, приземленно, буднично. В этом смысле характеристика рассказов Э. По – это скрытая самохарактеристика Достоевского. В «Крокодиле» удивляет именно то, как легко и органично невозможная ситуация встраивается в структуры повседневности и обыденного сознания, в то же время придавая им отчетливую абсурдность и нелепость. И, возможно, именно это и делает Достоевский вслед за

<sup>1</sup> «И, однако ж, это был не сон, а настоящая, несомненная действительность. Иначе – стал ли бы я и рассказывать!» [V: 193].

<sup>2</sup> «Я озаглавил его, – говорит Достоевский о рассказе «Кроткая», – “фантастическим”, тогда как считаю его сам в высшей степени реальным» [XXIV: 5].

Гоголем, основной функцией своего гротеска. Но главную суть функционирования откровенного вымысла, его так сказать, телеологии Достоевский выражает в словах повествователя о проглоченном крокодилом Иване Матвейче: «Это был все тот же обыкновенный и ежедневный Иван Матвейч, но наблюдаемый в стекло, в двадцать раз увеличивающее» [V: 195]. По сути, здесь говорится о трансформирующей силе искусства, которая лишь наиболее отчетливо выражается в случаях откровенного, подчеркнутого вымысла.

## 6

Конечно, было бы нелепым представлять ситуацию таким образом, будто Достоевский стремится во что бы то ни стало отдаться воображению, но вынужден, опасаясь критиков и следуя необходимости оправдания вымысла, сдерживать полет своей фантазии.

Вымысел, фантазирование опасны и предосудительны не столько потому, что предполагают отрыв от реальности, сколько потому, что напрямую соотносятся с иной реальностью – реальностью психики, внутреннего мира, желаний автора, и замыкание на такой реальности, приводя к обнаружению авторских тайн, оставляет открытым вопрос о социальной ценности текстов, фиксирующих лишь опыт единичного человека, а потому писатель нуждается в лишении вымысла его «чистоты».

И главное – не в меньшем оправдании нуждаются истории невыдуманные – из жизни автора. Более того, неспособность к фантазированию должна была восприниматься как отсутствие творческого дара. И автобиографический характер отдельных текстов должен был по этой причине шифроваться в неменьшей степени. В этом смысле вымысел, апеллируя к категории возможного, тем самым предлагает форму обобщения индивидуального и является важным показателем художественности.

В свое время А.И. Белецкий в качестве присущего романтикам способа обобщения отметил прием оправдания автопортретов-исповедей тем, что они содержат в себе портрет всего поколения [Белецкий, 1989, с. 68]. Подобные заявления писателей можно было бы считать простыми ухищрениями мысли творца, стремящегося приписать общезначимый характер своему детищу, если бы любое самопознание не было изначально детерминировано процессами осмысления эпохи, нации, наконец, психологии человека как такового.

Разумеется, любое оправдание индивидуальных процессов, надевание их ценностью, предполагает их обобщение – связывание с тем,

что присуще и другим людям. Специфическое проявление этого механизма демонстрирует художественная рефлексия у Достоевского.

## Литература

- Белецкий А.И. В мастерской художника слова. М., 1989.  
 Белинский В.Г. Собрание сочинений : в 9 т. Т. 8. М., 1982.  
 Бэлнеп Р. Генезис романа «Братья Карамазовы»: Эстетические, идеологические и психологические аспекты создания текста. СПб., 2003.  
 Гоголь Н.В. Собрание сочинений : в VII т. Т. VI. М., 1986.  
 Егоров Б.Ф. О мастерстве литературной критики: жанры, композиция, стиль. Л., 1980.  
 Изер В. Вымыслообразующие акты (глава из книги «Вымышленное и воображаемое: набросок литературной антропологии») // Новое литературное обозрение. 1997. № 27.  
 Каллер Дж. Теория литературы: краткое введение. М., 2006.  
 Компаньон А. Демон теории. М., 2001.  
 Пекуровская А. Страсти по Достоевскому: Механизм желаний сочинителя. М., 2004.  
 Сартр Ж.-П. Идиот в семье. СПб., 1998.  
 Уайльд О. Упадок лжи // Уайльд О. Избранные произведения : в 2-х т. М., 1993.  
 Шевырев С.П. «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. Гоголя // Москвитин. 1848. № 1. Критика.  
 Шенле А. Теории фикциональности: критический обзор // Новое литературное обозрение. 1997. № 27.  
 Шмид В. Нарратология. М., 2003.

ИДЕИ НЕОПЛАТОНИЗМА В МИРОВОЗЗРЕНИИ  
С.Т. КОЛЬРИДЖА

И.Б. Казакова

**Ключевые слова:** Кольридж, неоплатоническая философия, английский романтизм, воображение.

**Keywords:** Neoplatonic philosophy, English romanticism, imagination, neoplatonism, Coleridge.

Сэмюэл Тейлор Кольридж – поэт, произведения которого невозможно изучать в отрыве от его философских воззрений. Этот английский романтик на протяжении всей творческой жизни искал в филосо-

фии ответы на вопросы о мире и месте человека в нем. Существует немало исследований, в которых подробно рассматривается история интеллектуальных исканий Кольриджа, но и поныне многие проблемы, связанные с истоками его мировоззрения, не разрешены окончательно. К числу таких проблем относится и отношение поэта к философии неоплатонизма – позднеантичной системы, сыгравшей значительную роль в истории средневековой, возрожденческой и новоевропейской мысли. Рассмотрим, каким образом эта проблема решается в истории литературы, и, опираясь на теоретические сочинения Кольриджа, попытаемся понять, какая из интерпретаций полнее всего отражает взгляды поэта. Но сначала необходимо обратиться к самой неоплатонической системе и охарактеризовать ее основные черты.

Неоплатонизм – учение, разработанное в III в. философом Плотинем на основе синтеза воззрений Платона и Аристотеля. Главная особенность философии Плотина, исходный пункт всех неоплатонических построений – это учение о Едином. Единое (Благо) – наивысшая ступень всего бытия, «охват всего существующего в одной неделимой точке» [Лосев, 2000, с. 222]. Единое находится везде и нигде конкретно. Будучи предельным всеединством, оно выше всяких категорий разума, выше всех имен и понятий, не имеет определенных качеств и количества. Его можно понимать как потенцию, возможность всякого бытия и смысла. Единое не оформлено, но является источником всякой формы. Единое – это высший уровень бытия. Порождая путем эманации последующие уровни, Единое расчленяет свое единство – так возникает Ум, или мир идей, – первообраз всех вещей, затем Душа, в которой идеи Ума оказываются одушевляющими силами или принципами. Единое вместе с Умом и Душой составляют так называемую неоплатоническую триаду. Следующий уровень – Космос – это уже область не становления, а ставшего, и всякое движение и изменение здесь происходит не само по себе, а от Души. Ценность чувственного мира обусловлена, с точки зрения неоплатонизма, присутствием в нем оформляющих и одушевляющих материю идей (эйдосов, форм), которые нисходят в этот мир из умопостигаемой сферы (то есть Единого, Ума и Души) благодаря бесконечным эманациям из высших сфер в низшие. И в этом чувственном мире каждое индивидуальное существо – и, в первую очередь, человек – повторяет в себе структуру мироздания, поскольку является единством и обладает умом и душой. Иными словами, человеческие ум и душа – это не только часть, но и полное отражение Мировых Ума и Души. Именно это делает возможным для челове-

ка познание истинного – высшего – мира, поскольку в неоплатонизме подобное познается только подобным.

Такова в самом обобщенном виде неоплатоническая картина бытия, свидетельства интереса к которой можно найти в автобиографических и теоретических сочинениях Кольриджа. Однако, несмотря на обстоятельность этих свидетельств, исследователи его творчества по-разному оценивают ее значение для Кольриджа как поэта и мыслителя. Так, Т.Х. Левере полагает, что неоплатонизм сыграл важную роль, в первую очередь, в религиозной жизни Кольриджа: он способствовал его обращению из унитаризма – течения в протестантизме, отрицавшего догмат о троичности Бога, – в тринитарное христианство в 1806 году [Levere, 1981, с. 36]. Близкой точки зрения придерживается и Б. Виллей [Willey, 1972, с. 87]. Т. Макфарланд, напротив, полагает, что религиозные искания Кольриджа были, в сущности, философскими исканиями и религия не имела для него самостоятельной ценности. Опираясь на высказывания самого поэта, исследователь определяет его тринитаризм как платонизм или неоплатонизм. Т. Макфарланд приводит цитаты из «Философских чтений» Кольриджа, в которых английский романтик утверждает, что платоническая философия стала основой тринитарного христианства [McFarland, 1969, с. 199–210].

Некоторые историки литературы считают неоплатонизм Кольриджа почти номинальным, занимающим в его мировоззрении не очень значительное место или смешанным с другими философскими представлениями. Например, Дж.В. Бейкер утверждает, что знания Кольриджа в области платоновской философии сильно преувеличиваются исследователями, введенными в заблуждение автобиографическими заметками поэта, а неоплатонизм был усвоен Кольриджем скорее в его ренессансном, чем в античном варианте [Baker, 1957, с. 62–66, 72]. По мнению Дж.В. Бейкера, этот неоплатонизм был весьма неоднородным явлением, в котором собственно неоплатонических элементов было немного, о чем исследователь пишет: «Ренессанс создал мышление очень смешанного характера; Библия, Платон, схоластика, первые проблески научного метода вместе с алхимией и магией могли смешиваться <...> самым причудливым образом» [Baker, 1957, с. 72]. Другой исследователь, Р.Л. Бретт, видит в теоретических сочинениях Кольриджа неудачную попытку соединить платонизм с кантианством [Brett, 1969, с. 44].

Приведенные примеры показывают, что историки литературы склонны видеть в Кольридже мыслителя эклектического характера, который пытается соединить в своем мировоззрении различные антич-

ные, ренессансные и современные ему философские, религиозные и научные представления. Однако такой точке зрения противоречит гармоничное и цельное, неоплатоническое в своей основе восприятие природного мира, универсума, присутствующее в стихах английского поэта. Обратившись к автобиографическим сочинениям Кольриджа, к его эстетическим идеям, рассмотрим, какую роль играл неоплатонизм в формировании представлений английского романтика о мире.

Главными источниками сведений о знакомстве Кольриджа с неоплатонической философией являются его «Литературная биография» («*Biographia literaria*») и собрание размышлений на разные темы «Застольные беседы и прочее» («*Table talk and omniana*»). По словам поэта, интерес к философии возник у него еще в пятнадцатилетнем возрасте [Coleridge, 1956, с. 8]. Среди мыслителей, сочинения которых он читал в юности, были Платон, Плотин, Прокл, ренессансные неоплатоники Гемист Плевон, Джордано Бруно, немецкий мистик Якоб Беме [Coleridge, 1956, с. 80]. С отдельными местами из трактатов Плотина – «человека удивительного дарования» – Кольридж даже познакомился в оригинале [Coleridge, 1917, с. 130]. У Кольриджа можно встретить разные высказывания по поводу неоплатонизма, в том числе и негативные, например обвинение в том, что по его вине философия после вершины, достигнутой ею у Сократа, Платона и в христианстве, «угрожающе деградировала в магию и чистый мистицизм» [Coleridge, 1917, с. 130]. Несомненно, такая оценка исторической роли неоплатонизма – не более чем дань влиятельной еще и во времена Кольриджа просветительской точке зрения на философию Плотина как на нечто иррациональное и бессистемное [Лосев, 1995, с. 145]. Гораздо важнее то, что английский романтик, излагая свои мысли о мире и человеке, прямо или косвенно возводит их к неоплатонизму.

Основа всякой настоящей философии, с точки зрения Кольриджа, – это интуитивное знание, не связанное ни с каким опытом. Сравнивая философию с геометрией, он пишет: «Философия опирается на объекты внутренних чувств и не может, как и геометрия, опираться на соответствующую вечным конструкциям внешнюю интуицию. <...> Философия <...> должна исходить из наиболее оригинальной конструкции; и вопрос здесь в том, что же такое наиболее оригинальная конструкция или первый продуктивный акт внутреннего чувства? <...> В философии внутреннее чувство не может быть обусловлено никаким внешним объектом. К оригинальной конструкции линии я могу быть подведен с помощью линии, проведенной передо мной на доске или на песке. Штрих, проведенный таким образом, не есть в действительности

сама линия, но только образ или изображение линии. Это не значит, что мы сначала научились узнавать линию; напротив, мы подводим этот штрих к оригинальной линии, произведенной в акте воображения, иначе мы не смогли бы определить, что это линия, без измерений ширины или толщины» [Coleridge, 1956, с. 143]. Мыслителем, который лучше всего понимал, что источник философии заключается в интуиции этих вечных (или оригинальных) конструкций, английский поэт считает Плотина [Coleridge, 1956, с. 139]. Кольридж справедливо возводит эти свои мысли к учению Плотина: греческий философ полагал, что наша способность распознавать в самых разных обстоятельствах предметы окружающего мира обусловлена тем, что эйдосы этих предметов уже имеются в нашем сознании. В момент зрительного восприятия мы узнаем не сам предмет, а его внепространственную идею [Лосев, 2000, с. 821].

Но если Кольридж понимает человеческое мышление и восприятие в неоплатоническом духе, означает ли это, что он в целом принимает неоплатонический взгляд на мир? Эстетические и философские сочинения поэта свидетельствуют о больших трудностях, которые ему приходится преодолевать, чтобы прийти к теоретическому обоснованию своего мироустройства, неоплатонического по преимуществу. Особенно сильно Кольриджа привлекает проблема взаимоотношений объекта и субъекта – природы и человека – в процессе познания мира. В набросках задуманного им изложения своего философского учения – так называемой логософии – английский романтик пишет: «...Сумму всего, что только есть объективного, мы будем <...> ограничив термин его пассивным и материальным смыслом, называть *природой*, как охватывающей все феномены, посредством которых ее существование становится познаваемым для нас. С другой стороны, сумму всего, что есть субъективного, мы можем подразумевать под именем *сам* (*self*) или *интеллект* (*intelligence*). Обе концепции состоят в необходимом противоречии друг с другом. Интеллект понимается исключительно как представляющий, природа – исключительно как представляемое; первый – как сознающий, второе – как бессознательное» [Coleridge, 1956, с. 145]. Единственную возможность для соединения этих противоположностей Кольридж видит в акте познания, однако в пределах своей логософии он не может объяснить, что представляет собой это единство и как оно возникает, и разрешение этой проблемы он считает основной задачей любой натурфилософии. Кольридж пишет об этом: «Необходимая тенденция <...> всякой философии природы заключается в движении от природы к интеллекту. <...> Высочайшее совершен-



ство философии природы должно состоять в совершенной спиритуализации всех законов природы, в их обращении в законы интуиции и интеллекта. Феномены (материальное) должны полностью исчезнуть, и единственное, что должно остаться, – это законы (формальное)» [Coleridge, 1956, с. 146]. Поэт убежден, что познание всех законов природы позволит создать такую ее теорию, которая покажет полную идентичность этих законов человеческому разуму, идентичность «всей природы <...> тому, что в своей высочайшей познавательной энергии присутствует в человеке как интеллект и самосознание» [Coleridge, 1956, с. 146]. Таким образом, начав проект своей философии природы с противопоставления природы и интеллекта, Кольридж приходит к утверждению их тождества, к признанию имманентности бытия мышлению, что в качестве основной интуиции уже изначально присутствовало в его «логософических» рассуждениях о природе. В целом логософия Кольриджа, как и другие его попытки создать всеобъемлющую теорию, осталась незавершенной и не продуманной до конца. По замечанию Дж.А. Эппльярда, философские сочинения английского поэта задумывались им как «экспозиция к обоснованию теории познания» [Appleyard, 1965, с. 156]. Подобная незавершенность философской мысли Кольриджа препятствует правильному пониманию степени ее зависимости от неоплатонизма. Чтобы преодолеть эту трудность, необходимо обратиться к другим аспектам теоретической мысли поэта.

Центральное место в эстетике Кольриджа занимает его теория воображения, которую он излагает в «Литературной биографии». По его мнению, существует два вида воображения (*imagination*) и, кроме того, фантазия (*fancy*). Он пишет об этом: «Первичное воображение <...> должно быть живой энергией и первой действующей силой всего человеческого восприятия, а также повторением в конечном разуме вечного акта творения в бесконечном «Аз есмь». Вторичное (воображение. – *И.К.*) я рассматриваю как эхо предшествующего, сосуществующее с сознательной волей, и даже как идентичное первому в способе их действия, а отличающееся только степенью <...> Оно растворяется, смешивается, рассеивается, чтобы возродиться; или, где этот процесс оказывается невозможным <...> оно стремится идеализировать и объединять. Оно *живое (vital)* в сущности, даже если все его объекты (как объекты) в сущности неподвижны и мертвы.

Фантазия, напротив, не имеет ничего против того, чтобы играть только с устойчивым и определенным. Фантазия – это <...> способность памяти освободиться от порядка времени и пространства, и сочетать друг с другом, и видоизменять эмпирические феномены по

средством воли, которую мы обозначаем словом “*выбор*”. Но так же происходит и в обычной памяти – все ее готовые материалы должны возникать в ней по закону ассоциации» [Coleridge, 1956, с. 167].

Среди мыслителей, наиболее повлиявших на Кольриджа в вопросе о природе воображения, обычно называют Платона и Плотина. Дж.В. Бейкер возводит эту теорию Кольриджа к платоновскому диалогу «Ион», в котором предлагается понимание вдохновения как божественного опьянения, и к трактату Плотина «Об умной красоте» [Baker, 1957, с. 68]. В этом трактате философ, рассуждая о красоте в искусстве, замечает: «...Они (художники. – *И.К.*), воспроизводя вещи, не останавливаются на одной только видимой их стороне, но восходят к тем принципам, на которых основывается их природа <...> Они иногда и в собственном смысле творят новое, когда, например, прибавляют то, чего недостает для совершенства предмета, и это потому, что обладают в самих себе красотой. Фидий, например, создал фигуру Зевса, совсем не имея пред глазами чего-либо чувственного, но изобразил Зевса таким, каким представлял его себе, каким он и нам явился бы, если бы мог быть видим глазами» [Плотин, 2000, с. 103]. Комментируя этот фрагмент, А.Ф. Лосев пишет: «Когда искусство подражает обыкновенным чувственным вещам, оно заимствует из умной сферы только ее формальную сторону, симметрию. Когда же оно подражает чувственности в соединении с умностью, оно низводит из умной сферы и содержательные идеи. Но эти идеи должны пройти сквозь призму данного индивидуального человека, как он существует, со всей своей индивидуальностью, в чистом уме, потому что всякое искусство есть результат его человеческого творчества» [Лосев, 2000, с. 671].

Итак, уже при первом рассмотрении теория воображения Кольриджа показывает, насколько его взгляды близки неоплатонизму. К главным моментам в этой теории относится признание существования вечного смысла, предшествующего природному миру, и признание тождества бытия и мышления («повторение в конечном разуме вечного акта творения»). Как замечает Дж.В. Бейкер, «сердцевина теории Кольриджа о воображении – это сущностная идентичность продуктивной энергии в природе и творческой энергии в человеке» [Baker, 1957, с. 69].

Говоря о взаимоотношениях человека и природы и особенно о воображении, Кольридж нередко использует понятие энергии. Человеческий интеллект, воображение, способность к творчеству поэт определяет как энергию. Рассуждая в «Застольных беседах» о различии между аристотелизмом и платонизмом, Кольридж пишет: «Каждый человек рождается или аристотелистом, или платоником. Я не думаю,

что возможно, чтобы кто-то, рожденный аристотелистом, мог стать платоником, и я уверен, что никто из рожденных платоником не мог бы стать аристотелистом. Это два различных класса людей <...> Один рассматривает разум как качество, или атрибут; второй рассматривает его как энергию. Я полагаю, что Аристотель никогда не смог бы понять, что Платон подразумевал под идеей» [Coleridge, 1917, с. 118]. Что же сам Кольридж подразумевает под идеей и энергией? По замечанию Т.Х. Левере, полный обзор всех значений, которые поэт вкладывает в понятие «идея», занял бы целую книгу [Levere, 1981, с. 95]. Во-первых, Кольридж пользуется этим понятием, говоря о законах природы (по его словам, «сейчас “закон” и “идея” – соотносимые термины») [Coleridge, 1858, с. 425]. Применение английским поэтом концепта «идея» по отношению к математическому естествознанию, к ньютоновской науке не противоречит неоплатонизму, поскольку именно неоплатоническое понятие идеи лежит в основе методологии современной науки [Лосев, 1995, с. 131].

Законы природы, по убеждению Кольриджа, соответствуют разуму: «... Идея, понимаемая как существующая в объекте, – это закон; а закон, рассматриваемый *субъективно* (в разуме) – это идея» (цит. по: [Levere, 1981, с. 96]). Иными словами, идеи для Кольриджа – это отражение закономерностей, смыслов объективно существующего мира в человеческом сознании. Эти отношения соответствия между разумом и миром Кольридж называет символическими, полагая, что символ характеризуется «прежде всего просвечиванием вечного сквозь темпоральное и в темпоральном. Он всегда участвует в реальности, которую переводит в интеллигибельное состояние, и, провозглашая целое, он остается при этом живой частью того единства, которую репрезентирует» (цит. по: [Levere, 1981, с. 97]). Природа видится Кольриджу наполненной «соответствиями и символами спиритуального мира» (цит. по: [Levere, 1981, с. 96]). Интересно, что, объясняя свое понимание символа как соединения общего и частного, вечного и временного, интеллигибельного и чувственного, Кольридж пишет о просвечивании (the translucence) одного в другом. Плотин, рассуждая о характере связи идеи с материей, использует этот же образ. Философ говорит: «... Мы иногда употребляем <...> тут выражения «излучение», «осияние» <...> Так как материальные вещи – образы, прообразы которых суть идеи, то и мы говорим, что они освещаются идеями, чтобы дать этим понять, что освещаемое – нечто совсем иное и отдельное от того, что его освещает» [Плотин, 2000, с. 178].

Итак, идеи для Кольриджа существуют вполне объективно: они просвечивают сквозь пестроту материального мира как его закономерности и, в качестве ментальных структур, дают человеку возможность понять этот мир. Кольридж дает идеям и такое определение: «Идея – это энергия <...> в том случае, когда она утверждает свою собственную реальность, с тем, чтобы мысль, необходимо предшествующую вещам, реализовать более или менее адекватно» (цит. по: [Levere, 1981, с. 109]). Эти слова Кольриджа показывают, насколько близок его взгляд на проблему энергии неоплатоническому учению, в котором посредством понятия энергии объясняется все разворачивание бытия вовне, все его самовыражение, все его переходы с одного уровня на другой. Проблема энергии в неоплатонизме имеет аристотелевское, а не платоновское происхождение [Лосев, 2000, с. 381]. Возвращаясь к представлению Кольриджа о непреодолимой пропасти между платонизмом и аристотелизмом, можно заметить, что, будучи неоплатоником, он преодолевает эту пропасть вопреки своему же убеждению в невозможности этого.

Если Кольридж признает объективное существование идей, предшествующих вещам, то закономерно возникает вопрос о происхождении и местонахождении этих идей. Поэт задается этим вопросом; он пишет: «Энергия, из которой разворачивается <...> идея бытия, бытие в своей сущности, бытие бесконечное, охватывающее свои собственные расширяющиеся границы и сжимающее себя в их видимых пределах, – как мы назовем его? Идея самой себя, которая захватывает сразу, подобно мощной волне, и возносит наверх, – что это? Откуда она пришла?» [Coleridge, 1858, с. 464]. Кольридж называет этот центр, источник и предел всего по-разному. Так, объединяя множество, по-видимому, равнозначных для него наименований, он пишет: «... Абсолютная Воля, Добро, сверхсущностная первопричина бытия, и – в вечном акте самоутверждения – Аз Есмь, Отец, который, действуя с единственным порожденным *Логосом* (словом, идеей, высшим разумом, *плеромой*, словом, содержащим каждое слово, исходящее из уст Наивысочайшего) и с Духом, есть единственный Бог от вечности до вечности» [Coleridge, 1858, с. 465].

В этом определении Троицы Кольридж особенно выделяет неоплатоническую по происхождению концепцию Логоса, согласно которой творению предшествовали мысли Бога о творении – логосы, в том числе и логос человека, воплотившийся позднее в Иисусе Христе [Мейендорф, 2001, с. 231]. Но эта теология логоса, несмотря на свой неоплатонический дух, была адаптирована к христианскому вероуче-

нию и стала его частью, поэтому рассуждения Кольриджа о второй ипостаси как Логосе еще не избличают его в приверженности к неоплатонизму в ущерб христианским представлениям. Гораздо более тяготение поэта к неоплатонизму заметно здесь в попытках обезличить христианского Бога и свести на нет временной фактор во взаимоотношениях Бога и мира. В определениях первой и второй ипостасей преобладают безличные характеристики – Добро, сверхсущностная первопричина, плерома, – или прямо неоплатонические – идея, высший разум. С другой стороны, Кольридж говорит о Боге как об Абсолютной Воле, что характерно для понимания Бога в ветхозаветной традиции. Поэтому, определяя Бога как Волю, Кольридж видит в нем личность, как это было принято в иудаизме и потом в христианстве. Можно, однако, вспомнить о том, что современник английского романтика Артур Шопенгауэр обезличил волю, превратив ее в «равную себе сущность мира, его идею» [Шопенгауэр, 1999, с. 236]. Так и Кольридж, по видимому, говорит о воле как безличном принципе.

Кольридж обезличивает библейского Бога еще и настойчивым стремлением превратить единичные, неповторимые акты божественной деятельности в вечные, повторяющиеся. Поэт говорит о «вечном акте творения», «вечном акте самоутверждения», мысля, таким образом, христианского Бога как неоплатоническое Единое, бесконечными эманациями воспроизводящее мир. Такое понимание резко расходится с христианским. Кольридж, хотя и называет Бога так, как сам Бог называет себя в Ветхом Завете – «Аз Есмь» («I am»), то есть «Сущий», или тот, кто существует, склонен, однако, понимать Его не как Сущего – обладающего личностью, которая проявляет себя в уникальных, неповторимых актах волеизъявления, а как некую сущность – первопринцип, безличную основу мироздания.

Подмена христианского Бога, Сущего, философским богом – сущностью, высшим единством – подводит Кольриджа к пантеизму, столь заметному в его поэтическом творчестве. Т. Макфарланд полагает, что поэт колебался в своих взглядах, склоняясь, с одной стороны, к христианскому тринитаризму, а с другой стороны – к пантеизму [McFarland, 1969, с. 107]. Однако, как мы убедились, представления Кольриджа о троичном божестве заметно расходятся с ортодоксальными христианскими представлениями. Его тринитаризм напоминает пантеистическое учение неоплатоника XVI века Якоба Беме, в котором мир возникает из эманаций Троицы. Исследователь Е.М. Хеллер обращает внимание на маргиналии Кольриджа, которые он делал, читая Беме [Höller, 1988, с. 197–200]. Судя по этим заметкам поэта, его осо-

бенно привлекает у Беме мысль обо всем сотворенном как о манифестации Бога-Отца, проявлении его энергии.

Не только теоретические сочинения и заметки Кольриджа свидетельствуют о его близком к Беме понимании Бога: в стихах английского романтика, как и в сочинениях немецкого мистика, Бог – это и вне природы обитающая личность, и сама одушевленная природа. Влияние философии Беме на Кольриджа заметнее всего в стихотворении 1795 года «Эолова арфа» (по мнению Д. Джаспера, оно было написано под впечатлением от трактата Беме «Аврора, или Утренняя заря в восхождении» [Jasper, 1985, с. 35–40]). Звуки, которые ветерок извлекает из прикрепленной на окне лютне, вызывают у поэта такие мысли:

Вне нас и в нас едино бытие –  
 Душа всему, что движется навстречу,  
 Свет в звуке и подобье звука в свете  
 И в каждой мысли ритм и всюду радость...  
 Вслед за этим возникает догадка:  
 А может быть вся сущая природа –  
 Собрание живых и мертвых арф,  
 Что мыслями трепещут, если их  
 Коснется ветер – беспредельный, мудрый –  
 И Каждого Душа и Бог Всего?

(пер. В. Рогова) [Кольридж, 2004, с. 259]

Неоплатоническая мысль о единстве бытия в нас и вне нас подкрепляется в этих стихах образами, по-видимому, действительно возникшими не без влияния Беме. Например, парадоксальное уподобление света звуку встречается у немецкого мистика в его описаниях Бога-Отца и Бога-Сына: «...Вся божественная сила Отца изрекает из всех качеств слово, то есть Сына Божия: теперь этот самый звук или это самое слово, изрекаемое Отцом, исходит <...> из ртути – звука или звона Отца. И Отец изрекает его в себе самом, и это слово и есть сияние из всех Его сил...» [Беме, 1990, с. 69]. Ветер – Душа и Бог всего – это в учении Беме третья ипостась, Святой Дух, – аналогия Мировой Души неоплатонизма [Беме, 1990, с. 79]. Дж. Бир полагает, что приведенные выше строки из «Эоловой арфы» не противоречат даже строго ортодоксальному христианству [Beer, 1977, с. 66–67]. Однако параллели с трактатом Беме, а также контекст стихотворения (жена – убежденная христианка – упрекает поэта за такие мысли) подтверждают, что нарисованная Кольриджем картина природы – это неоплатониче-

ская картина в духе Беме, у которого материальная природа выступает как эманация троичного божества.

Если обобщить все наиболее существенные моменты в мировоззрении Кольриджа, то становится очевидным, что неоплатонические и христианские элементы образуют в нем синтез, отчасти близкий философии Якоба Беме. Природа у Кольриджа является эманацией Бога, который мыслится как первопричина бытия, высший разум, логос и одновременно обладает чертами ветхозаветного и новозаветного Бога – Сущего, повелителя времени и истории. Природа создается в соответствии с вечными прообразами, которые «просвечивают» сквозь переходящие явления. Природа не самодостаточна, она оживляется и одушевляется благодаря нисходящей к ней божественности – Духу, «интеллектуальному ветру», в котором можно усмотреть аналогию неоплатонической Мировой Душе.

Человек обладает воображением – способностью, которая дает ему возможность приблизиться к божественной точке зрения на природу. Воображение позволяет воспринимать природный мир не как ряд разрозненных явлений, а как целостность, объединенную общим смыслом. В полном согласии с неоплатонической концепцией Кольридж признает тождество бытия и человеческого мышления. Человек познает природу, потому что его разум и воображение изначально содержат формы чувственного и сверхчувственного мира, творческая энергия в человеке – это то же самое, что и продуктивная энергия Бога в природе, и, наконец, человеческая душа чувствует свою сопричастность миру, так как действительно является частью одушевляющей природу силы. Мысль о том, что «вне нас и в нас едино бытие», – излюбленная в натурфилософской лирике Кольриджа.

Итак, даже самый беглый обзор философско-эстетических взглядов Кольриджа показывает, какое важное место в мировоззрении поэта занимали идеи неоплатонического происхождения.

### Литература

- Беме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. М., 1990.  
 Кольридж С.Т. Стихотворения. М., 2004.  
 Лосев А.Ф. Словарь античной философии. М., 1995.  
 Лосев А.Ф. История античной эстетики: Поздний эллинизм. Харьков; М., 2000.  
 Мейендорф И. Византийское богословие: Исторические направления и вероучение. М., 2001.  
 Плотин. Избранные трактаты. Минск; М., 2000.  
 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. Собр. соч. : в 6 т. Т. 1. М., 1999.

- Appleyard J.A. Coleridge's Philosophy of Literature: The Development of a Concept of Poetry: 1791–1819. Cambridge (Mass.), 1965.  
 Baker J.V. The Sacred River: Coleridge's Theory of the Imagination. Louisiana State University Press, 1957.  
 Beer J. Coleridge's poetic intelligence. Cambridge, 1977.  
 Brett R.L. Fancy and Imagination. London, 1969.  
 Coleridge S.T. Biographia literaria or Biographical sketches of my literary life and opinions. London; New York, 1956.  
 Coleridge S.T. The complete works of Samuel Taylor Coleridge : In 7 vol. / Ed. by prof. Shedd. New York, 1854–1858. Vol. 2. 1858.  
 Coleridge S.T. The table talk and omniana. Oxford University Press, 1917.  
 Höller E.M. Das ganzheitliche Weltbild S.T. Coleridges: Untersuchungen anhand ausgewählter Prosaschriften. : Diss. Frankfurt a. M. ;Bern ;New York ;Paris, 1988.  
 Jasper D. Coleridge as poet and religious thinker: Inspiration and Revelation. London and Basingstoke, 1985.  
 Levere T.H. Poetry realized in nature: Samuel Taylor Coleridge and early nineteenth-century science. Cambridge, 1981.  
 McFarland T. Coleridge and the pantheist tradition. Oxford, 1969.  
 Willey B. Samuel Taylor Coleridge. London, 1972.

## НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

### МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ КАК ЕДИНИЦ ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКА (НА ШКАЛЕ «ОТРАЖАТЕЛЬНОЕ – УСЛОВНОЕ»)

*Е.Н. Татаринцева*

**Ключевые слова:** лингвоперсонологический аспект, орфографические принципы, орфографическая способность, языковая личность.

**Keywords:** linguo-personal aspect, orthography principles, orthography capacity, linguistic personality.

Данное исследование находится в русле работ, посвященных описанию языка в аспекте лингвоперсонологии – теории языковой личности [Нерозник, 1996; Караулов, 2004]. В статье представлены теоретические основы экспериментального исследования, в рамках которого осуществляется моделирование принципов русской орфографии в аспекте их функционирования в пространстве разнообразных языковых (орфографических) личностей носителей русского языка. В частности, лингвоперсонологическое функционирование орфографических принципов рассматривается на шкале «отражательное – условное». Идейную базу исследования составляют следующие положения:

1. В современной лингвистике и лингводидактике доминирует традиционный (нормативный, предписательный) подход к описанию орфографии, ориентированный на ее *идеальную* модель, такую орфографию, какой она *должна* быть. При этом естественные закономерности функционирования русской орфографии не изучаются в достаточной полноте.

2. Объективистская и традиционная (нормативная) модели рус-

ской орфографии не исключают друг друга. Одна из «точек соприкосновения» – рассмотрение системообразующих признаков русской орфографии – орфографических принципов – в аспекте их лингвоперсонологического функционирования (не в качестве закономерностей устройства языковой системы, а как руководящих установок субъектов письма – разнообразных языковых личностей). Предполагается наличие корреляционных связей между вариантами реализации орфографической способности, представляемыми индивидами в процессе орфографической деятельности, и принципами русской орфографии, в связи с чем можно говорить о фоно-, фонемо-, морфемо-, семантико- и традиционно-ориентированных вариантах орфографической способности носителей русского языка.

3. Объективистское описание функционирования русской орфографии, а именно ее принципов, направлено на выявление специфики письма рядовых носителей языка. Под рядовыми носителями языка подразумевается массовый тип языковых личностей, иначе говоря, среднестатистический, усредненный, обобщенный тип [Голев, 2006, с. 359]. При таком подходе к выбору аудитории ее составляют потенциально любые носители языка.

4. Описание орфографической деятельности рядовых носителей русского языка осуществляется на основе анализа антропотекстов – тестов, созданных субъектами письма и отражающих специфику реализации ими языковой (орфографической) способности.

5. Изучение лингвоперсонологического функционирования русской орфографии, в частности ее принципов, предполагает, *во-первых*, осуществление теоретической разработки экспериментального исследования, направленного на выявление и описание (типологическое и индивидуальное) особенностей реализации индивидами орфографической языковой способности и ее вариантов, *во-вторых*, поэтапную реализацию разработанного исследования на конкретно-исследовательском уровне.

На основе наблюдений и опытов, проведенных исследователями при изучении естественного функционирования русской орфографии [Голев, Киселева, 2001; Пушкирева, 2004], нами были выделены основные **системообразующие параметры** описания лингвоперсонологического функционирования орфографических принципов русского языка в ходе проведения системы направленных экспериментов. Эти параметры образуют ряды антиномий в рамках наиболее общей антиномии «системно-языковое – функциональное», что является воплощением на гносеологическом уровне идеи о диалектическом взаимодей-

ствии категорий «принципы орфографии русского языка» и «варианты реализации орфографической способности носителями русского языка», и приводятся в качестве открытого списка, не исключая его экстенсивное и интенсивное развертывание.

**Системно-языковые параметры** описания функционирования орфографических принципов в пространстве качественно-разнообразных языковых личностей в рамках экспериментального исследования обусловлены доступными для измерения онтологическими характеристиками предметной области исследования – орфографических принципов. Указанные параметры отражают специфику языкового, а именно орфографического, материала для экспериментальных заданий, в их число входят: узуальное – окказиональное; следование орфографическому принципу – отступление от него; нормативное – ненормативное; орфографическое – графическое.

**Функциональные (лингвоперсонологические) параметры** описания орфографических принципов русского языка предполагают характеризацию последних на уровне реализации орфографической языковой личности как носителя качественно-разнообразной орфографической способности. Эти параметры отражают, *во-первых*, качественное разнообразие реализаций носителями языка орфографической способности: орфографическое – метаорфографическое; отражательное – условное; интуитивное – рационально-логическое; креативное – копиальное; национальное – внациональное (в рамках общей антиномии «интраорфографическое – экстраорфографическое»); *во-вторых*, виды орфографической деятельности: чтение – письмо (восприятие – (вос)произведение текста); владение – овладение нормами, правилами и алгоритмами орфографической деятельности.

Приведя общий перечень параметров описания функционирования принципов русской орфографии на лингвоперсонологическом срезе, рассмотрим подробнее стратегии проведения системы экспериментов, направленных на выявление и описание особенностей лингвоперсонологического функционирования орфографических принципов в аспекте антиномии «отражательное – условное».

Любой язык, в том числе русский, может быть проанализирован с точки зрения представленности в нем отражательного и условного начал, которые соотносятся с двумя встречными тенденциями, характерными для языка в целом, – к мотивированности и немотивированности [Сосюр, 1977]. Так, например, преимущественно отражательным (мотивированным произношением) является «фонетическое» сербское и белорусское письмо; условным – английское, в большой степени – ки-

тайское. В русском языке тенденции к мотивированности и немотивированности проявляются как на интраорфографическом уровне – в рамках антиномий «отражательное – условное», «орфографическое – метаорфографическое», так и на экстраорфографическом уровне – в аспекте «креативное – копиальное».

Ориентированность носителей языка на отражательность и условность орфографической системы сравнима с двумя стратегиями «обращения с языком», выделяемыми Б. Гаспаровым. Речь идет об *операционной* стратегии – такой, «при которой материал языка разворачивается по определенным правилам из компактного, многократно свернутого абстрактного отображения этого материала», и *репродуктивной* стратегии, «основанной на непосредственном запоминании и воспроизведении» [Гаспаров, 1996, с. 57].

Ориентация носителей русского языка на отражательность русской орфографии в процессе письма выражается в их стремлении «вывести» написание слов из языковой системы, обусловить орфографический облик слов системными закономерностями языка: фонетическими, фонемными, морфемными или семантическими.

**Фоно-ориентированная орфографическая способность** связана с языковой способностью индивидов воспринимать и (вос)производить звуковую сторону языка.

При чтении фоно-ориентированная языковая способность проявляется, в частности, в актуализации «внутренней речи» (проговаривании про себя, внутреннем озвучивании письменного текста); в умении выразительно читать вслух; в способности к восприятию аллитерационного оформления художественных текстов; в способности к восприятию (а при рассмотрении письма – и производству) специфического языкового феномена современного интернет-общения – «языка падонкофф»<sup>1</sup>, в значительной степени характеризующегося гипертрофированной «фонетичностью».

При письме фоно-ориентированная языковая способность выражается в выборе языковых средств с учетом их благозвучности или неблагозвучности, в использовании звукоподражательных слов (или создании окказиональных вариантов) и др. В процессе речевой коммуникации реализация фонетической языковой способности определяет

<sup>1</sup> В данном случае используется термин «язык падонкофф», выработанный самими пользователями «падонкоффских» орфографических норм в сетевом дискурсе (см.: [URL: <http://www.Udaff.com>]). Синонимичные наименования, функционирующие в сетевом дискурсе, – «антиорфография» (см.: [URL: <http://www.inauka.ru>]), «афтарский язык» (см.: [URL: <http://www.Udaff.com>]).

употребление разнообразных интонационных конструкций; различие тональных, тембральных и других характеристик собственного голоса и голоса собеседника; способность к имитации чужой речи и т.д.

Фонетическая языковая способность, реализуемая носителями русского языка в орфографической деятельности, – фоно-ориентированная орфографическая способность – определяется ролью звучащей речи в процессе владения и овладения индивидов орфографическими нормами русского языка. В частности, этот вариант орфографической способности выражается в стремлении пишущих графически передать произношение слов, что возможно как в ситуации восприятия воспринятой звучащей речи, так и при продуцировании текста – в последнем случае происходит как бы экспликация внутренней речи субъектов письма. Исследователи отмечают лингводидактический потенциал речи в связи с обучением грамотному письму, выделяя так называемое орфографическое проговаривание [Граник, 1995; Гоцкий, 1991].

**Фонемо-ориентированная орфографическая способность** связана со степенью выраженности «чувства фонемы» у носителей русского языка. В качестве частного случая реализации этой языковой способности Н.Д. Голев выделяет способность субъектов письма к идентификации гиперфонемы слов. Исследователь на экспериментальном материале рассматривает фонемную языковую способность в качестве одного из компонентов орфографической интуиции [Голев, 2004].

Своеобразной «реализацией-наоборот» фонемо-ориентированной орфографической способности является уже упоминаемый нами «язык падонкафф», распространенный в сфере интернет-коммуникации. Некоторые из типовых орфографических искажений связаны с такой формой реализации фонемо-ориентированной орфографической способности, как преднамеренное соотнесение аллофона в позиции нейтрализации с «неправильной» фонемой [Дедова, 2007, с. 343]. Таким образом обозначаются на письме, например, фонемы в слабых позициях: *аффтaр, сцълко, аццкй, исчо* и др.

**Морфемо-ориентированная орфографическая способность** носителей языка опирается на их морфемно-деривационную языковую способность.

В процессе письменной-речевой деятельности индивидов указанная языковая способность проявляется, в частности, при выполнении операций морфемного анализа и морфемного синтеза. При чтении этот вариант языковой способности детерминирует поморфемное членение

индивидами воспринимаемого текста; установление словообразовательных связей слов, обнаружение однокорневых слов в тексте; определение этимологических связей слов; знание большого количества морфем русского языка, их значений; различие паронимов и др. При письме реализация указанного варианта языковой способности определяет владение носителей языка синонимическими средствами морфемного запаса русского языка; создание речевой игры, основанной на паронимии; выбор морфем для продуцирования нового слова (окказионализма) и т.д.

Реализация морфемной языковой способности индивидами на уровне орфографической деятельности обусловлена ориентированностью (в разной степени) субъектов письма на морфемный строй русского языка. Морфемо-ориентированная орфографическая языковая способность выражается, в частности, в стремлении индивида к единообразному написанию морфем. Исследования в этой области подтверждают наличие взаимосвязи морфемной и орфографической деятельности субъектов письма [Аввакумова, 2002].

**Семантико-ориентированная орфографическая способность** связана с языковой способностью индивидов к восприятию и продуцированию смысловой стороны текста, отдельного слова в процессе письменной-речевой деятельности.

При чтении семантическая языковая способность детерминирует выделение индивидом общей идеи текста; восприятие и понимание им авторских намеков, подтекстов; определение контекстуальных синонимов, антонимов; адекватное восприятие логического ударения в тексте; выбор значения полисемичного слова, релевантного контексту, и др.

При письме реализация семантической языковой способности связана с пониманием многозначности слова и употреблением его в различных значениях; использованием синонимических, антонимических и других языковых, в частности лексических, средств; языковой игрой, построенной на актуализации внутренней формы слова; использованием тропов – метафорических, метонимических и др.

Семантическая языковая способность, рассматриваемая на орфографическом уровне, – семантико-ориентированная орфографическая способность – выражается в значимости для субъектов орфографической деятельности значения слов в тех случаях, когда оно влияет на выбор орфограммы (например, в написаниях типа *намеренна* и *намерена*, *уродливо-жалкая* и *уродливо жалкая*, *не обычное* и *необычное*). В частности, наиболее распространенными в орфографической практике

случаями реализации пишущими семантико-ориентированной способности являются следующие: при различении на письме индивидами омофонов (например, *бал – балл, грипп – гриб*); при маркировании пишущими грамматических категорий слов (например, *плач – плачь, рож – рожь*) и др.

**Традиционно-ориентированная орфографическая способность** носителей языка выражается в их ориентации на традиционность (конвенциональность, условность) русской орфографии и языка в целом, в актуализации ими узуальных языковых закономерностей, сложившейся практики письма.

Реализация традиционно-ориентированной орфографической способности связана с активизацией языковой копияльной (мнемонической) способности у субъектов орфографической деятельности и, как следствие этого, с функционированием «языковых цитат» [Гаспаров, 1996, с. 14].

Наиболее широко изучение традиционно-ориентированной орфографической языковой способности представлено в сфере лингводидактических исследований, в частности в связи с решением вопроса об эффективности так называемых механических методик обучения орфографии, основанных на активизации в процессе овладения орфографическими нормами всех каналов восприятия: аудиального, визуального, кинестетического [Граник, 1995; Тоцкий, 1991]. Указанные методики обучения орфографии, актуализирующие различные каналы восприятия человеком информации, рассматриваются исследователями в качестве факторов, обуславливающих «врожденную грамотность» носителей языка и способствующих формированию и развитию интуитивно грамотного письма, как правило, не выводимого на осознаваемый уровень (типичный пример из школьной практики обучения грамотному письму: ученик не знает правил, но пишет грамотно; другой – знает правила хорошо, но допускает ошибки чаще, чем первый).

Представленное в статье экспериментальное исследование, направленное на моделирование принципов русской орфографии как единиц лингвоперсонологического функционирования языка, определяет основные стратегии и тактики объективистского, «естественно-научного» описания орфографических принципов русского языка, в частности на шкале «отражательное – условное», и предполагает дальнейшую реализацию на конкретно-исследовательском уровне.

## Литература

- Аввакумова Е.А. Морфемно-деривационные основания орфографической интуиции // Естественная письменная русская речь: исследовательский и образовательный аспекты. Барнаул, 2002. Ч. 1.
- Гаспаров Б.М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. М., 1996.
- Голев Н.Д., Киселева О.А. Коммуникативная орфография русского языка: задачи и методы экспериментального изучения орфографической деятельности читающего // Фонетика и письмо в диахронии. Омск, 2001.
- Голев Н.Д. Лингвоперсонологические аспекты русского метаязыкового сознания // Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-ориентированное обучение. Барнаул; Кемерово, 2006.
- Голев Н.Д. О природе орфографической интуиции (к постановке проблемы) // Человек пишущий и читающий: проблемы и наблюдения. СПб., 2004.
- Граник Г.Г. Психологические закономерности формирования орфографической грамотности // Вопросы психологии. 1995. № 3.
- Дедова О.В. Антиорфография в Рунете // Русский язык: исторические судьбы и современность. М., 2007.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2004.
- Нерознак В.П. Лингвистическая персонология: к определению статуса дисциплины // Язык. Поэтика. Перевод. М., 1996.
- Пушкарева Л.Г. Вопросы теории орфографии в свете экспериментальных данных о практической ориентации пишущего: дис. ... канд. филол. наук. Омск, 2004.
- Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977.
- Тоцкий П.С. Орфография без правил. М., 1991.

## РОЛЬ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ СОКРАЩЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

*Л.В. Иванова*

**Ключевые слова:** аббревиация, англо-американское сокращение, заимствование, СМИ, немецкая пресса.

**Keywords:** abbreviation, anglo-American borrowings, media, German press

Современная лингвистика уделяет значительное внимание изучению языка средств массовой информации и прежде всего языка газет, который характеризуется жанровым разнообразием, яркостью, динамичностью, является своеобразной языковой средой для различного рода новообразований. При этом язык газеты рассматривается как наи-



более восприимчивый к различного рода лексическим нововведениям. В сфере исследования лексических нововведений определенное место занимают аббревиатуры. Аббревиация является одной из наиболее характерных особенностей языка современной прессы.

Работа прессы, радио и телевидения характеризуется быстротой реакции на события, богатством информации, живостью и доступностью [Дебов, 1999, с. 46]. По мнению М.А. Ярмашевич, резко возросшая роль публицистики в современной стилистической системе литературных языков, все большее влияние СМИ на воспитание языковых вкусов читателей и формирование современных стилистических норм позволяют считать использование аббревиатур в газетах и журналах во многом типичным явлением для языка в целом. Особое значение имеет газета, где не только широко употребляются аббревиатуры, но и часто создаются новые [Ярмашевич, 1990, с. 12].

Широкое международное сотрудничество, взаимовлияние народов мира друг на друга, безусловно, являются положительным моментом. Новые понятия, предметы, достижения культуры и науки других стран требуют их обозначения в немецком языке, что представляет известную трудность на первоначальном этапе. Очевидно, что заимствование уже существующего наименования будет наиболее простым и естественным выходом. Подобно живому организму, сокращения рождаются, живут, функционируют и умирают или становятся архаизмами. В течение своего существования они претерпевают эволюцию, ассимиляцию, в процессе которой язык усваивает или отбрасывает некоторые сокращения, речевые и грамматические формы. А.П. Шаповалова в работе «Аббревиация и акронимия в лингвистике» пишет: «Как самые непосредственные и характерные продукты человеческого общества, сокращения развиваются, непрерывно изменяясь (например, переход буквенных инициальных аббревиатур в акронимы). Они отражают каждое изменение, происходящее в жизни людей, общества, как, например, развитие международной компьютерной сети, Интернета, межкультурной коммуникации, что сказывается на возникновении и развитии сокращений. Таким путем происходит заимствование сокращений, их интернационализация и появление новых аббревиатур» [Шаповалова, 2003, с. 262].

То, что немецкий язык переживает настоящий бум в части заимствования англо-американизмов, отмечалось исследователями неоднократно. В этом случае говорится о характерной устойчивой тенденции в развитии языка. Говоря об англо-американизмах, следует отметить, что в конце XX – начале XXI столетия на немецких граждан буквально

обрушился шквал заимствований из английского языка и его американского варианта, в различных проявлениях и в различные сферы жизнедеятельности немецкого общества. Так, в немецком языке прочно утвердились англо-американизмы *Teen, PR, IQ-Test, RNB, ICE, T-Shirt, Pay-TV, TV-Show, TV-Star, Actionfilm, Popstar, Bus-Party, DJ, VJ, Break, CD, DVD, MP3, HiFi, Hi-Tech, Navi-Handy, GPS, GPRS, WAP, USB, PIN-Code* и т.д.

По мнению О.Б. Паниной, инициальная аббревиация является повсеместным явлением: она наблюдается практически во всех языках. Что касается немецкого языка, то можно говорить о настоящей экспансии сокращений-англицизмов в области рекламы, техники, литературы, политики и других сфер общественной жизни Германии [Панина, 1987, с. 127]. В такой тенденции лингвисты видят опасность, поскольку немецкий язык может лишиться своей выразительности и экспрессивности.

Ученые пытаются выяснить пути и причины столь масштабного проникновения английской лексики в немецкий язык. Заимствованные сокращения всегда играли большую роль в развитии средств номинации в разных языках. Причины, по которым заимствуются сокращенные лексические единицы, могут быть внешними и внутренними. Основная внешняя причина появления заимствованных сокращений в современном немецком языке – тесные политические, военные, торгово-экономические связи между народами – носителями языков. Другая внешняя причина заимствования сокращений – необходимость обозначить с помощью иноязычного слова или его сокращенной формы какой-либо вновь появившийся специальный вид предметов, партии, организации или другие понятия. Так, заимствованная из английского языка аббревиатура ОИТ (Office of International Trade) – «Бюро международной торговли» – была создана в США, но используется и в Германии как название международной организации. Потребность в специализации наименований особенно актуальна в науке и технике.

Необходимость специализации заимствованных сокращений связана с одной из внутриязыковых причин заимствований, а именно, с присущей языку тенденцией ко все большей дифференциации языковых средств по смыслу, в результате которой значение, выражаемое русским словом, может разделиться на два, и одно из них получает иноязычную номинацию: страх – паника, уют – комфорт, рассказ – репортаж, сообщение – информация и т.п. Это же явление мы наблюдаем при использовании заимствованных сокращений, когда функционируют два варианта сокращения – заимствованное и исконное: Е.М.Ф.

(англ.) (European Motel Federation) и EFM (нем.) (Europäische Federation der Motels) – «Европейская федерация мотелей».

Другая внутриязыковая причина заимствования сокращений – тенденция к замене описательных наименований однословными. Так, в русском языке появились слова «бра» вместо «настенный светильник», «снайпер» вместо «меткий стрелок», «сейф» вместо «несгораемый шкаф» и др. При аббревиации – замене иноязычных длинных описательных наименований одним словом, представляющим собой буквенную инициальную аббревиатуру, состоящую чаще всего из трех-четырех букв-элементов, проявляется тенденция к экономии языковых средств: UFOlog (англ.) (UFO<Unknown Flugobjekt – «НЛО») – «уфолог» вместо «специалист, занимающийся изучением НЛО».

Заимствованные сокращения могут проникать в немецкий язык двумя путями: через устную и письменную речь. Главным условием заимствования сокращений является билингвизм говорящих, их способность переключаться с одного языка на другой в процессе общения. В этом отношении особая роль принадлежит некоторым социальным и профессиональным группам людей: дипломатам, переводчикам, журналистам, ученым, музыкантам и др. Иностранные слова часто имеют перед родными синонимами то преимущество, что аттестуют говорящего в социальном плане более высоко. С помощью таких слов человек утверждает свой культурный и общественный авторитет, заявляет свои претензии на культурное и деловое превосходство. Их употребление диктуется желанием подчеркнуть уровень информированности о новом, современном, технически приоритетном. Этот мотив может объяснить в ряде случаев переход от немецких наименований к английским. Из среды билингвистов иноязычное сокращение распространяется в другие социальные группы говорящих и в разные сферы устной и письменной речи.

В связи с усилением коммуникативной роли публицистики, языка науки, развитием средств массовой информации, телевидения, Интернета начинают преобладать заимствованные сокращения, проникающие в язык через письменные источники. Однако главной причиной проникновения англо-американских заимствований ученые считают назойливость рекламы на радио, телевидении и особенно в прессе, где люди постоянно сталкиваются с англо-американскими сокращениями.

На основании полученных нами данных в ходе исследования сокращенных лексических единиц общим объемом 14380 сокращений, применяемых в еженедельной газете «die Zeit» за 2007 год, являющейся одной из наиболее читаемых газет Германии, а также в немецких

теле- и радиопередачах «Deutsche Welle», можно сделать вывод о том, что из общего числа заимствованных сокращений (42,7%) англо-американские сокращения составляют 34,3%. Эти данные не являются угрожающими для немецкого языка, но, безусловно, значимы.

Таким образом, мы можем рассматривать немецкий язык как открытую языковую систему, адаптирующую иностранные сокращения в случае их функциональной пригодности.

Материалы нашего исследования позволяют предложить такую классификацию сфер функционирования англо-американских заимствований в прессе современного немецкого языка:

1. Экономика и финансы: *OIT (Office of International Trade), ANC, IMM, EEE, GATT, Berd, UEM.*
2. Социальная сфера, образование: *CTN, GG, POW, ETA, GSBA (Graduate School of Business Administration), IMPRS (International Max Planck Research School).*
3. Политика (названия политических партий, организаций): *UNO, UNESCO, NATO, NASA, UNICEF, UNIDO.*
4. Культура: *BBC, CNN.*
5. Музыка (названия музыкальных телеканалов, музыкальных групп, течений и направлений, оборудования и т.д.): *DJ, VJ, MTV, RNB, Popmusic, Break, CD, DVD, MP3, HiFi-Anlage, AC/DC, U2.*
6. Спорт (спортивные организации, клубы, инвентарь): *FIFA, UEFA, CIO.*
7. Здоровье, медицина, косметология (мед. препараты, заболевания, наркотические вещества, оборудование и т.д.): *Med (Medical Solutions), TB (Tuberculosis), BSE (Bovine Spongiform Enzephalopathy), AIDS, LSD (Lysergsäurediäthylamid), XTC (Ecstasy), BTS (Biomedical and Drug Administration), WHO (World Health Organization).*
8. Наука и техника (научные организации, достижения в области науки и техники, техническое оснащение и т.д.): *CEWS (Center of Excellence Women and Science), WFSW (World Federation of Scientific Workers), sci-fic (science fiction), I-CT DI- Dieseltechnik*
9. Названия торговых марок, концернов: *Clio&Co, A&D (Automation and Drivers), HP (Hewlett-Packard Development Company), Ben Q, METRO Group, Heider & Co., Ltd. (Limited), Patravi TravelTec GMT.*
10. Интернет технологии: *BOFH (Bastard Operator From Hell), 3D (three-dimensional), RAM (Random Access Memory), ROM (Read-Only Memory), LAN (Local Area Network), Kb (kilobyte), Mb (megabyte), Gb (gigabyte), www (world wide web), AMD (Advanced Micro Devices), DEC (Digital Equipment Corporation), MS-DOS (Microsoft Disk Operating Sys-*

tem), JPEG (Joint Photography Experts Group), GIF (Graphics Interchange Format), TIFF (Tag Image File Format), HTML (Hyper Text Markup Language).

11. Мобильные телекоммуникационные системы: SMS, E-Mail, phone, GPS, GPRS, WAP, Navi-Handy, PIN-Code и др.

Поскольку преобладающими при употреблении в речи являются инициальные буквенные сокращения, то естественно возникают такие вопросы, как правильное озвучивание и собственно «расшифровывание» их буквенных составляющих. Лавинообразное распространение сокращений приводит к таким явлениям, как наличие аббревиатур-дублетов: USA / VSA (Vereinigte Staaten von Amerika), аббревиатур-омонимов: Abc (Alphabet) / ABC-Waffen (atomare, biologische, chemische) / ABC-Staaten (Argentinien, Brasilien, Chile). Многочисленные сокращения в средствах массовой информации, особенно в прессе затрудняют понимание печатных текстов.

Все чаще англо-американские сокращения появляются в заголовках газетных и журнальных статей. Распространенность сокращений в газетных заголовках объясняется несколькими причинами: желанием воздействовать на читателя необычностью и экспрессивностью заголовка, привлечь внимание читателя и экономией места, например: «Anti-porno demo», «QS World MBA Tour In Frankfurt», «Neue Pop-CDs», «Taxi-Blues Cafe» [die Zeit, 26.04.07]. Краткость обеспечивается самой структурой сокращения, привлечение внимания – типографским способом. В заголовках применяются в основном всем известные и широкоупотребительные сокращения, для тех, кому смысл сокращения не известен, появляется дополнительный стимул для прочтения статьи.

Итак, основным источником распространения англо-американских сокращений являются средства массовой информации. В теле- и радиопередачах индекс разнообразия и количество сокращений ниже, используются, как правило, наиболее известные и часто употребляющиеся сокращенные лексические единицы, не требующие дополнительной информации для адекватного понимания, такие как US-Dollar, EU-Mitgliedsstaat, TV, UNO, Hi-Tech, UFO и др. Газеты часто отдают предпочтение новым языковым единицам, что обуславливает наличие расшифровки. Специфика функционирования сокращений на страницах периодических изданий отражает степень их развития. Особым индикатором ассимилированности сокращенных единиц выступает их употребление в заголовках.

## Литература

Дебов В.М., Скворцова М.А. Сложноинициальные сокращения в современном французском языке (на материале прессы). Иваново, 1999.

Панина О.Б. Мелиоративы-заимствования в современном французском языке: На материале «Словаря новых слов» Пьера Жильбера // Современный французский язык в его динамическом аспекте. М., 1987.

Шаповалова А.П. Аббревиация и акронимия в лингвистике. Ростов-на-Дону, 2003.

Ярмашевич М.А. Образование и функционирование аббревиатур в газетно-публицистическом и научном стилях. Саратов, 1990.

## СПЕЦИФИКА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЫ ПЕРИОДА ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ» (1953–1964 годы)

*А.В. Марущак*

**Ключевые слова:** публицистика, публицистический текст, хрущевская «оттепель», смысловывявляющий текст, трансцензус, очерк.

**Keywords:** publicism, publicistic text, The Khrushchev thaw, revealing text, transcensus, feature.

Период 50-х – первой половины 60-х годов XX века является исключительно важным в отечественной истории этапом, существенно повлиявшим на дальнейшее развитие государства и общества. «Оттепель» – именно так назвал данный этап нашей истории известный публицист И. Эренбург. В это время «... шаг за шагом складывались предпосылки духовного пробуждения страны. И оно вскоре началось. Началось так, как нередко случалось и раньше, и позже – с литературы и публицистики» [Арбатов, 1991, с. 20].

Актуальность темы данного исследования обусловлена интересом современной гуманитарной науки к публицистическим текстам определенной исторической эпохи (в данном случае – периода хрущевской «оттепели»), к особенностям их структурно-содержательного оформления в связи со своеобразием социально-политической ситуации в России.

Публицистика – это особый род творческой деятельности, которая организационно воздействует на текущие общественно-политические процессы. Предметная область публицистики – ситуации социальной реальности, содержащие в себе актуальные противоречия в основных сферах общественной жизни. Заклучая в себе конвенциональные нормы, она отвечает национальным и сословным традициям, определенной морали, мировоззрению, духовным ценностям, нормам этикета, обычаям. Иными словами, публицистика отражает социокультурный тип общества [Мельник, 2002, с. 25].

Новизна исследования заключается в том, что в нем выявляются основные факторы, способствовавшие бурному развитию публицистики в один из переломных периодов отечественной истории. Исследуется специфика публицистических текстов, ставших ответом на основные проблемы эпохи. Анализируется структура этих текстов, особенности форм художественной выразительности, методы публицистического отражения реальности, характерные для отечественной прессы середины XX века.

Кроме того, была предпринята одна из первых попыток использования экзистенциальной методологии для исследования новых черт, специфики и особенностей публицистических текстов. Реализация экзистенциальной методологии предполагает использование методов ретроспекции и персонализации, которые позволяют рассмотреть условия и жизненные обстоятельства, при которых было создано журналистское произведение, а также соотнести каждый публицистический текст с личностью конкретного Автора и Героя публикации. Экзистенциализм как философское течение получил признание к середине XX века, и, с нашей точки зрения, публицисты были с ним знакомы и, более того, опирались на его методологию при создании текстов.

Именно ради подтверждения последнего тезиса по типологическим характеристикам анализировались публикации 1953–1964 годов. Журналистские тексты рассматривались в гуманитарной парадигме как смысловывающие.

Библиография, посвященная анализу публицистических текстов, довольно обширна, так как тексты СМИ в последние годы являются объектом междисциплинарных исследований, проводящихся в рамках разнообразных научных направлений. Особенности публицистических текстов посвящены монографии основоположников теории публицистики В.В. Ученовой, М.С. Черпахова, И.В. Здоровеги, Е.П. Прохорова и др. Фундаментальных же исследований, посвященных исключительно анализу развития публицистики в 1950–60-х годов,

нет, исследуются лишь конкретные аспекты, что еще раз подтверждает актуальность выбранной темы.

В исследованиях последних лет (Г.С. Мельник [Мельник, 2002], Е.Е. Пронина [Пронина, 2006], С.К. Шайхитдинова [Шайхитдинова, 2004]) уточнены характеристики публицистического текста: это смысловывающий текст, который присущ гуманитарной парадигме мышления [Пронина, 2006, с. 215], а предмет отображения характеризуется социально-культурной синкретичностью [Шайхитдинова, 2004, с. 130].

Публицистический, смысловывающий текст раскрывает анализируемую ситуацию как пограничную (в соответствии с идеями экзистенциализма), чтобы, высвобождая аварийный потенциал психики, разблокировать глубинные механизмы самотрансценденции личности.

Квинтэссенция смысловывающего текста – трансцензус – момент, в котором в одну фокусирующую точку сходятся все, что необходимо и достаточно для восприятия факта или мнения в свете высших ценностей бытия и принятия свободного, но уже бесповоротного решения. Это своего рода трамплин, с которого мысль может взлететь, а может рухнуть, ключевой момент произведения, «пик творчества-в-процессе-коммуницирования». Он должен быть подготовлен всем строем текста, поддержан всеми его выразительными средствами. Е.Е. Пронина подчеркивает, что «мистики в «трансцензусе» не больше, чем в «конструкте». Это категория психотехническая, в том смысле, что представляет собою технологически фиксируемый в тексте реальный знак» [Пронина, 2006, с. 232] и, как правило, располагается автором в заголовке. Таков, например, заголовок «Свирепая добродетель» О. Чайковской («Известия» 29.08.62). Его текстообразующая роль в том, что он, возмущая лучшие чувства, связанные с такой ценностью, как «добродетель» («Как она может быть свирепой?»), вызывает желание досконально разобраться в аргументах автора и оскорбительных для человеческого достоинства фактах («Почему?») в предчувствии момента экзистенциального выбора («Оказывается, добродетель не всегда хорошо?!»).

Однако смысловывающий потенциал публицистического текста определяется не по формально-содержательным параметрам – они могут быть сколь угодно разнообразны, – а по коммуникативным принципам структурирования произведения и духовным интенциям, запечатленным в его словесно-образной ткани. В этом случае удастся описать вполне выполнимые для профессионала условия воссоздания трансцензуса в журналистском тексте.

Е.Е. Прониной были выделены типологические характеристики смысловывявляющего текста [Пронина, 2006, с. 251–252], которые по своей сути есть не что иное, как трансцендентные смыслы. Именно они являются тем фундаментом, на котором журналист «выстраивает» свой материал. В публикации они «зашифрованы», и задача проницательно-го читателя – за вербальными символами (формой отражения) увидеть эти смыслы и актуализировать их для себя.

Основные публицистические материалы эпохи хрущевской «оттепели» были развернуты по этой схеме. Наглядным примером могут служить очерки Татьяны Тэсс «Щедрость» («Известия» от 2.03.1961) и Евгения Богата «Скупой рыцарь» («Известия» от 5.08.1960). Можно выделить следующие 8 способов структурирования текстов.

### **1. Индивидуализация, противодействие массовизации и унификации личности**

В центре очерка Т. Тэсс два рабочих инструментального цеха, Петр Авдеев и Леонид Куропаткин, у Е. Богата – некий Владимир Николаевич, «маститый столичный архитектор», и его помощник, молодой начинающий градостроитель Олег. Своих героев авторы видят «внутренним зрением», они стремятся показать читателю их сущность, а не просто внешность, которая может оказаться обманчивой. А это, в свою очередь, органично вписывается в идеи экзистенциализма.

Е. Богат: (Олег о своем руководителе): *А вы, оказывается, поэт... А мы-то думали, вы сухой, точный, как логарифмическая линейка... Боялись идти к вам с фантазиями, или только с расчетами....*

Т. Тэсс: *Не сразу поймешь, откуда берется это ощущение сходства: у них различны и возраст, и внешность, и характер. <...> Их делает схожими выражение лица. Это выражение определяется, очевидно, внутренним состоянием человека во время работы.*

### **2. Освещение событий и явлений под знаком высших символических ценностей, символизация ключевых моментов жизни**

Обе публикации имеют образные заголовки. «Скупой рыцарь» ассоциируется с пушкинским произведением, что сразу придает тексту лирический оттенок, а «Щедрость» – это одна из высших ценностей. Кроме того, в двух текстах внимание читателей акцентируется на руках героев, которые предстают символами человеческого труда.

Т. Тэсс: *А тут всего лишь человеческие руки... Но это живые, теплые человеческие руки, руки творца. Руки, которые машина никогда не сможет полностью заменить, ибо машине дана способность выполнить, но не дан дар творить. И чем совершенней машина, тем*

*выше разум создавшего ее человека, тем искусней и прекрасней руки мастера.*

Е. Богат: *Его руки, сухие, с узкими пальцами, как бы источающие энергию, были безукоризненно точны, он не глядя находил нужный лист в ворохе чертежей.*

### **3. Противодействие хаосу и бессмысленности через демонстрацию конструктивной деятельности и поддержание веры в лучшие стороны человеческой природы**

И в той и в другой публикации герои показаны в неразрывной связи с делом, которым они занимаются. Процессы труда журналисты описывают так ярко, что читатель как бы сам становится их свидетелем и участником. «Видит» ювелирную работу слесарей-лекальщиков, изготавливающих металлические детали, которые «можно разглядеть только в лупу», и «силуэт города» в соответствии с разработанным макетом. И лишь когда герои рассказывают про свою работу, читатель видит их «истинное лицо».

Т. Тэсс: *Люди немногословные Авдеев и Куропаткин не любят рассказывать о себе... Но вот беседа касается дела, которое им дорого. Обстановка сразу меняется... И чем подробней они говорят, тем яснее пропускает то, чего оба они не касаются ни фразой, ни словом. Это высокая рабочая честность и какая-то удивительная целомудренная чистота в отношении к своему труду, своему ремеслу, своему заводу.*

Е. Богат: (после неожиданно живописного описания архитектурного силуэта будущего города руководителем группы): *Молодой архитектор взглядывался во Владимира Николаевича, изумленно наморщив лоб, полуоткрыв пухлые губы, точно перед ним стоял совершенно незнакомый, безумно интересный человек, который вот-вот исчезнет...*

### **4. Переосмысление утраченных ценностей и восхождение к высшим ценностям**

Этого авторы достигают, используя цитаты. Они вплетают в структуру своих текстов образные высказывания других авторов. Метафорические и философские цитаты делают произведения публицистов глубже. Актуальность и сиюминутность, свойственные газетным материалам, соединяются, таким образом, с многовековыми историческими мотивами. Авторы перекидывают мостик в прошлое, включают творчество современных мастеров в процесс культурно-исторической преемственности.

Т. Тэсс: *Вы вспоминаете поговорку: «Поезд доходит до конечной станции не потому, что идет быстро, а потому, что идет непрерывно»; золотые руки.*

У Е. Богата в качестве эпиграфа приводится цитата из М. Горького: *...Земля должна быть ограничена трудом людей, как драгоценный камень.* Главный герой Владимир Николаевич сравнивается с пушкинским Скупым рыцарем. Кроме того, в тексте приводится цитата: *ряд волшебных изменений милого лица.*

### 5. Способность к ответственному личному выбору

Оба автора приводят примеры стойкости и мужества своих главных героев в чрезвычайных, нестандартных обстоятельствах, демонстрируя способность мгновенно делать выбор, брать на себя ответственность, не бояться заступиться за «слабого».

Е. Богат: на заседании архитектурного совета первоначальный проект города, составленный Олегом, был раскритикован, но Владимир Николаевич уверенно поднялся и заявил: *«Разбирая сильные и слабые стороны этой работы, лучше называть первой мою фамилию, как руководителя мастерской».* Именно за этот поступок его и прозвали «пушкинский рыцарь».

Т. Тэсс приводит эпизод из жизни Авдеева, где ее *спокойный, уравновешенный* герой, пришел в ярость, когда на его глазах охотник застрелил совенка, и начал кричать на него: *«Какое право ты имел убить совенка?».* Такая эмоциональная реакция была полной неожиданностью для всех его сослуживцев, но Тэсс резюмирует: *эти ярость и гнев были рождены добротой человека, не простившего другому злой след, оставленный на земле.*

### 6. Потребность в самоактуализации

И в том и в другом случае «я» публициста дается неназойливо, мягко, оно как бы сквозит за текстом, проглядывает из-за повествования как его лирическая первооснова. В то же время в этих произведениях очевидно авторское личностное начало, проявляющееся в ассоциациях и отношении к своим героям.

Т. Тэсс: *Что-то глубоко привлекательное есть в этих двух людях, в их молчаливой, спокойной силе, в их несговорчивой, угловатой скромности. И когда говорят о них на заводе, ощущаешь уважительность, которую вызывает в товарищах не только их труд, но и еще многое другое, что не так-то просто распознать.*

Е. Богат о своем первом, как оказалось в дальнейшем, ошибочном впечатлении, которое произвел на него Владимир Николаевич: *Я не-*

*волью подумал, что города, которые строит этот человек, должны быть так же скучны, как он сам.*

### 7. Предоставление права читателю самому судить и совершать выбор

Оба автора оставляют тему открытой, как бы призывая читателей самостоятельно домыслить сюжетную канву. И «Скупой рыцарь» и «Щедрость» заканчиваются вопросительными предложениями, на которые Тэсс и Богат предлагают ответить тем, кто читает эти строки.

### 8. Выявление экзистенциального смысла текущей действительности

Для публицистов действительность – это люди, и сущностный смысл она обретает только в непосредственной связи с ними. В очерках содержатся обобщения: *страна наша щедра на таланты* (Е. Богат), *людей с золотыми руками можно встретить на любом заводе* (Т. Тэсс). Через личные судьбы героев перед читателями раскрываются типичные положительные черты характера советских людей, достойные быть предметом подражания, ведь преодоление индивидуальных и массовых травматических переживаний, профилактика социальных стрессов достигается путем актуализации смыслов и ценностей.

Эти способы дают возможность через богатство личности конкретного человека показать устроение целой эпохи, общественные процессы. Перечисленные способы и есть специфика публицистических текстов периода «оттепели».

Таким образом, публицистика середины XX века, несмотря на свое тематическое разнообразие и идеологические препоны, предстает вмещением новых трансцендентных смыслов. Следует отметить ее осознанную попытку показать внутренний мир человека, независимо от того, какая сфера общественной жизни оказывалась в центре внимания редакционных коллективов.

Анализ публикаций по типологическим характеристикам показал, что тексты периода «оттепели» можно изучать с позиции гуманитарной парадигмы мышления, используя экзистенциальную методологию. Хотя с позиции сегодняшнего дня отдельные материалы воспринимаются как идеализация, в творчестве этих очеркистов нельзя не разглядеть человечности, которой недостает в СМИ сегодня.

Творчество-в-процессе-коммуницирования непрерывно ставит журналиста в ситуации, когда только от него зависит, мелькнет ли факт как проходная деталь событий или предстанет как трансцендент. При этом масса смысловывявляющих текстов в потоке публикаций –

мера качества рубрик, программ, проектов масс-медиа, а также творчества отдельных журналистов.

### Литература

- Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953–1985 гг.). Свидетельство современника. М., 1991.  
 Волковский Н.Л. Отечественная журналистика. 1950–2000 : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. СПб., 2006.  
 Журналисты XX века: люди и судьбы. М., 2003.  
 Мельник Г.С. Современная публицистика: смена духовных приоритетов // Акценты +, 2002, № 3–4.  
 Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. М., 2006.  
 Прохоров Е.П. Искусство публицистики. М., 1984.  
 Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель». М., 2002.  
 Стровский Д.Л. Отечественные политические традиции в журналистике советского периода. Екатеринбург, 2001.  
 Ученова В.В. Гносеологические проблемы публицистики. М., 1971.  
 Шайхитдинова С.К. Информационное общество и «ситуация человека». М., 2004.

### Источники

- Богат Е. Скупой рыцарь // Известия. 5.08.1960.  
 Тэсс Т. Щедрость // Известия. 2.03.1961.

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ В СПИСКАХ ПОВЕСТИ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ: СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

*О.А. Куба*

**Ключевые слова:** рукопись, лексическое варьирование, редакция, текстология, функциональные варианты, житие.

**Keywords:** manuscript, lexical variation, edition, textology, functional variants, life.

Наше исследование посвящено изучению языка и текста Повести о Петре и Февронии, памятника древнерусской письменности позднего периода. Это произведение имело длительную историю бытования, о чем свидетельствует большое число дошедших до наших дней списков.

Изучение Повести о Петре и Февронии началось в XIX веке в работах Ф.И. Буслаева, А.Н. Веселовского, В.О. Ключевского и других авторов. В результате литературоведческих исследований была установлена связь произведения с устным народным творчеством, определены фольклорные мотивы змеборчества и состязания в мудрости, которые лежат в основе повествования. Были проведены типологические параллели между Повестью о Петре и Февронии и Романом о Тристане и Изольде, западноевропейским средневековым произведением.

На современном этапе литературоведческое изучение памятника представлено книгой М.Б. Плюхановой «Сюжеты и символы Московского царства» [Плюханова, 1995], в которой Повесть о Петре и Февронии рассматривается как выражение теократического идеала Московской Руси, а герои произведения, соответственно, как идеальные правители Муромского княжества. В статье Ю.Г. Фефеловой произведение исследуется с точки зрения символики свадебного обряда [Фефелова, 2005].

Как и любой другой памятник средневековой письменности, Повесть о Петре и Февронии изучается разными филологическими науками: литературоведением, текстологией и лингвистикой. Учеными-текстологами установлены три основные редакции. Возникновение Второй редакции памятника связывается с его приближением к житийному канону, поскольку, как известно, митрополит Макарий не включил первоначальный вариант произведения в состав Великих Миней четий из-за значительных расхождений с каноном [Повесть о Петре и Февронии, 1979, с. 6].

Помимо литературоведческих и текстологических исследований, посвященных Повести о Петре и Февронии, существуют лингвистические работы, в которых языковой материал памятника привлекается для характеристики грамматической нормы древнерусского литературного языка в определенный период его истории [Ремнева, 2003]. Однако до настоящего времени списки трех редакций Повести о Петре и Февронии не анализировались на лексическом и грамматическом уровнях в их взаимосвязи, то есть не определялись направления в преобразовании языка произведения, обусловленные его жанровой (житийной) спецификой, а также закономерностями книжной нормы.

Для решения поставленной задачи мы используем лингвотекстологический метод, основные принципы которого разработаны Л.П. Жуковской. Данный подход был применен при исследовании славянских переводов Священного Писания [Жуковская, 1976]. Лингвотекстологический анализ заключается в интерпретации разночтений,

полученных в результате сопоставления нескольких списков памятника. Он состоит из нескольких этапов: пословного сличения списков, выявления разночтений на общем стабильном фоне, установления причин появления замен в текстах, определения направлений в преобразовании языка памятника посредством объединения разночтений в группы по какому-либо признаку.

В качестве материала для сопоставления на данном этапе мы используем фотокопии 10 рукописей из собрания Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург): а) списки Первой редакции: собр. Соловецкого монастыря, № 287/307, собр. Погодина, № 642, собр. Погодина, № 654, собр. Погодина, № 820, собр. Погодина, № 892, Q.I.377; б) списки Второй редакции: собр. Кирилло-Белозерское, № 180/437, ОЛДП Q.688, Q.XVII.35, собр. Титова № 2478. Эти рукописи были созданы в различных книжных центрах Древней Руси (Соловецком монастыре, Кирилло-Белозерском монастыре и др.) в XVI–XVIII веках.

Проблематика нашего исследования определена областью исторического языкознания (историей русского литературного языка), в рамках которой исследуется язык отдельных памятников письменности. Поскольку в истории русского литературного языка в качестве определяющего плана исследования выступает план употребления языка, а языковые единицы рассматриваются как компоненты текста, в основе нашей работы лежит системно-функциональный подход к интерпретации языковых фактов. Такой подход позволяет решить несколько проблем: во-первых, установить зависимость между жанровой спецификой памятника письменности и преобразованиями его языка на лексическом и грамматическом уровнях, то есть определить функциональный статус в Повести о Петре и Февронии тех языковых элементов, которые являются традиционными для церковнославянской формы языка и определяют житие как жанр средневековой книжности; во-вторых, с помощью контекстуального анализа выявить причины сближения слов, которые в древней языковой системе характеризуются разными значениями; в-третьих, проследить закономерности реализации нормы церковнославянского языка в списках исследуемого памятника письменности.

Важное направление лексического варьирования в списках Повести о Петре и Февронии представляют лексические замены, мотивированные житийной спецификой произведения. В словообразовательных отношениях находятся заменяющиеся слова **мѣдрость** – **прѣмѣдрость**, **блаженнии** – **прѣблаженнии**, **грѣшнии** – **прегрѣшнии**, где производное с приставкой **пре-** содержит дополнительные (высо-

кие, книжные) коннотации по отношению к мотивирующему. Это связано с особым функциональным статусом префикса **пре-** в памятниках церковнославянской книжности. Такие разночтения являются элементами житийной топики, проявления которой активно изучаются в современной медиэвистике. На наш взгляд, лексическую замену **грѣшнии** – **прегрѣшнии** можно квалифицировать как элемент авторской топики, так как в данном случае проявляются все основные признаки житийного топоса: закрепленность за определенным элементом композиции памятника (похвала святым), устойчивость, повторяемость и действенность [Руди, 2005, с. 62].

Как уже отмечалось, лексические замены, обусловленные жанровой спецификой памятника, могут находиться в отношениях функционального варьирования. Функциональные варианты – это особый тип лексических разночтений. По словам Л.Г. Панина, с точки зрения лексико-семантической системы древнерусского языка они не являются регулярными, тогда как в памятниках церковнославянской тематики отношения между ними регулярны и закономерны [Панин, 1995, с. 157]. В Повести о Петре и Февронии функциональное варьирование отразилось в следующих заменах слов. Прилагательные **святъи** – **пречистъи** – **пресвятъи** функционируют в тексте памятника в качестве эпитетов Богородицы в составе названия муромской церкви. Функциональные варианты **дѣвица** – **богородица**, зафиксированные в списках Повести о Петре и Февронии, также относятся к деве Марии в церковнославянской форме языка. В отношениях функционального варьирования находится еще одна пара заменяющихся слов: **ѡчїи** – **вожїи**. При употреблении слова **ѡчїи** имеется в виду Бог-Отец как одна из ипостасей Святой Троицы. Варианты **преподовнии** – ‘праведный, непорочный, соответствующий христианскому идеалу’, **предивнии** – ‘вызывающий удивление и восхищение; дивный, диковинный’ и **благовѣрнии** – ‘исповедующий истинную веру; благочестивый’ в тексте произведения являются эпитетами Февронии.

Одной из центральных проблем, возникающих при исследовании памятника письменности по нескольким спискам, является установление причин контекстного сближения заменяющихся слов. Контекстуальные синонимы в лексико-семантической системе древнерусского языка имеют разные значения, но в определенных фразах сближаются, так как соотносятся с одним и тем же объектом действительности, характеризуя его с разных сторон [Шелепова, 1992, с. 31]. Материал списков Повести о Петре и Февронии позволяет выделить контекстуаль-



ные синонимы, обусловленные гипонимическими отношениями (**быти** – **жительствовати**, **избѣжити сѧ** – **изрѣбити сѧ**, **сотворити** – **истѣсати**), а также отношениями лексической конверсии (**привести в разѣмъ** – **прѣити в разѣмъ**). Контекстное сближение слов может также происходить на основе метонимической связи по модели с типовым значением «целое – часть»: **и-фиръ** – **светъ** – **лѣчь** и **оумъ** **человеческии** – **человечество**. В изучаемых списках наблюдаются так называемые логико-ситуативные синонимы, мотивированные логикой повествования: **встрѣплѣнныи** – **окровавлѣнныи** и **бѣдѣщее** – **бывшее**. По словам Л.Г. Панина, характерным признаком контекстуальных и логических синонимов является их авторская (редакторская) индивидуальность [Панин, 1995, с. 160], что в полной мере отразилось в замене слов **бѣдѣщее** – **бывшее**. При употреблении в рукописи Пог-642 слова **бывшее** – ‘происшедшее, случившееся’ имеется в виду отказ князя Петра быть самодержцем. Слово **бѣдѣщее** – ‘будущее; то, что должно наступить’, напротив, обозначает последовавшую за уходом Петра и Февронии из города борьбу вельмож за княжеский престол. Поскольку эти события находятся в причинно-следственной связи, на уровне описываемой ситуации становится возможной замена антонимов. Таким образом, личность составителя списка Пог-642 выразилась в сознательной содержательной правке контекста, основанной на четком представлении о сюжетосложении в Повести о Петре и Февронии.

Вариантные отношения в древнерусском литературном языке отражают синонимы, лексико-морфологические и лексико-словообразовательные варианты. Синонимическое варьирование в некоторых случаях является следствием объективных процессов, происходивших в лексико-семантической системе древнерусского литературного языка. Это выражается в заменах слов, противопоставленных как книжное и разговорное, литературное и диалектное. Так, в разных фрагментах Повести о Петре и Февронии наблюдаются замены глаголов **лапати** – **брехати** и причастий **лаюции** – **брешѣции**. Б.А. Ларин, рассматривая лексику «Слова о полку Игореве», квалифицирует глагол **брехати** как украинизм и отмечает, что данное слово в значении ‘лгать’ широко употребляется в современных украинских говорах [Ларин, 1975, с. 158]. Примером противопоставления книжного и разговорного вариантов является замена слов **братисѧ** – **дратисѧ**, зафиксированная в списке Тит-2478. В большинстве случаев наблюдается синонимическое варьирование слов на основе регулярных связей в лексико-семантической системе: **прозрѣнїе** – **прооувѣденїе**, **земла** – **область**,

**мольба** – **молитва**, **срѣти** – **видѣти**, **создати** – **сотворити** и др. Особую группу синонимов в списках исследуемого памятника составляют замены по типу «фразеологизм – фразеологизм» (**ѡити житїа** – **прѣставитисѧ отъ житїа**, **срѣти в нави** – **смотрети в нави**), а также замены по типу «фразеологизм – слово» (**внати во оумъ** – **разѣмѣти**).

Лексико-морфологическая вариантность представлена в списках Повести о Петре и Февронии случаями варьирования существительных по числу: **помыслъ** – **помыслы**, **ѡветъ** – **ответы**, **заповѣди** – **заповѣдь**. Как правило, подобные лексико-морфологические замены не приводят к изменению смысла контекста, так как варьируются существительные с отвлеченной семантикой. Лишь в одном случае в списках Повести о Петре и Февронии (**сѣды** – **сѣдно**), на наш взгляд, изменении семантики фразы вследствие мены по числу, так как существительное **сѣдно** имеет конкретную семантику. Следовательно, данное разночтение должно быть интерпретировано как содержательное лексическое различие.

Лексико-словообразовательные варианты делятся на три группы: а) заменяющиеся слова, образованные разными способами словопроизводства (**грѣшныи** – **грѣшникъ**, **оутре** – **заутра**); б) варианты, которые находятся в словопроизводственных отношениях (**гдѣ** – **ядание**, **сѣпрѣжникъ** – **сѣпрѣгъ**, **дати** – **воздати**); в) заменяющиеся слова, которые характеризуются разными словообразовательными формантами одного уровня (**оучати** – **начати**, **послати** – **розослати**, **непригазныи** – **непригазненыи**). Если рассматривать все перечисленные варианты замены с точки зрения процесса редактирования Повести о Петре и Февронии, можно утверждать, что они не только отражают регулярные отношения в лексико-семантической системе, но и являются показателями языковой компетенции книжника-составителя определенного списка.

В дальнейшем мы планируем привлечь материал списков из собрания Библиотеки РАН (Санкт-Петербург), определить тенденции в преобразовании языка памятника на грамматическом уровне и таким образом осуществить комплексный (многоуровневый) анализ вариантов явлений в списках Повести о Петре и Февронии в системно-функциональном аспекте.

## Литература

- Жуковская Л.П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.
- Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII века). М., 1975.
- Панин Л.Г. История церковнославянского языка и лингвистическая текстология. Новосибирск, 1995.
- Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995.
- Повесть о Петре и Февронии / Подгот. текстов и исслед. Р.П. Дмитриевой. Л., 1979.
- Ремнева М.Л. Пути развития русского литературного языка XI–XVII вв. М., 2003.
- Руди Т.Р. Типика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: исследования, публикации, полемика. СПб., 2005.
- Фефелова Ю.Г. Повесть о Петре и Февронии в контексте традиционной обрядовой практики // Русская агиография: исследования, публикации, полемика. СПб., 2005.
- Шелепова Л.И. Лексические разночтения в Прологе (на материале списков XII–XVII вв.). Барнаул, 1992.

## АНТИЧНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ГУМИЛЕВА

*Ю.Б. Бакулина*

**Ключевые слова:** античный, мотив, традиция, творчество, поэзия.

**Keywords:** antique, motive, tradition, creativity, poetry.

В настоящее время в литературоведении актуализировался духовный подход к изучению личности и творчества Н.С. Гумилева. Так, И.В. Делиг отмечает: «... Человек рождается, чтобы войти в земную действительность <...> Он осознает, что его истинное прибежище – это астральный мир, сверхмир» [Делиг, 2005, с. 51]. Исходя из понимания личности Гумилева как *странника духа*, мы можем определить его творческий путь как процесс познания мира вечного, воплощением которого у лирика нередко выступает античность. Цель статьи – анализ античных мотивов и образов, а также определение их роли и места в творчестве Гумилева, что выводит нас непосредственно на весьма актуальную в литературоведении проблему взаимосвязей русской и зарубежной традиций.

Античные стихотворения Гумилева связаны с мотивом *земного мира*, мотивом *духовного поиска*, *героическими* мотивами. В его лирических произведениях представлены образы духовного героя, героя земного мира, героической личности. Античные мотивы и образы – ключ к пониманию мироощущения Гумилева, лирический герой которого стремится к совершенству, то есть к обретению стадии богочеловечества через совершение героических подвигов, подобных подвигам Ахилла, Геракла, Одиссея. Гумилев воспринимает античность как борьбу и синтез трех начал: земного, духовного и героического. Это те три взаимосвязанных элемента, которые составляют концепцию античности в творчестве Н.С. Гумилева и определяют внутренний мир его лирического героя и лирических персонажей. Особенно значима в этой триаде гумилевская интерпретация духовности.

Духовность – понятие, ставшее принадлежностью христианской культуры и христианской этики. Однако, несмотря на мозаичность взглядов и мышления Гумилева (который интересовался и буддизмом, и суфизмом, и католицизмом), мы должны помнить, что базисом нравственного самоопределения его личности было православие как часть христианства. Даже античные герои для Гумилева являются не только постигающими субъектами, но и стремящимися к отвержению земной жизни и познанию духа странниками. Так, наряду с мотивом *духовного странничества* (или поиска) в творчестве поэта звучит и варьируется мотив *земной жизни*.

Мы говорим именно о мотивах, а не темах, поскольку мотив – основополагающее структурообразующее средство в творчестве Гумилева. Вслед за Л.В. Чернец мы определяем мотив как комплекс идей, варьируемых в лирике и драматургии поэта: «В лирическом произведении мотив – прежде всего повторяющийся комплекс чувств и идей, выраженных в художественной речи» [Чернец, 2006, с. 234]. Говоря об эволюции мотива духовного поиска (странничества) в античных стихотворениях поэта, мы должны отметить основные «точки» развития этого странничества. Его обусловили следующие творческие моменты: раннее увлечение Гумилева символизмом и восприятие души и тела, земли и неба, бога и дьявола как двух сторон одной медали (сборники «Путь конквистадоров» и «Романтические цветы»); интерес к символизации, к образу «сильной личности» (такой, как Каракалла или Помпей); усиление акмеистских элементов в творчестве поэта, то есть живописного начала, детализации, тяготения к прямому значению слова, к гармонии души и тела (книги «Жемчуга» и «Чужое небо»); осознание своей духовной «основы» – православия («Шатер» и «Огненный

столп»). Если мы говорим о мотиве духовного странничества, то должны выделить в творчестве Гумилева и духовный античный образ, то есть тип личности, стремящейся к познанию инобытия (или вечности) и ставящей конечной целью своей жизни эволюцию человека в богочеловека, которая осуществляется в процессе постижения, сохранения и развития духовной сущности «я». Основной способ познания для духовного античного героя – это интуиция и постижение внеземного состояния, погружение в мир, пограничный между реальностью и сном, жизнью и смертью. Таков Актеон из одноименной пьесы:

Я буду спать, не закрывая глаз,  
И, может быть, проснусь наутро богом.

[Гумилев 1991, с. 377]

Мифологический сюжет о нем художественно разработан в поэме Овидия «Метаморфозы». Гумилев неоднократно обращался к ней как к источнику вдохновения, о чем свидетельствует, например, В.К. Лукницкая: «Во время путешествия в Италию Гумилев не раз перечитывал поэму Овидия “Метаморфозы”» [Лукницкая, 1988, с. 189]. И.В. Бабичева, анализируя сюжет Овидия об Актеоне, приходит к выводу, что у древнего автора нет и тени намека на вину героя [Бабичева, 1995]. Действительно, Овидий пишет:

Первым внук тебе, Кадм, средь столь великого счастья,  
Горя причиною стал...  
*Не преступленья его; ибо в чем преступленья ошибки?*

[Овидий, 1983, с. 148]

Римский автор говорит, что лишь после смерти к человеку приходит долгожданное успокоение, а земная жизнь – череда ошибок и случайностей. У Гумилева в его драме «Актеон» имеют место две трактовки гибели персонажа – вина и ошибка, причем преобладает вина: герой намеренно стремится к богочеловечеству, но путь постижения требует труда, подвига, преодоления своих земных инстинктов, а он избирает только путь созерцания, что неприемлемо для Гумилева.

Мотив земного мира, являющийся антитезой мотиву духовного странничества, связан с образом «дома души», своеобразного «рая», в котором духовное и телесное еще не разделены, но индивид уже бессознательно отвергает свою основу, то есть земной мир. Нам снова необходимо отметить синтез христианских и античных мотивов, поскольку образ земного «рая» присутствует в Библии, а представление о гармонии души и тела свойственно именно античной культуре. Мотив земного мира в творчестве поэта эволюционирует

следующим образом: если в ранних сборниках представлено восприятие земного мира как антитезы миру небесному, как брэнного начала, то в поздних книгах появляется осмысление земного бытия как прообраза вечного, и земля воспринимается «звездой, огнем пронизанной насквозь» [Гумилев, 1991, с. 248].

Мотив земного мира связан с образом земного героя, для которого важнейший способ постижения уже не интуиция и не воссоздание облика мирового пространства в пограничном состоянии, а гармоничное, умиротворенное единение с природой. Героиней земного мира является дриада (из стихотворения «Песня дриады»), которая, стремясь, как бабочка на свет пламени, к некому возлюбленному «принцу огня» [Гумилев, 1991, с. 148], покидает родное пространство леса:

Как горит твой алый камзол,  
Как сверкают милые очи,  
Я покину родимый дол,  
Я уйду от лобзаний ночи.

[Гумилев, 1991, с. 148]

Как синтез духовного и телесного предстает у Гумилева героическое начало. Говоря об общей эволюции античных героических образов и мотивов в его творчестве, нужно отметить тот факт, что в ранней, символистской лирике поэта мы обнаруживаем интерес к образам римских императоров: умиротворенному, постигающему вечность мирозерцателю Каракалле; готовому спокойно, с чувством собственного достоинства принять смерть Манлию. Этот интерес связан с увлечением символистской теорией сильной личности, способной даже к преодолению смерти. В более же зрелой поэзии Гумилев усиливает мотив духовного странничества, интерпретируя образ Одиссея как образ вечного странника. Персонаж земного мира живет бессознательно, своими телесными устремлениями; духовный герой так же бессознательно хочет познать вечный мир; героическая личность *сознательно* ощущает свою сопричастность бытию духовному, преодолевает свои боль, страх смерти через подвиг, выделяет свое «я» из окружающего мира. В этом отношении героическая личность в поэзии Гумилева соотносится с эпическим героем гомеровского типа. И.В. Шталь отметила черты характера, которые присущи эпическому персонажу: эпический гнев, храбрость, сила, доблесть [Шталь, 1975, с. 87–144]. Однако, если эпический герой Гомера не стремится к постижению духовного, то гумилевская героическая личность «одержима» познанием. Гумилев неоднократно обращался к образам и мотивам поэм Гомера. А.А. Ахматова

свидетельствовала: «Война для него (Гумилева. – Ю.Б.) была эпосом, и на войну он взял «Илиаду» [Ахматова, 2006, с. 305].

Любимые героические личности Гумилева – Ахилл и Одиссей. Написанный поэтом от лица Одиссея лирический цикл «Возвращение Одиссея», объединенный образом главного героя, темой духовного поиска и включающий в себя три стихотворения («У берега», «Одиссей у Лаэрта», «Избиение женихов»), рисует образ Одиссея как чуждого своей семье (живущей только земными устремлениями) странника, покидающего в итоге дом. Основными способами создания образа Одиссея, способного во имя познания и на преодоление смерти, поэт серебряного века избирает монолог и авторскую характеристику. Цель путешествия Одиссея у Гомера – *отмолить грехи*; цель странничества персонажа у Гумилева – *познать мир духовного* и в конечном счете *стать «человекобогом»*.

У Гомера Ахилл – «гневный сердцем герой». Сущность конфликта между Агамемноном и Ахиллом (с этого момента и начинается «Илиада» Гомера) состоит в несовпадении жизненных принципов того и другого. Агамемнон желает властвовать и отнимает захваченную Ахиллом пленницу. Ахилл воспринимает этот поступок как грубое умаление его чести, вопиющее попрание справедливости: Брисеида была заслуженной наградой Ахиллу за его воинскую доблесть. Поэма Гомера и начинается с эпизода столкновения интересов личности (осознавшей свою ценность, значимость) и общества, которому личность должна была подчинять свои интересы. По словам Ахилла, у Агамемнона нет должного (справедливого, прежде всего) отношения к воинам:

Равная доля у вас нерадивцу и рьяному в битве;

Та ж и единая честь воздается и робким и храбрым;

Все здесь равно, умирает бездельный и сделавший много!

[Гомер, 2001, с. 145]

Приемами создания образа Ахилла у Гомера служат эпитеты (благородный, быстроногий, бессмертным подобный, могучий), сравнения (например, Ахилл сравнивается с разъяренным львом во время битвы), внутренний монолог, система двойников (Патрокл – двойник Ахилла).

В стихотворении Гумилева «Ахилл и Одиссей» Ахилл показан сделавшим выбор, но мучающимся отступником, бросившим корабли ахейян. Главными способами создания этого образа становятся монолог и детализация. Вот что герой говорит Одиссею сам о себе:

Брось, Одиссей, это стоны притворные,  
Красная кровь вас с землей не разлучит,  
А у меня она страшная, черная,  
В сердце скопилась и давит и мучит.

[Гумилев, 1991, с. 314]

Анализируя античные мотивы и образы в творчестве русского поэта, мы пришли к выводу, что основу его античных произведений составляют диалектическая борьба и единство трех начал: земного, духовного, героического. Мы выделили три основных мотива: мотив земного мира, мотив духовного странничества и героический мотив как синтез двух предыдущих. Мы выявили три типа античных персонажей в творчестве поэта: герой земного мира, духовный герой, героическая личность. Анализ античных мотивов и образов выводит нас на уровень определения особенностей художественного мышления Гумилева и специфики поэтики его произведений, синтезировавших в себе черты как символизма, так и акмеизма.

### Литература

- Ахматова А.А. Стихотворения. Воспоминания. М., 2006.  
 Бабичева Ю.В. Эволюция жанров русской драматургии XIX–XX вв. М., 1995.  
 Гомер. Илиада. М., 2001.  
 Гумилев Н.С. Сочинения : в 3 т. М., 1991. Т. 1.  
 Делиг И.В. Духовное странничество Н.С. Гумилева. М., 2005.  
 Лукницкая В.К. Материалы к биографии Гумилева. Тбилиси, 1988.  
 Овидий. Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии. М., 1983.  
 Чернец Л.В. Введение в литературоведение. М., 2006.  
 Шталь И.В. Гомеровский эпос. М., 1975.

## ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИМЕН В ЛИРИКЕ А.А. АХМАТОВОЙ

*Т.А. Самсонова*

**Ключевые слова:** литературные имена, художественный, текст, лирика, А.А. Ахматова.

**Keywords:** literary name, artistic text, lyric poetry, A.A. Akhmatova.

Исследования по проблеме авторской номинации героев художественных произведений проводили многие литературоведы (М.С. Альтман, М. Горбаневский, Э.Б. Магазаник и др.). Проблема ономапоэтики в лирическом тексте на их фоне выглядит недостаточно изученной. Между тем именно в лирике имя собственное актуализируется на всех своих уровнях и играет самую значительную роль (по сравнению с прозаическими и драматическими произведениями) в организации многоплановости лирического текста. Имя в поэзии, как и в любом художественном тексте, является важным элементом художественной системы, все факты и уровни которой соотносятся между собой. Изучать их нужно не по отдельности, а в их непосредственной связи в системе художественного текста, а также с учетом их роли в создании «общей образности» [Фонякова, 1990, с. 25] всего произведения.

Имя персонажа, вводимое в лирический текст, имеет бóльшую, по сравнению с другими родами литературы, семантическую и информационную насыщенность. Любое слово в поэтическом произведении приобретает информационную значимость, трансусугубляется законами поэтических жанров и раскрывается сразу на нескольких уровнях: смысловом, фонетическом, ассоциативном. Это и понятно – каждое слово, каждый фрагмент речи должны «работать» на полную мощь, чтобы в небольшом по объему произведении выстроить полноценный образ. И основная – номинативная – функция (называние героя) отходит на второй план, отдавая главенство функции художественной. Говоря о литературных именах в текстах А.А. Ахматовой, мы имеем в виду и имя героя-персонажа, и имя его автора-создателя, а также упоминание имен (собственных и персонажей) других художников слова. Литературные имена в лирическом произведении становятся значимым художественным образом.

В лирике Ахматовой художественная функция литературного имени выражается очень отчетливо. О. Обухова пишет: «Поэтически

стабильные образы-клише, гении прошлого, друзья и недруги настоящего: интимно-личное, исторически-великое – все это живет и дышит в стихах Ахматовой» [Обухова, 2007]. Включение в лирическое произведение имен литературных персонажей и их создателей вообще является одной из ярких особенностей лирики. Литературные реминисценции являются важной частью творчества Ахматовой. Это можно объяснить и традициями акмеизма, когда художественный текст воспринимается как часть единого мирового культурного пространства, открытой системой, вобравшей в себя огромный пласт мировой культуры и отдельные его составляющие. Это можно объяснить и особенностью ахматовского восприятия, которое основывается на «памяти культуры» [Бурдина, 2002, с. 8] и органично сочетает мировое культурное наследие и новаторские литературные приемы, когда «ономапоэтика имен героев и персонажей должна быть дополнена ономапоэтикой автора, которая обуславливается его авторефлексивностью и степенью рефлексии над произведением и словом» [Мароши, 2000, с. 7]. Отсюда и необычайное обилие хорошо известных литературных героев и имен их авторов на страницах лирики Анны Андреевны Ахматовой. Для нее эти герои – хорошие знакомые, обладающие определенным характером, манерой поведения. Включая их имена в свои произведения, она создает художественные образы, ориентированные на литературную традицию, но в то же время по-своему оригинальные.

Прием перенесения в текст стихотворения имен известных литературных персонажей из ранее опубликованных произведений и имен писателей «позволяет закрепить в читательском сознании определенные сходные черты лирических образов, позволяет заранее “предугадать”, в соответствии с авторским замыслом, наиболее яркие и выразительные элементы характера, поведения или внешности лирического героя» [Фонякова, 1990, с. 42]. Он служит для создания художественного фона произведений, для характеристики героев и эпохи – как связующее звено, символизирующее определенный период времени и др.

Шекспировских героев можно встретить уже в первом лирическом сборнике Ахматовой. Небольшой цикл «Читая “Гамлета”» (всего два стихотворения) в новом преломлении раскрывает перед нами образ Офелии. Интересно, что самого имени «Офелия» в стихах нет, однако мы легко можем понять из контекста, кто является героиней произведения. Офелия Анны Ахматовой – обычная девушка: она непосредственна в общении, беззаботна, слегка ветрена. Она не обижается на «речь» своего принца, предложившего ей выбрать между монастырем и браком с «дураком». Героиня легко находит этим словам житейское

оправданье: «Принцы только такое всегда говорят» [Ахматова 1998, т. I, с. 16]. Однако ахматовская Офелия далеко не наивна в любовных делах. Она очень тонко подмечает, как преобразился ее принц, когда она нечаянно (а может быть, и специально) назвала его на «ты»: «От подобных оговорок / Всякий вспыхнет взор...». Но тут же отнимает у влюбленного надежду: «Я люблю тебя, как сорок / Ласковых сестер» [Ахматова 1998, т. I, с. 16].

Рассматриваемый цикл носит название «Читая “Гамлета”», и становится ясно, что произведение Шекспира – «отправная точка» в сложной цепи авторских ассоциаций. Эти стихотворения написаны в 1909 году, во время «сложного» романа Ахматовой и Н. Гумилева (о чем неоднократно писала и сама Анна Андреевна, и ее современники и биографы). И нетрудно предположить, что их реальные отношения Ахматова «спроецировала» на героиню своих стихотворений. Ее Офелия – не просто лирическая калька из шекспировской драмы. Оба стихотворения написаны от первого лица, что дает нам основание предположить, что Анна Андреевна «примерила» этот образ на себя. Вообще, для Ахматовой характерно такое отождествление своего лирического «я» с литературными, мифологическими, фольклорными героями. «Именно поэтому столь органично, столь естественно вписываются все эти «двойники» автора – «вечные» образы мифа и мировой литературы – в современный контекст. Подобный уровень обобщения позволил Ахматовой пропустить через себя и страшные судьбы своих современниц», – считает С. Бурдина [Бурдина, 2002, с. 150].

Именно с образом Офелии связана известная ахматовская маска – «сумасшедшая». В страшные времена разрушения привычного миропорядка, глобальных социальных, политических и культурных потрясений мотив сумасшествия прочно обосновался в ахматовских произведениях:

Любо мне, городской сумасшедшей,  
По предсмертным бродить площадям.

[Ахматова, 1998, т. I, с. 456]

Ахматовская героиня в разрушенном войной городе, в тюремных очередях беспокоится за свой рассудок: «Но где мой дом и где рассудок мой?» [Ахматова, 1998, т. I, с. 460], «Прислушиваясь к своему / Уже как бы чужому бреду...» [Ахматова, 1998, т. I, с. 477]. Даже трагический конец Офелии – ее самоубийство, по мнению Ю.В. Шевчук, становится ярким образом в стихотворении «Август 1940»: «Судьба утопленницы Офелии – олицетворение неизбежного конца любой эпо-

хи. Источником трагической тональности стихотворения становится глубоко личное переживание героиней того факта, что не успевшие умереть со своим поколением обречены на преодоление пустоты, на бездомность в новом времени» [Шевчук, 2004, с. 123].

Новые испытания, выпавшие на долю ахматовского поколения с началом Второй мировой войны, оставили в душе поэта еще большие потрясения. В стихотворении «Лондонцам» вереница шекспировских образов встает как «культурная память», связующее звено настоящего грозного мира с традициями прошлого, с историей. Эта связь с культурным слоем предшествующих поколений помогает Ахматовой осознать происходящее, дает ей опору, позволяет ей преодолеть страх и отчаяние. Гамлет, Цезарь, Лир, Джульетта, Макбет – не просто литературные имена, это уже символы, поэтические воплощения великих эпох и великих страстей. Лирические судьбы этих героев трагичны и печальны. Это одни из самых «сильных» образов в мировой литературе, их художественные судьбы – череда серьезных потрясений, потерь. Но настоящее кажется Ахматовой настолько ужасным и пугающим, что она согласна поменять его на судьбу любого из этих героев:

Лучше сегодня голубку Джульетту  
С пеньем и факелом в гроб провожать,  
Лучше заглядывать в окна к Макбету,  
Вместе с наемным убийцей дрожать...

[Ахматова, 1998, т. I, с. 484]

А реальные события кажутся ей еще более страшными: «Только не эту, не эту, не эту, / Эту уже мы не в силах читать!» [Ахматова, 1998, т. I, с. 484].

«Вечные» образы культуры, представленные литературными персонажами и именами знаменитых поэтов и писателей – Пушкина, Данте, Шекспира, Достоевского, – позволили Ахматовой связать прошлое и настоящее, найти точку опоры в разрушающемся мире, предугадать, в какой-то мере, развитие событий. «Население» собственных произведений литературными персонажами дает Анне Андреевне возможность показать непрерывность хода истории и позволяет надеяться на временность социальных бед и потрясений и неизбежность всего происходящего ценного – веры, чести, культуры, традиционного миропорядка. Культурный опыт читателя, ориентированный на произведение мировой классики, «способствует более глубокой реконструкции эмоционально-смыслового содержания стихотворений А. Ахматовой» [Шевчук, 2004, с. 69]. А введение в стихотворения известных литера-

турных героев (своеобразные литературные маски) дает возможность «обнаружить противоречия, ставшие предметом осмысления А. Ахматовой, и систему сверхличных ценностей в ее художественном мире» [Шевчук, 2004, с. 70]. Необходимо отметить, что все литературные образы, которые Анна Андреевна вводит в свои произведения, проходят творческую «переработку», авторское переосмысление, наполняются новым смыслом и содержанием. А вместе с тем они остаются «путеводными знаками» и «вечными» образами культуры, хорошо знакомыми каждому читателю. Воспроизведение в лирических произведениях известных литературных персонажей В.М. Жирмунский называл выражением «бессознательного действия творческой памяти, художественного “заражения” или просто внутреннего родства, которое никак не следует рассматривать с традиционной точки зрения – как результат механического заимствования» [Жирмунский, 1973, с. 63].

Именно так, по-новому переосмысленными, пропущенными через авторское восприятие вступают в лирические произведения дорогие и важные для Ахматовой образы людей (поэтов, писателей), символизирующих собой целое поколение. Восприятие какого-то периода времени в преломлении авторского сознания неразрывно связано с определенными образами и именами. В 1940 году, вспоминая о днях своей юности, Ахматова писала:

...Прости меня, но ясная погода,  
Флобер, бессонница и поздняя сирень  
Тебя – красавицу тринадцатого года –  
И твой безоблачный и равнодушный день  
Напомнили...

[Ахматова, 1998, т. I, с. 482]

В воспоминания о беззаботных днях юности вплелось и имя Флопера, творчеством которого молодая Анна была увлечена в пору своего замужества с Гумилевым. Такое упоминание имени французского писателя в ряду вполне конкретных жизненных образов, обозначающих предметы и состояния (бессонница, сирень) следует соотносить не с конкретным человеком, а именно с его творчеством, которое, входя в этот сложный ассоциативный ряд, вносит в произведение определенные психологические интонации.

Эту «открытость» ахматовского текста перед произведениями мировой литературы отмечали многие исследователи (особенно в связи с «Поэмой без героя»): «Обращение художника к “вечным” образам

культуры, творческая переработка культурных ценностей прошлого, как правило, обуславливают такую важную особенность структуры произведения, как *открытость*. Когда же речь идет о столь уникальном поэтическом мышлении, как ахматовское, о мироощущении, вошедшем в себя широкий спектр культурных традиций и оперирующем языком различных времен и культур, показательным является уже и сам факт взаимодействия – на каком бы уровне оно ни происходило – художника с “вечными образами” культуры» [Бурдина, 2002, с. 18]. Таким образом, имя писателя здесь меньше всего воспринимается как указание на автора какого-либо текста; оно здесь – культурологический знак, реконструирующий культурный фон эпохи.

Над стихотворением «Предыстория» Анна Андреевна работала в течение трех лет (1940–1943). Л. Озеров увидел в нем «...стремление художника к большому стилю и масштабности образов, историзму» [Озеров, 2007]. По насыщенности «знаками» культуры, именами, литературными образами и ассоциативными рядами оно может сравниться только с более поздней «Поэмой без героя»:

Россия Достоевского. Луна  
Почти на четверть скрыта колокольной.  
Торгуют кабаки, летят пролетки,  
Пятиэтажные растут громады  
В Гороховой, у Знаменья, под Смольным.  
Везде танцклассы, вывески менял,  
А рядом: «Henriette», «Basile», «Andre»  
И пышные гроба: «Шумилов-старший»...

[Ахматова, 1998, т. I, с. 485]

А дальше в произведении – упоминание имен Некрасова, Салтыкова-Щедрина, матери Анны Андреевны; Старой Руссы, Оптиной пустыни, Баден-Бадена, Семеновского плаца... Все это беспорядочное, как могло бы показаться с первого взгляда, нагромождение имен, образов, географических названий удивительным образом очень органично включается в единую, полную, многогранную картину эпохи:

Так вот когда мы вздумали родиться  
И, безошибочно отмерив время,  
Чтоб ничего не пропустить из зрелищ  
Невиданных, простились с забытьем

[Ахматова, 1998, т. I, с. 487].

Все значительные и не очень важные события, ярчайшие личности и характеры сливаются здесь в калейдоскопическом изображении, выстраивая на ассоциативном плане полноценную картину петербургской жизни конца XIX века. Временные и пространственные пласты переплетаются причудливым образом. Ахматовская категория времени – сложнейший синтез всех лирических пластов. Для нее, подчеркивает С. Бурдина, «будущего как такового нет, оно заложено в прошлом, предопределено прошлым, обусловлено им; прошлое есть не что иное, как прообраз, “завязь” будущих событий, оно не исчезает, а в скрытом виде присутствует в настоящем; настоящее же включает в себя прошлое и будущее, является вместилищем и того, что прошло, и того, что придет» [Бурдина, 2002, с. 36].

Именно это целостное восприятие *всего* времени *во всех* его проявлениях объясняет то, что постановка в один ряд Некрасова, Достоевского, старцев Оптиной пустыни и гробовщиков, модисток, менял несколько не снижает значения первых. Все они являются культурологическими «знаками» своего времени. Они сливаются в единую картину исторического фона эпохи, где размышления о вечном соседствовали с «шуршаньем юбок», а высокие «каренинские» страсти – с вывесками менял.

Таковыми же культурологическими «знаками» эпохи выступают в стихотворениях Ахматовой и другие великие имена и произведения:

...А там, между строк,  
Минуя и ахи и охи,  
Тебе улыбнется презрительно Блок –  
Трагический тенор эпохи.

[Ахматова, 1999, т. II/2, с. 79]

Анализируя влияние Блока на поэзию Анны Андреевны, В.М. Жирмунский писал, что его имя вводится в ее произведения «как аллегорический образ эпохи, “серебряного века во всем его величии и слабости” (говоря словами Ахматовой), – как “человек-эпоха”, т.е. как выразитель своей эпохи» [Жирмунский, 1973, с. 347]. Иногда ввод таких культурологических знаков в произведение можно объяснить стремлением автора закрепить их за определенным географическим пунктом, в пространственном, а не временном плане. Часто имена исторических деятелей ассоциировались в ахматовском восприятии с какими-либо населенными пунктами. Но есть интересный пример того, как «знаком» Царского Села в ее лирике стала литературная героиня – Фелица, а вместе с ней и ее знаменитый создатель – Г. Державин:

О, кто бы мне тогда сказал,  
Что я наследую все это:  
Фелицу, лебедя, мосты  
И все китайские затеи,  
Дворца сквозные галереи  
И липы дивной красоты.

[Ахматова, 1999, т. II/2, с. 21]

Интересно, что свое «наследство» автор располагает в таком порядке: от самого ценного – образа Фелицы, с которым, конечно же, ассоциируется сам Державин, один из самых почитаемых Ахматовой поэтов, – к непосредственным образам природы и архитектуры Царского Села, которые тоже были очень дороги поэту.

Каждое литературное имя воспринимается в лирике Ахматовой как культурологический знак, полноценный образ, построенный на сложных ассоциациях, на восприятии эпохи сквозь призму культурных ценностей. Включение в лирические произведения номинативных единиц, обозначающих литературных героев и их авторов, дает Ахматовой широкие возможности для передачи общего психологического фона произведения, помогает настроить на определенный лад читательское восприятие и служит отражением культурологической знаковости, расширяя и уточняя тем самым пространственный и временной план стихотворения.

## Литература

- Ахматова А. Собрание сочинений : в 6 т. (Т. 7 и Т. 8 – дополнительные). М., 1998–2005.
- Бурдина С. Поэмы Анны Ахматовой: «вечные образы» культуры и жанр. Пермь, 2002.
- Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973.
- Мароши В. Имя автора: историко-типологические аспекты экспрессивности. Новосибирск, 2000.
- Обухова О. Заметки о поэтике Анны Ахматовой [Электронный ресурс]. URL: //http://www.akhmatova.org/articles/obuhova.htm
- Озеров Л. Тайны ремесла [Электронный ресурс]. URL: //http://www.akhmatova.org/articles/ozarov.htm
- Фонякова О.И. Имя собственное в художественном тексте. Л., 1990.
- Шевчук Ю.В. Трагическое в лирике А. Ахматовой : дисс. ... канд. филол. наук. Уфа, 2004.



**«ЗАПРЕТ СМЕХА» В ПОВЕСТИ-СКАЗКЕ  
В.М. ШУКШИНА «ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ»**

*А.Ю. Ольховая*

**Ключевые слова:** В.М. Шукшин, смех, комическое, запрет.  
**Keywords:** V.M. Shukshin, laugh, comic, prohibition.

В современном шукшиноведении достаточно основательно изучена жанровая специфика повести-сказки «До третьих петухов» как сатирической повести (В. Коробов, Ю. Селезнев, В. Апухтина) и особенно как литературной сказки через сопоставление с фольклорными и мифологическими источниками (Л. Липовецкий, Ю. Никитов, Т. Кривошапова). Не менее глубоко освещена карнавално-гротескная эстетика и поэтика повести (А. Дуров, А. Казаркин, Т. Рыбальченко), что позволило описать восходящие к древним обрядам и ритуалам философско-идеологические и культурно-исторические задания и модели Шукшина. Между тем смех, не только как эстетическое основание, но и как предмет и персонаж шукшинской повести, не привлек должного внимания.

В первом «библиотечном» эпизоде пародийно-комическая позиция нарратора контрастно остранена предельной «серьезностью» персонажей, среди которых единственным комическим лицом оказывается Иван-дурак: подобно шуту-скомороху, он «делал что-то такое из полы своего армяка, вроде уха», – и ему дано иронически оценить мнимую серьезность «задумавшихся» бумажных героев: «Думайте, думайте, – сказал он. – Умники нашлись... Доктора» [Шукшин, 1986, с. 411].

В этом плане предложение изгнать Ивана-дурака из «библиотеки», по сути, означает запрет смеха в пространстве культуры. Не случайно инициатором выступает слезливо-сентиментальная «крестьянка» Лиза, а утверждает «проект» ведущий собрания – «некто канцелярского облика, лысый» – явно представитель Администрации.

Мир без смеха в мифологии и фольклоре – это мир мертвых: «живые видят, говорят, зевают, спят, смеются. Мертвые этого не делают» [Пропп, 1999, с. 231]. Обитатели библиотеки еще говорят, но уже не смеются, что означает омертвление, консервацию, музейфикацию классической культуры, возрождение, оживление которой должно сопровождаться возвращением смеха: «Если с вступлением в царство смерти прекращается и запрещается всякий смех, то, наоборот, вступление в жизнь сопровождается смехом» [Пропп, 1999, с. 232]. Речь о

возрождении идет в диалоге персонажей, причем только эта тема и провоцирует смех:

«... смутился чеховский персонаж. – Пожалуйста. Почему только с ног начали? – Что? – не понял Обломов. – Возродиться-то. – А откуда же возрождаются? <...> С ног, братцы, и начинают. <...> Обломов опять тихо засмеялся...» [Шукшин, 1986, с. 411].

Исход Ивана из библиотеки имеет сверхзадачу не только инициации, но и ревизии народной духовной жизни, поиска в ней возрождающей потенции. При этом «ревизорский» смех является и индикатором состояния среды, и инспиратором живительной энергии.

Баба-Яга, ее усатая дочь, Змей-Горыныч – вся эта сказочная враждебная сила представляет для Ивана опасность быть съеденным или прирученным, в любом случае, поглощенным ею. В этом фольклорном действе смех оказывается единственной силой и спасения от смерти, и сопротивления соблазну, и разоблачения уже ставших привычными признаков упадка этой сферы народной культуры. Хохот Ивана над усатой дочерью бабы-Яги, его скоморошество и валяние дурака в обещании «вывести усы», напоминающие балаганские сцены Петрушки и Доктора, его «сексуальные» частушки и «ерничанье» со Змеем-Горынычем не только спасают от неминуемой гибели, но и, как говорилось выше, пробуждают живительную энергию угасающего мира народной фантазии.

Медведь, которого далее встречает Иван, – тотемический герой славянской мифологии, Хозяин лесов и пашен, олицетворяющий силы природы, являет теперь собой разложение и упадок вследствие наступления чуждой русскому духу культуры. Союз человека и природы («Маша и медведь»), как и сказочно-мифологическая архаика, оказываются неплодотворными для возрождения.

Религиозно-христианский мир культуры, осаждаемый бесами в Советской России, – тоже не смеющийся. В силу христианского благочестия, не смеются монахи; Иван, утверждая свою власть над чертями, прибегает не к смеху, а к молитве. Не смеется он еще и потому, что заморожен красотой и изяществом чертей, не замечая их рогов и копыт, то есть утратив бдительность, забыв об условии «смотреть в корень». Не смеются черти: всерьез принимают и дурака, и его дурацкую проблему «справки», используя последнюю для нового «унижения» Ивана, заставляя его плясать под свою дудку.

В мире ученой мудрости, который тоже осажден и обюрокрачен бесами, Иван, подчиняясь казенному духу канцелярии Мудреца, и сам отрекается от своей сути – «горохового шута», требует серьезного от-

ношения к себе на основании «предисловий», трактующих его образ как выразителя народных чаяний, «мудрее, глубже и народнее» которого никого нет [Шукшин, 1986, с. 437]. Эти претензии дурака неожиданно вызывают «громкий смех» секретарши Милки, которая, вместе с тем, повторяя в своей телефонной болтовне библиотечаршу, вновь инициирует «сексуальный», производительный мотив.

Признаки нарастающей энергии возрождения и в природе (вулкан), и в народной культуре (Василиса Премудрая, кот Тимофей), «взволнованно» обсуждает Мудрец, демонстрируя в то же время бессилие «теории» перед жизнью. Иван-дурак высмеивает, профанирует теоретическую «аналогию» вулкана с «беременной женщиной», настойчиво намекая всего лишь на реальный «гул» внутри утробы Мудреца.

И вот, наконец, царство Несмеяны, где все, начиная с царевны, «звереют от страшной скуки», которая готова стать «смертельной»: «Повешу-усь! – закричала Несмеяна. – Не могу больше!» – что соответствует трактовке В. Проппом мира Несмеяны – мира без смеха – как царства мертвых, каким представлена у Шукшина культурная элита, «золотая молодежь», долженствующая олицетворять будущее России.

Трудная задача – рассмешить царевну, – которая ставится в сказке о Несмеяне, означает испытание производительной потенции героя: «жених должен показать свою силу» [Пропп, 1999, с. 249]. У Шукшина претендентом на царевну является Мудрец. Он берется выполнить задачу. Безуспешно использовав книжное остроумие, старик вспоминает о народе, народном смехе, приводит в пример летописную легенду о силе могучего смеха, которым осажденный в крепости народ заставил отступить полчища врагов, и в качестве такого народного источника смеха он предьявляет Ивана.

В. Пропп находит архетипический прообраз сказки о Несмеяне в мифе о Деметре, где печальную богиню плодородия рассмешили непристойные жесты, песни и пляска служанки Ямбы. Шукшинский Иван прибегает к тем же «народным» средствам: «вдруг влетел в комнату – чуть не со свистом и с гиканьем – с частушкой» непристойного содержания («Эх, милка моя, Шевелилка моя: / Сама ходит, шевелит...»), – но не рассмешил и не «расшевелил» Несмеяну и окружающих ее «бычков и телок». В народной сказке о Несмеяне, в отличие от мифа, герой не сам поет и пляшет, а заставляет под свою дудочку плясать свинок, олицетворяющих брак и плодovitость [Пропп, 1999, с. 254]. В повести Шукшина Мудрец, убедившись в бездейственности народного смехового творчества, неспособного пробить броню скуки «золотой молодежи», пытается превратить в объект смеха самого на-

родного представителя, его, так сказать, невежество и свинство, втягивая Ивана в философско-богословский диспут. Но Иван меняет позицию, возвращая навязанной ему ситуации логику сказки: берет верх над Мудрецом, превращая его в объект смеховой рецепции, намекая на «отклонение от нормы» старичка: «Ответь мне, почему у тебя лишнее ребро?». Как пишет В.В. Десятов, «тело этого существа Шукшин делает гротескным: наделенный не только “лишним ребром”, но и “круглым животом”, Мудрец становится старым, квазибеременным андрогинном» [Десятов, 2000, с. 172]. Однако и это «отклонение от нормы», вопреки «теории смеха», которой вооружен Мудрец, смеха не вызывает, а, напротив, провоцирует агрессивное-серьезное поведение молодых, которые «Мудреца вознамерились раздеть *без всяких шуток*» (курсив мой. – А.О.) [Шукшин, 1986, с. 445]. Раздев старика, его «аккуратненько пощекотали», что означает в «ином мире», как указывает В.Я. Пропп, способ узнать, живой или мертвый, свой или чужой явившийся гость. Старик «громко захохотал», проявляя таким образом признаки жизни, но тут же «испустил дух», произведя «нежданчик». И вот этот-то произвольно-непристойный жест и символическая смерть старика спровоцировали взрыв неудержимого хохота. Иван, украв печаль Мудреца, тем самым снимает запрет смеха, так что последняя «революция», объявляющая смех «недействительным», оказывается недействительной сама, так как не может быть заверена печатью. Смех возвращается в мир. Разражается «оглушительным хохотом» Медведь, буйно веселятся в монастыре черти, и монахи невольно притопывают ногами в такт веселой музыке, усатая дочь Бабы-Яги затевает веселую игру в ребеночка, и библиотека «шумно и радостно» встречает Ивана. Неожиданно противостоит этому смеющемуся миру только Иван, который в своем возвратном движении все более предается «горькому плачу», разрушая таким образом амбивалентность народно-карнавального смеха. Смех означает отрицательный полюс, приобретая злорадные «сардонические» формы, тогда как положительный полюс сосредоточен в покаянном плаче Ивана.

Концептуальная разработка «кульминационной» смеховой сцены с Мудрецом и Несмеяной выражает литературно-критическую, с одной стороны, и функционально-творческую, с другой, саморефлексию Шукшина в отношении к современной теории и практике комического. Шукшинский Мудрец твердо убежден в незыблемости рационалистических определений комического, восходящих к первоисточнику марксизма-ленинизма – эстетике Гегеля – и освященных известным высказыванием К. Маркса о том, что «человечество смеясь расстается со

своим прошлым». В эстетике Гегеля и его последователей комическое определяется как противоречие между сущностью и явлением, целью и средствами, намерением и результатом, великим и ничтожным, старым и новым. В нормативной эстетике все эти противоречия сводились к определению комического как «отклонения от нормы». Именно на эти формулы смешного ссылается Мудрец: «Когда смешно? Смешно, когда намерения, цель и средства – все искажено! Когда налицо отклонение от нормы» [Шукшин, 1986, с. 446]. Опровержением марксистской теории комического могла бы стать у Шукшина бахтинская концепция, утверждающая в качестве основания комического ритуально-обрядовые формы праздничной карнавальной народно-смеховой культуры. На архетипическую, «коллективную» производительную, материально-телесную природу бахтинского смеха указывает «решение» Мудреца считать «юмор коллектива дураков» «несвоевременным и животным». В то же время представляется справедливым предположение В.В. Десятова, о том что в безрезультативной развязке повести Шукшина, не совпадающей с марксистско-бахтинской концепцией народно-праздничного смеха как «победы будущего – “золотого века” – над прошлым», выражается «сдержанное отношение» писателя к Возрождению и «карнавалу», не ставшими фактами русской истории и культуры: «Шукшин видит обратную сторону культурного Ренессанса, карнавала, революционного маскарада – шабаш» [Десятов, 2000, с. 172–173]. В целом разделяя эту мысль ученого, хотим уточнить, что Шукшин, настойчиво склонявшийся в период написания повести-сказки к религиозно-почвенническому началу «русской идеи», искавший в народной культуре высокие нравственные опоры, не воспринимает ни в «карнавале» Бахтина, ни в «архетипах» Проппа кощунственного смеха. Западноевропейские формы смеха при родах, смеха при смерти («сардонический смех»), пасхального смеха в храме при святых иконах были отвергнуты, запрещены православной церковью и не укрепилась в народной культуре. В согласии с народным менталитетом, Шукшин отрицает и начало «возрождения с ног» как сексуальную революцию, и смех при смерти как революционный авангардизм, и смех при иконах как революционно-карнавальное кощунство атеизма. Не случайно раскрепощенный и разнузданный смех и голых девиц, и парней, и чертей, и усатой невесты не соединяется с производительной силой Ивана, разменявшего брак с Несмеяной и ее царство на «печать», оплошавшего в эротических играх с невестой Змея-Горыныча и не откликнувшегося на ласковый призыв Бедной Лизы. И в этом смыс-

ле деинициация героя из взрослого в «ребеночка» эксплицирует иной путь возрождения.

«Запеленутый младенец» (Иван) означает и возвращение к истоку, «началу возрождения», которое мыслится как покаяние и очищение и как приготовление к жертве: «Убей меня! – взмолился Иван. – Проткни ножом... Не вынесу я этой муки» [Шукшин, 1986, с. 456]. Но руку, занесенную ложным отцом («Тогда папочка будет вас жратеньки») для жертвоприношения сына, отводит дух русского богатыря Ильи Муромца (Илия-Бог), выславшего на помощь Ивану силу Атамана. Библиотека «шумно и радостно» встречает Ивана, но не как царя, мудреца, мужа, а как дитя: «Ванюша! – позвала Бедная Лиза». Проблема «Что дальше?» оборачивается дилеммой между спасительной жертвой нового Христа, провозвестником которого стал шукшинский Иван – чистое дитя, взявшее на себя грехи и вину своего народа: «Такой и пришел – кругом виноватый», – и народным бунтом, знаком которого стала шапка Стеньки Разина, брошенная как вызов в реальный мир. И здесь, в финале, автору явно не до смеха: «Будет, может быть, другая ночь... Но это будет уже другая сказка».

### Литература

Десятов В.В. Шукшин и мудрецы (духовные прототипы персонажа сказки «До третьих петухов») // «...Горький, мучительный талант». Материалы V Всероссийской научной конференции. Барнаул, 2000.

Пропп В.Я. Ритуальный смех в фольклоре: По поводу сказки о Несмеяне // Пропп В.Я. Труды. Проблемы комизма и смеха. М., 1999.

Шукшин В.М. До третьих петухов (Сказка про Ивана-дурачка, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума) // Шукшин В.М. Киноповести. Повести. Барнаул, 1986.

## ИНТЕРНЕТ КАК СОВРЕМЕННЫЙ АРЕАЛ БЫТОВАНИЯ СКАЗКИ

*К.В. Быстрова*

**Ключевые слова:** сказка, Интернет, фольклор, постфольклор, информация, диалог.

**Keywords:** fairy-tale, Internet, folklore, postfolklore, information, dialogue.

По мере того как Интернет начинает занимать все большее пространство интеллектуальных ресурсов, он замещает и привычную реальность. Это, несомненно, вписывается в общий процесс глобализации. С помощью Интернета можно найти любую информацию, купить / продать что угодно, заплатить налоги и даже жениться. Социологические исследования показывают, что виртуальная паутина начинает вытеснять даже телевидение<sup>1</sup>. Это, на наш взгляд, происходит потому, что телевидение имеет монологическую природу, а Интернет основан на диалоге и даже полилоге. В связи с этим виртуальное пространство становится привлекательным полем для различных проявлений массового сознания. Мировая сеть предлагает свои безграничные площади, которые оказываются удобными для обитания разных форм культуры. Одним из таких поселенцев Интернета является фольклор. Новую среду бытования народного творчества мы рассмотрим на примере традиционного жанра сказки.

Уже не одно десятилетие ведутся разговоры о том, вымирает ли фольклорная сказка<sup>2</sup>. Но если можно согласиться с тем, что традиционная волшебная сказка, описанная В.Я. Проппом, действительно умирает, то сказка как установка на вымысел и система ее персонажей продолжают жить, хотя приобретают другое свойство. Сказка трансформируется, но по-прежнему восполняет генетически заложенную в человека потребность в игре<sup>3</sup>. А виртуальное пространство оказывается самым благодатным полем для игр и фантастических миров.

Особенностью народного творчества является открытость его жанровой системы, что предполагает ее обновление. Фольклор по своей природе способен быстро реагировать и аккумулировать новые яв-

<sup>1</sup> По данным опроса, проведенного IBM: [www.bison.ru](http://www.bison.ru).

<sup>2</sup> См.: [Неклюдов, 1995; Богданов, 2001; Каргин, 2003].

<sup>3</sup> См.: [Хейзинга, 2001]. См. также: [Ивлева, 1998].

ления. В данном случае он освоился в новом пространстве Сети и продолжает там существовать.

По отношению к своему пользователю Интернет выполняет две важнейшие функции. С одной стороны, он играет роль запасника накопленной поколениями информации, с другой – благодаря своей природе *on line* служит провокатором, который впускает всех, другой вопрос, – что получается на выходе. Прописывая то или иное явление на своей жилой площади, Интернет, так сказать, оставляет дверь незапертой. Всемирная Сеть – это открытая игра, а в глазах входящего – игра без правил. Результат – ломка старого и рождение нового.

Хранилищами информации и формами, моделирующими Интернет-общение, являются сайты групп лиц и единичных авторов, а также такие внутренние структуры, как форумы, чаты, живые журналы (ЖЖ), компьютерные игры.

Интернет (применительно к нашей теме – это сайты, которые организуют литературные конкурсы или предлагают рассказывать сказки)<sup>1</sup> и фольклор – это две открытые системы, в которые в любой момент может включиться новый автор. И соединение двух этих явлений усиливает действие. При этом необходимо учитывать, что фольклор в данном случае выступает в качестве носителя действия, а Интернет – в качестве места действия и способа существования. Таким образом, Интернет можно назвать огромным по площади (виртуальным) ареалом распространения сказки.

Количество русскоязычных сайтов, так или иначе посвященных сказкам, постоянно растет и уже исчисляется не одним десятком<sup>2</sup>. Частым явлением последнего времени стало проведение конкурсов, которые предполагают либо создание новых сказок, либо воспоминание старых. Кроме специализированных сайтов, целью которых является наблюдение за жизнью сказки как таковой, информация о проведении конкурсов подобного рода поступает от совсем не «сказочных» сайтов<sup>3</sup>. Как выясняется, жанр сказки стал очень популярным, удобным, и, можно сказать, универсальным.

<sup>1</sup> URL: <http://www.skazka.com.ru>; URL: <http://skazka.rukarta.ru>; URL: <http://lukoshko.net>; URL: <http://www.1001skazka.com/links.html>

<sup>2</sup> Кроме уже указанных и тех, которые по иным поводам будут указаны ниже, см.: URL: <http://skazku.com>; URL: <http://forest.onego.ru/skazki.html>; URL: <http://www.kniga-skazok.ru>; URL: <http://sk.plusfilm.ru>; URL: <http://korsinka.ru>; URL: <http://www.7499.info>; URL: <http://dim-toy-sky.narod.ru/index.html>; URL: <http://www.7ya.ru>; URL: <http://www.gilibili.narod.ru>

<sup>3</sup> URL: <http://www.proza.ru/texts/2003/04/23-11.html>; URL: <http://www.skazka.com.ru>

Часто жанр сказки используется для привлечения внимания к какой-то теме или в качестве рекламы того или иного продукта. Например, международная экологическая организация *Greenpeace* переделала известные сказочные сюжеты для того, чтобы обратить внимание на экологическую ситуацию в мире. В измененном варианте знаменитый утенок Г.Х. Андерсена становится гадким из-за условий среды, в которых ему приходится жить: на поверхности водоемов лежит толстый слой мазута, а леса представляют собой безграничные свалки<sup>1</sup>. Другой пример: сайт «*Букник*» объявил конкурс сказок о евреях<sup>2</sup>.

Область распространения сказки может быть любой. Часто она исполняет роль своеобразного входного билета для всякого рода сочинительства, порой бездарного. Как можно судить, современные произведения на подсознательном уровне сопоставляются читателем с традиционными сказочными сюжетами и авторы охотно используют эту возможность. Например, «*Сказка о Чудаке и Ривке*» своим названием, безусловно, отсылает нас к «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Но эта переключка абсолютно условна, как и все остальное. Текст обозначен как сказка, хотя таковой (в традиционном смысле) не является. В условиях Интернета, как выясняется, все что угодно может быть названо сказкой. Данная «сказка» — это нечто промежуточное между рассказом и дневниковой записью. От традиционного сказочного жанра здесь остается только номинация персонажей: принцесса, заморский принц (из королевства Бельгия), Чудо-Юдо. Сюжет представляет собой историю знакомства по брачным объявлениям. Красивая и благополучная жизнь является для автора синонимом сказочности, и поэтому автор иронизирует: «На то она и волшебная сказка, что с жизни всегда списана»<sup>3</sup>. Подобные сюжетные схемы встречаются часто. За основу берется популярная сказка (чаще всего народная или воспринимаемая как народная) с характерным для нее набором персонажей, а далее, как говорится, воля автора. Самыми популярными в этом отношении являются «Золушка», «Красная шапочка», «Царевна лягушка» и тому подобные. Например, текст «*Красная шапочка*» на сайте для женской аудитории, сохраняя форму сказки, название и персонажей, имеет подзаголовок «Современный детектив» и повествует о взаимоотношениях невестки и свекрови. В результате расследования выясняется, что волк съел старушку-свекровь вследствие происков невестки — матери Крас-

<sup>1</sup> URL: <http://www.superbest.ru>

<sup>2</sup> URL: <http://www.booknik.ru/interactive/tales>

<sup>3</sup> URL: <http://www.olgin.ru/public/21/index.html>

ной шапочки. На этом же сайте мы находим «*Сказку о Золушке*» с характерной пометой автора: «*Версия, извращенная современностью*». Развитие сюжета здесь не ново — провинциальная героиня попадает в столицу<sup>1</sup>.

В сети Интернета попадаются и рыба, и тина. И сказка подчас может показаться продуктом воспаленного сознания, нередко ее форма используется для воплощения бредовых идей, сформированных под воздействием наркотического опьянения, например, на сайте растаманов помещена сказка «Волк и семеро свиней»<sup>2</sup>, варьирующая народную сказку «Волк и семеро козлят». В Интернете можно встретить и разные версии сказки «Колобок», например: «Давным-давно, когда дискеты были большие, а программы маленькие, добрая фея Ада испекла Колобка. И сказала: “Катись, Колобок, по лесу, собирай первый в мире персональный компьютер из лесных жителей! Дам я тебе волшебство — каждый зверек в детальку превратится”». В результате оказывается, что Колобок разместился в компьютерной мышке. Об этом нам сообщает сайт «Люди о ежиках»<sup>3</sup>.

Сказка может быть использована для различных внешних целей. Например, она выступает как «политическое убежище»: ее герои — видные политики или простой «пострадавший люд». «Сказка об Инвесторе» рассказывает об экономическом хаосе 1990-х годов<sup>4</sup>. Форма сказки используется и для решения проблем социальной значимости — даже православная епархия Екатеринбурга объявила свой конкурс сказок<sup>5</sup>.

Есть, конечно же, сказки и о самой Паутине. В одной из них Живой журнал (ЖЖ) сравнивается с животным, огромным как кит, молчаливым и бесшумным. «Оно живет в таинственных глубинах информационного океана, и сущность его темная, океанская. Внутри этот зверь прозрачный и трепещущий; в его колышущихся недрах живут самые разные обитатели, когда-то угодившие в его пасть, проскочившие мимо его страшных зубов и до сих пор не нашедшие выхода»<sup>6</sup>. А вот пример сказки на тему самого Интернета. «Колыбельная сказочка всем первокурсникам на ночь» начинается следующим образом: «В некотором царстве, в некотором государстве, у самого синего водоема жили-были два абитуриента: один по кличке “старик” и еще одна по

<sup>1</sup> URL: <http://korsinka.ru>

<sup>2</sup> URL: <http://rastaman.tales.ru>

<sup>3</sup> URL: [http://ejik.kulichki.com""t" \\_blank](http://ejik.kulichki.com)

<sup>4</sup> URL: <http://www.invest.rin.ru>

<sup>5</sup> URL: <http://orthodox.ete1.ru/2006/17/27ckazki.htm>

<sup>6</sup> URL: <http://www.gilibili.narod.ru>

кличке «старуха»» [URL: <http://lito.ru/rules.php>]. Интернет представлен в этом тексте как Золотое дно, владельцем которого (по аналогии с «владычицей морской» из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина) оказывается Билл Гейтс, а «старик» выловил рыбку 999-й пробы.

«Зависание» в Паутине становится все более массовым. Войти в Интернет при желании может каждый, вне зависимости от возраста, социального статуса, национальной или какой бы то ни было иной принадлежности. С помощью Интернета происходит своеобразная интеграция человека в общество. Аналогичную функцию социализации, на наш взгляд, раньше выполняла реальная среда бытования фольклора: исполняя народные произведения, человек (в нашем случае рассказчик) приобщался к коллективной памяти.

В настоящий момент информация, поступающая в Сеть, практически никак не контролируется. Человек в условиях Интернета, сообщая какие-либо данные о себе или окружающих, оставляет за собой право на вымысел. И верифицировать правдивость этой информации сложно, так как между пользователями по разные стороны экранов отсутствует «очная ставка». Традиционный же фольклор предполагает одновременное присутствие исполнителя и слушателя лицом к лицу. Таким образом, в границах Сети достоверность ставится под сомнение. Кроме того, очень часто вход в Сеть происходит анонимно либо с использованием псевдонимов или ников, соответственно, роднит бытование текстов с фольклором (в первом случае) и с литературой (во втором). При этом следует отметить, что в народной сказке анонимный характер сохраняется, даже когда фиксируется личность рассказчика, дается паспортизация. Рассказчик только воспроизводит, но не является автором, он *один из* (один из народа), и, по сути, не важно, как его зовут.

Размышления об анонимном характере произведений, по преимуществу размещаемых в Интернете, невольно приводят к осознанию того, что бытование их в Интернете аналогично бытованию в массовой литературе. Анатолий Курчаткин так характеризует это явление: «“Иванов”, “Петров”, “Сидоров”, стоящие на обложке, ничего не значат, в равной степени их мог бы заменить какой-нибудь номер, подобный тому, что стоит на постельном белье, сдаваемом в прачечную. Важен не собеседник — со всеми особенностями его речи, его мимики, внутреннего мира, — а тема разговора. Вернее, не тема даже, а форма» [Черняк, 2005, с. 152]. Показательно в этом отношении и признание Дарьи Донцовой: «Моей подруге Тане Поляковой принадлежит гениальная фраза: “Если вы прочитали 99 детективов, то сотый можете написать сами”. Я целиком и полностью под ней подписываюсь, по-

скольку, прочитав энное количество детективов, я однажды начала сочинять их сама» [URL: <http://dariadoncova.narod.ru>].

Ежемесячно современные издательства выпускают книги большого количества новых авторов. По сути, писателем может стать каждый. Есть даже сайты в помощь пишущим, например «Куда податься автору бестселлера»<sup>1</sup>. Близость поэтики и социальных функций фольклора и массовой литературы проявляется в деиндивидуализации творчества. Анонимное сопутствует безличному. Надевая маску псевдонима, аноним утверждает незначимость своего имени для других. Возникает совпадение писателя с коллективным бессознательным.

Одной из причин всплеска авторства, на наш взгляд, является то, что из обычной жизни практически ушел рассказчик. Поэтому если раньше литературу и фольклор можно было разграничить на том основании, что литература представляла собой творчество *для* других (акцент делался на авторе текста), а современный фольклор и массовая культура — творчество *вместе с* другими (акцент делается на воспринимающем сознании), то теперь эти границы значительно размыты<sup>2</sup>. А поскольку сказка как жанр сохраняет энергию рассказывания, приспособленность к устной передаче, то люди с ее помощью ищут рассказчика в себе самих. И в этом отношении Интернет оказывается весьма удобной площадкой для разного рода экспериментов.

Новые явления современной культуры С.Ю. Неклюдов назвал постфольклором, так как это уже не народное творчество в полном смысле этого слова. Современный постфольклор представляет собой синтетическое образование: произведения постфольклора созданы на основе синтеза фольклора и индивидуального творчества [Неклюдов, 2002, с. 3]. Другое дело, что этот синтетизм возвращает нас к исходному синкретизму народного творчества. Народное творчество сплавляет эти элементы воедино, потому что его творческий потенциал не может реализоваться в профессиональных формах и в «невзыскательной» народной среде возникает потребность именно в «полупрофессиональном» массовом творчестве.

Несомненно, Интернет является новой средой бытования народного творчества. Об этом свидетельствует и недавно вышедший сборник материалов Государственного республиканского центра русского

<sup>1</sup> URL: [http://zhurnal.lib.ru/i/info/a\\_izdat.shtml](http://zhurnal.lib.ru/i/info/a_izdat.shtml)

<sup>2</sup> См. об этом: [Строганов, 2007, с. 19].

фольклора «*Folk-art-net*», представляющий собой первую попытку осмысления Интернет-фольклора<sup>1</sup>.

Но если традиционная народная сказка в устном бытовании уже прошла проверку временем, то этот новый фольклор еще в полной мере не определился со своими границами, он еще только входит в новое пространство и сохраняет по большей части черты традиционной сказки, хотя предельно клишированной и осовремененной. Специфический язык Интернет-общения пока не успел вполне усвоить ее.

### Литература

Богданов К.А. Фольклорная действительность: Традиция, метод, перспективы изучения // Русский фольклор : Материалы и исследования. Вып. XXXI. СПб., 2001.

Ивлева Л. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. СПб., 1998.

Каргин А.С. Современный фольклорный процесс: реальность и стереотипы восприятия // Традиционная культура. 2003. № 4.

Неклюдов С.Ю. После фольклора // Живая старина. 1995. № 1.

Неклюдов С. Ю. Фольклор: типологический и коммуникативный аспект // Традиционная культура. 2002. № 3.

Строганов М.В. Историческая поэтика. Тверь, 2007.

Хейзинга Й. Homo ludens / Человек играющий. М., 2001.

Черняк М.А. Категория «автора» в массовой литературе // Феномен массовой литературы XX века. СПб., 2005.

### Интернет-сайты

URL: <http://www.bison.ru>

URL: <http://dim-toy-sky.narod.ru/index.html>

URL: <http://www.gilibili.narod.ru>

URL: <http://forest.onego.ru/skazki.html>

URL: <http://www.kniga-skazok.ru>

URL: <http://korsinka.ru>

URL: <http://lukoshko.net>

URL: <http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1000043>

URL: <http://sk.plusfilm.ru>

URL: <http://www.proza.ru/texts/2003/04/23-11.html>

URL: <http://www.skazka.com.ru>

URL: <http://www.1001skazka.com/links.html>

URL: <http://skazka.rukarta.ru>

URL: <http://www.7499.info>

URL: <http://www.7ya.ru>

<sup>1</sup> URL: <http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1000043>

## ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КОММУНИКАЦИИ КАК ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА: ПРОГРАММА И ЕЕ ВОЗМОЖНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ<sup>1</sup>

*А.А. Чувакин, Т.В. Чернышова,  
И.Ю. Качесова, Л.А. Кощей, Н.В. Панченко*

Разрабатываемый проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «Филология» (далее: ФГОС ВПО) расширил перечень объектов профессиональной деятельности выпускников. Наряду с традиционными для филологического образования объектами: языком и художественной литературой – в перечень вошел объект, именуемый в документе «устная и письменная коммуникация». В связи с этим в основной образовательной программе бакалавриата появилась новая составляющая – коммуникационная. Эта составляющая обеспечивается прежде всего учебной дисциплиной «введение в теорию коммуникации», помещенной в базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин [Федеральный государственный..., 2008].

Введение в теорию коммуникации, по своей сути, является двунаправленной дисциплиной. Занимая место среди «введений» – в литературоведение и в языкознание, – она призвана ориентировать обучающихся в базовой информации о «своем» объекте профессиональной деятельности. Вместе с тем она предвзвешивает возможную профилизацию образования в области филологии коммуникации, или приклад-

<sup>1</sup> Данное исследование выполнено в рамках проекта «Создание научно-методического обеспечения примерных основных образовательных программ для разных уровней гуманитарного образования (на примере направления подготовки «Филология»)». Грант РНП 3.1.1.11255.

ной филологии, или текста и коммуникации (наименование профиля еще не устоялось); эта профилизация может осуществляться в нескольких модулях (например, коммуникативно-языковедческом, литературно-культурологическим, психолого-педагогическим, коммуникационным, информационно-издательском, русский язык как иностранный, научно-исследовательском, литературно-творческом<sup>1</sup>).

Наша статья, отражая поиск ее авторами модели учебной дисциплины «введение в теорию коммуникации», содержит концептуальную разработку программы названной дисциплины и предлагает авторскую интерпретацию ее содержания. При этом мы исходим из того, что в современной филологии, единство которой обеспечивается тремя объектами: естественным языком, текстом и *homo loquens* [Чувакин, 2004; Кощей, Чувакин, 2006], – складывается филологическая теория коммуникации как междисциплинарная область [Чувакин, 1999, с.7].

Программа учитывает, что ФГОС ВПО устанавливает проектируемые результаты освоения учебной дисциплины. Что касается введения в теорию коммуникацию, то таковыми могут быть следующие **результаты**:

*Знать*: основные положения теории коммуникации.

*Уметь*: применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности.

*Владеть*: основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области устной и письменной коммуникации.

Соответственно этому, устанавливаются **цели и задачи** дисциплины. **Цель**: дать студентам первоначальное представление о теории коммуникации как филологической дисциплине, находящейся на пересечении филологии и других наук – гуманитарных и естественных – и изучающей человека в его коммуникативном отношении к другим людям, обществу, самому себе, миру; о научных основах теории коммуникации; научить студентов применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности с коммуникацией и текстом (сообщением, по Г.О. Винокуру). **Задачи**: 1) описать коммуникацию в ее связях с другими явлениями человеческой деятельности; 2) ознакомить студентов с научными основами теории коммуникации; 3) рассмотреть коммуникацию как объект изучения филологии и показать место теории коммуникации в системе гуманитарного (и в особенности

<sup>1</sup> Перечни учебных дисциплин названных моделей, разработанные при участии А.А. Чувакина, Н.В. Панченко, О.А. Скубач, Т.В. Чернышовой, представлены в: [Ковтун, Родионова, 2008].

филологического) знания; 4) ознакомить студентов с основными видами коммуникации; 5) дать первоначальное представление о методах изучения коммуникации; 6) заложить основы научно-исследовательской и практической деятельности с коммуникацией и текстом (сообщением).

Сказанное определяет **объем учебной дисциплины и ее структуру**.

Общую трудоемкость дисциплины составляют 4 зачетные единицы, или 72 часа. В том числе: лекций – 18 час., практических занятий – 8 час., лабораторных занятий – 10 час. Курс завершается зачетом.

Дисциплина включает следующие разделы: введение, имеющее целью ознакомление студентов с понятием коммуникации и теорией коммуникации как учебной дисциплиной; первый раздел – «Научные основы теории коммуникации», – обращающий студента к коммуникации как объекту изучения разных наук; второй раздел – «Коммуникация как объект изучения филологии». Последний раздел является центральным в структуре учебной дисциплины: в нем вербальная коммуникация рассматривается как предмет филологической теории и как практическая деятельность, начинается работа по освоению методов и приемов устной и письменной коммуникации. Потому результативная деятельность студентов может иметь место при условии, что аудиторными формами работы над введением и первым разделом являются лекции и практические занятия, а второй раздел требует лекций и уже не практических, а лабораторных занятий (наряду, разумеется, с различными видами самостоятельной работы).

Далее мы представим **содержание учебной дисциплины**. (Содержание дисциплины дается курсивом, а возможная (авторская) интерпретация содержания – обычным шрифтом).

### **Введение**

*Понятие коммуникации. Коммуникация как передача информации и как взаимодействие. Языковая и неязыковая составляющие коммуникации. Коммуникативная деятельность. Акт коммуникативной деятельности, его структура. Человек как «узел пересечения» (М. Шелер) коммуникативных потоков. Специфика коммуникативного пространства современной России. Развитие коммуникативных компетенций специалиста-филолога как важнейшая задача высшего филологического образования. Теория коммуникации как наука. Введение в теорию коммуникации как учебная дисциплина.*

Понятие коммуникации. Коммуникация как коренное условие бытия человека и культуры в информационном обществе. Коммуникация и общение. Развитие представлений о коммуникации: коммуникация как



передача информации; коммуникация как взаимодействие людей. Языковая и неязыковая составляющие коммуникации; фундаментальная значимость языковой составляющей.

Коммуникативная деятельность – центральное понятие современной теории коммуникации. Интерсубъективная природа субъектов коммуникации. Средства коммуникативной деятельности (вербальные и невербальные знаки, включая знаковые последовательности); субъекты коммуникации, их характеристики (социально-культурные; формально-демографические; социально-психологические; когнитивные; коммуникативные; лингвистические и др.). Коммуникативная деятельность и другие формы деятельности человека (теоретическая и практическая; экономическая, правовая, управленческая, эстетическая, бытовая и др.). Понятие коммуникативного процесса.

Акт коммуникативной деятельности (коммуникативный акт) – минимальная законченная часть коммуникативного взаимодействия. Разные представления о структуре коммуникативного акта; схема коммуникативного акта, предложенная Б.Ю. Городецким. Основные компоненты коммуникативного акта: коммуниканты, сообщение, процессы порождения и понимания сообщения, обстоятельства коммуникативного акта, его цели (практические и коммуникативные). Вхождение коммуникативного акта в акт любой деятельности.

Человек как «место пересечения» коммуникативных потоков; трудности и опасности коммуникативного бытия современного человека, обусловливаемые сложностью и многообразием коммуникативных потоков (институциональных, межличностных и внутриличностных, экзистенциальных и социокультурных, массмедийных и др.). Коммуникативное пространство современной России, его противоречивость (повышение коммуникативной активности россиян и давление коммуникации как самоорганизующейся системы; обострение противоречий между официальными и неофициальными коммуникативными сферами; «конкуренция» коммуникативных парадигм монологического и диалогического типа и др.). Значение коммуникативного образования в подготовке современного филолога. Место коммуникативных компетенций в системе его профессиональных компетенций.

Теория коммуникация как наука. Ее разделы: теоретический (коммуникология, или коммуникатология) и прикладной (коммуникативистика). Введение в теорию коммуникации как пропедевтический курс в системе подготовки бакалавра филологии. Его предмет, задачи, место в подготовке бакалавра филологии.

## Раздел 1. Научные основы теории коммуникации

*Социально-философские, информационные, семиотические, лингвистические основы изучения коммуникации. Уровни коммуникации: межличностный, групповой, массовый, межкультурный. Сферы коммуникации: обиходно-бытовая, профессионально-деловая, научная, массово-информативная и художественно-творческая.*

### • Социально-философские, информационные, семиотические, лингвистические основы изучения коммуникации

Включенность коммуникации в различные социально-гуманитарные и естественные науки.

Социально-философские основы изучения коммуникации: обусловленность существования и развития общества новой коммуникационной реальностью; фундирование коммуникации на новых онтологиях (онтология сознания, онтология языка, онтология знаково-символических систем, онтология интеракции); выдвижение коммуникации в число фундаментальных факторов существования социальной реальности и ее реализаций (язык, сознание, культура, власть, экономика и др.); позиционирование человека – субъекта коммуникации – как интерессубъекта. Значимость идей Л.С. Выготского, Г.М. Маклюэна, Ю. Хабермаса, Н. Лумана для социально-философского анализа коммуникации.

Информационные основы изучения коммуникации: признание знания и технологий доминантами общественного развития как сущность информационного общества; движение исследования коммуникации от собственно информационного (К. Шеннон) к интеракционному (Г. Блумер и др.). Функции коммуникации. Модели коммуникации.

Семиотические основы изучения коммуникации: многообразие знаково-символических систем и их безграничные возможности в коммуникации; классы знаков: знаки-индексы, иконические знаки, знаки-символы, сложные знаки; классы знаковых систем; смысл как объект изучения семиотики, взаимодействие знаково-символических систем в пространстве смыслообразования. Значение работ Ю.М. Лотмана, Р. Барта, У. Эко для семиотического исследования коммуникации.

Лингвистические основы изучения коммуникации: функции языка и его статус в обществе (язык как репрезентация действительности и как способ бытия человека); представление о коммуникативной функции языка как о языке в действии; «от лингвистики языка – к лингвистике общения» – магистральная линия развития современного языковедения (Б.Ю. Городецкий). Значение трудов М.М. Бахтина, Р. Якобсона, Дж. Остина, Дж. Серля для лингвистического изучения коммуникации.

• **Уровни коммуникации: межличностный, групповой, массовый, межкультурный**

Уровни коммуникации по составу коммуникантов.

*Межличностная* коммуникация, ее связь с идеальной моделью коммуникации. Первичность межличностной коммуникации. Наблюдатель, включенный наблюдатель, посторонний в межличностной коммуникации. Межличностная коммуникация на фоне присутствующих свидетелей, в толпе, в ресторане и т.п. Формы межличностной коммуникации: непосредственный диалог; диалог, опосредованный техническими средствами.

*Групповая* коммуникация: внутри группы, между группами, индивид – группа (интервью политического лидера или разговор руководителя компании со служащими). Цель коммуникации в малых и в больших группах; в Интернете. Формы групповой коммуникации: полилог, дружеская беседа, деловые переговоры и др.

*Массовая* коммуникация. Адресат массовой коммуникации, его особенности. Асимметричность адресата и адресанта в массовой и групповой коммуникации. Коллективный адресат (телевидение, радио, газеты и т.д.). Мифологизированный обобщенный адресант. Функции мифологизированного обобщенного адресанта: объединительная, минимизирующая. Типы мифологизированного обобщенного адресанта: символический, реальный. Безопасность коммуникации. Ответственность коммуникантов.

*Межкультурная* коммуникация. Участники межкультурной коммуникации: отдельные личности, малые или большие группы, целые культуры, их разные сочетания. Формы межкультурной коммуникации: прямая / косвенная, опосредованная / непосредственная. Устная и письменная прямая коммуникация. Односторонность косвенной коммуникации. Источники косвенной коммуникации (произведения литературы и искусства, телевидение, газеты, Интернет и т.д.). Промежуточное звено при межкультурной коммуникации (переводчик, интерпретатор). Контекст межкультурной коммуникации.

• **Сферы коммуникации: обиходно-бытовая, профессионально-деловая, научная, массово-информативная и художественно-творческая**

Социальная природа коммуникации. Язык и коммуникация. Типовые взаимосвязи языка и общества (социальная дифференциация, интеграция и интерференция языков). Виды социальной вариативности языка (стратификационная и ситуативная). Факторы, обуславливающие социальные нормы речевой деятельности. «Речевой

этикет» как предписывающая норма речевого поведения в соответствующих ситуациях.

Понятие сферы коммуникации. Сфера коммуникации как отражение социальной иерархии общества.

Сфера коммуникации как социально обусловленная область коммуникативной деятельности человека. Сфера коммуникации как интеграция социально значимых характеристик коммуникации. Смысловая информация. Социальный статус коммуникантов, их коммуникативные роли и степень мотивированности в акте коммуникации. Параметры измерения социального статуса коммуникантов (прагматический, коммуникативный и когнитивный). Коммуникативный код как система нормативных вербальных / невербальных средств, предписанная данному статусу коммуниканта в определенной сфере коммуникации. Коммуникативная компетентность как когнитивный параметр статуса коммуниканта. Содержание коммуникативной компетентности: фоновые знания, знания нормативного употребления коммуникативных систем разных уровней, способность к адекватной интерпретации информации. Существенные когнитивные характеристики коммуникативной компетентности в конкретной социальной ситуации (способность к обобщению и систематизации; способность к адекватной оценке «статуса языка» и соответствия конкретным социальным условиям коммуникации; способность к интерпретирующей деятельности).

Сфера коммуникации как способ выражения социальной дифференциации и вариативности коммуникации. Дискурс как актуализация сферы коммуникации. Динамичность сферы коммуникации как результат мотивированности коммуникантов.

Информационное (тематическое) поле дискурса как основной критерий выделения типов сфер коммуникации. Способ и средства выражения информации как вспомогательные критерии типологизации сфер коммуникации. Основные типовые сферы коммуникации: обиходно-бытовая, профессионально-деловая, научная, массово-информативная и художественно-творческая. Их общая характеристика. Связь сфер коммуникации с функционально-стилистическими характеристиками видов речи современного русского языка.

**Раздел 2. Коммуникация как объект изучения филологии.**

*Сушность коммуникации как объекта изучения филологии. Язык, его функциональная природа. Естественный язык и другие языки. Структура акта вербальной коммуникации (коммуникативно-речевого*

акта). *Вербальная коммуникация как деятельность и как продукт. Невербальная коммуникация. Невербальные языки (язык тела, паралингвистические средства и др.). Принципы коммуникации в проекции на вербальную коммуникацию: принцип Сотрудничества; принцип Вежливости. Человек коммуницирующий; параметры его характеристики (мотивационный, когнитивный, функциональный). Типы коммуникантов. Инициация коммуникативно-речевого акта; правила инициации коммуникативно-речевого акта. Коммуникативные стратегии и тактики. Человек – создатель сообщения; деятельность по пониманию и интерпретации сообщения. Сообщение как компонент акта вербальной коммуникации. Критерии классификации сообщений. Цели коммуникации. Цели коммуникации и потребности человека. Коммуникативная ситуация, ее деятельностная сущность. Типы коммуникативных ситуаций. Референт. Процесс референции в коммуникации. Выбор и презентация референта. Варьирование структуры коммуникативно-речевого акта в зависимости от уровня и / или сферы коммуникации. Автокоммуникация. Эффективность коммуникации. Принцип риторичности в коммуникации. Коммуникативное взаимодействие; коммуникативная культура. Барьеры и уровни непонимания в коммуникации. Принцип конгруэнтности в коммуникации; конструктивная критика; манипуляции. Виды речевой коммуникации: устная, письменная. Интернет-коммуникация. Формы речевой коммуникации: монологическая, диалогическая. Жанры. Понятие дискурса. Дискурсивный анализ как метод изучения коммуникации в филологических науках. Виды дискурсивного анализа. Интегративный дискурсивный анализ. Критический дискурсивный анализ.*

• **Сущность коммуникации как объекта изучения филологии.**

Два подхода к изучению коммуникации, обусловленные пониманием языка как динамического / статического феномена.

Коммуникация как акт взаимодействия коммуникантов.

Коммуникация по заранее заданным моделям. Линейные (механистические) модели коммуникации.

Диалогичность коммуникации. Интерактивная природа коммуникации. Нелинейные (деятельностные) модели коммуникации.

Язык, его функциональная природа. Естественный язык и другие языки. Типы знаков: символы, иконы, индексы, метазнаки. Их роли в коммуникации.

Структура акта вербальной коммуникации (коммуникативно-речевого акта). Компоненты коммуникативно-речевого акта. Адресант, его функции в акте коммуникации. Адресат, его функции в акте комму-

никации. Контакт, его функции. Референт, его функции. Код, его функции. Контекст его функции.

Вербальная коммуникация как деятельность и как продукт. Невербальная коммуникация. Невербальные языки (язык тела, паралингвистические средства и др.). Взаимодействие вербальных и невербальных компонентов в акте коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация в зависимости от уровня коммуникации. Смешанная коммуникация. Креолизованное сообщение.

Принципы коммуникации в проекции на вербальную коммуникацию: принцип Сотрудничества и принцип Вежливости. Максима полноты информации, ее основные постулаты. Максима качества информации и ее основные постулаты. Роль максимы качества информации в осуществлении коммуникативно-речевого акта. Максима релевантности и ее влияние на контакт. Максима манеры, ее общий и частные постулаты. Принцип Вежливости в процессе коммуникации. Принцип Вежливости как совокупность максим. Максима такта и границы личной сферы. Максима великодушия и косвенные речевые тактики. Максима одобрения и речевая репутация коммуникантов. Максима скромности и вопрос о самооценках коммуникантов. Максима согласия как демонстрация неоппозиционности. Максима симпатии как проявление эмпатии. Конфликт максим. Относительность максим принципа Сотрудничества и принципа Вежливости. Критерии истинности, искренности и мотивированности в коммуникативно-речевом акте.

Человек коммуницирующий; параметры его характеристики. Мотивационный, когнитивный и функциональный параметры. Типы коммуникантов.

Инициация коммуникативного акта. Правила инициации коммуникативного акта. Коммуникативные стратегии и тактики. Составляющие коммуникативной стратегии: коммуникативная интенция, конвенции, коммуникативная цель, коммуникативная перспектива. Коммуникативная компетенция как набор коммуникативных стратегий, присущих индивиду или группе индивидов. Составляющие коммуникативной тактики: коммуникативное намерение, коммуникативный опыт.

Человек – создатель сообщения; деятельность по пониманию сообщения. Коммуникативная роль адресата. Коммуникативные стратегии адресата. Стратегии и тактики поведения адресата в ожидаемых и неожиданных коммуникативных актах.

Сообщение как компонент акта вербальной коммуникации. Критерии классификации сообщений. Классификация сообщений в зависимости от формы осуществления (устные / письменные); от количества уча-

стников (монолог, диалог, полилог). Виды сообщений в зависимости от цели коммуникации. Иллокутивные сообщения (ассертивы, директивы, комиссивы, экспрессивы, декларативы). Зависимость сообщения от сферы коммуникации. Сообщение и жанр. Сообщения прямые и не прямые.

Цели коммуникации. Информатика и фатика. Виды информационных целей. Виды фатических целей. Цели коммуникации и потребности человека. Множественность коммуникативных целей.

Коммуникативная ситуация. Ее деятельностная сущность. Типы коммуникативных ситуаций. Нормальная / экстремальная ситуация. Кооперативная / конфликтная ситуация. Фазы коммуникативной ситуации: завязывание контакта, поддержание контакта, прекращение контакта.

Референт. Процесс референции в коммуникации. Выбор и презентация референта. Референт и коммуникативная интенция. Позитивная, негативная, нейтральная презентация референта. Распределение предмета в структуре коммуникативно-речевого акта. Приемы транспорта референта. Правило фокуса. Референтная среда. Правило стереоскопии, многоаспектная презентация референта. Правило панорамы, фон сообщения. Правило унитарности. Правило изоморфизма. Правило фиксирования референта.

Варьирование структуры коммуникативно-речевого акта в зависимости от уровня и / или сферы коммуникации.

Автокоммуникация. Автокоммуникация и диалогическая коммуникация. Модель автокоммуникации: Я – Я' (где Я' другое состояние или другая стадия эволюции Я).

#### • **Эффективность коммуникации**

Коммуникативно-речевой акт и его осмысление с позиций учения о риторической коммуникации. Риторика как теория «ненасильственной коммуникации» (Ю. Хабермас).

Коммуникативное взаимодействие. Гармония взаимодействия партнеров в коммуникативно-речевом акте. Структура личности коммуникантов. Анализ их взаимодействия. Гибкость, адаптивность, вариативность как приемы налаживания коммуникативного взаимодействия. Умение слушать и слышать – основа построения эффективной речевой коммуникации.

Коммуникативная культура, ее основные слагаемые. Понятие коммуникативной культуры. Факторы, определяющие уровень развития коммуникативной культуры. Речевое поведение и картина мира.

Рассмотрение эффективности через призму достижения результата с наименьшими затратами.

Внешние и внутренние барьеры непонимания в процессе речевой коммуникации и их преодоление. Уровни непонимания: фонетический, семантический, стилистический, логический. Риторические эффекты в речевой коммуникации. Речевой этикет.

Принцип «говорим голосом, общаемся всем телом». Принцип конгруэнтности в коммуникации.

Искусство конструктивной критики. Понятие коммуникативной стратегии. Продуктивные и непродуктивные модели коммуникативного взаимодействия. Продуктивная модель коммуникативного взаимодействия как основа конструктивной критики.

Манипуляции в коммуникативно-речевой деятельности. Непродуктивные коммуникативные стратегии как основа формирования манипулятивного дискурса. Способы трансформации манипулятивного дискурса в дискурс продуктивного взаимодействия.

#### • **Устная – письменная коммуникация**

Признаки устной коммуникации. Контактность и непосредственность устной коммуникации. Построение и интерпретация устного сообщения с опорой на непосредственно наблюдаемую ситуацию. Роль невербальных компонентов в устной коммуникации (мимика, жесты, интонация). Дистантное общение в обстановке устного коммуникативно-речевого акта. Особенности невербальных составляющих в обстановке дистантного коммуникативно-речевого акта. Виды непосредственного общения.

Признаки письменной коммуникации. Дистантность и опосредованность письменной коммуникации. Роль невербальных средств в письменной коммуникации. Ситуация письменного общения, ее особенности.

#### • **Интернет-коммуникация**

Специфика Интернет-коммуникации. Признаки устности и письменности в Интернет-коммуникации. Невербальные средства в Интернет-коммуникации, их взаимодействие с вербальными. Интернет-сообщение: текст и гипертекст.

#### • **Монологическая – диалогическая коммуникация. Жанры**

Монолог и диалог с точки зрения постоянной / переменной роли коммуникантов. Смена коммуникативных ролей в диалоге. Взаимодействие коммуникантов в диалоге. Согласование реплик в диалоге. Жанры официального и неофициального диалогического общения.

Относительное постоянство ролей коммуникантов в монологическом общении. Адресованность монологического сообщения. Жанры официального и неофициального монологического общения.

Речевой жанр. Первичные / вторичные речевые жанры, их функционирование в монологической / диалогической речевой коммуникации. Монологические речевые жанры. Диалогические речевые жанры.

• **Дискурс-анализ как метод изучения коммуникации в филологических науках**

Дискурс как контекст вербально-коммуникативных практик. Дискурс, сообщение (текст) и речь как единицы коммуникации. Типы дискурса. Личностно-ориентированный дискурс (обиходное и художественное общение). Статусно-ориентированный дискурс (публицистический, политический, рекламный, коммерческий, тоталитарный, демократический, гуманитарный и др.). Устный, письменный, мысленный типы дискурса.

Структура и уровни дискурса. Макроструктура дискурса. Фрейм, скрипт, сценарий как минимальные единицы макроструктуры дискурса. Микроструктура (локальная) и ее минимальные единицы. Суперструктура (стандартная схема). Связность дискурса: глобальная (топик / тема / пропозиция) и локальная (референциальная, пространственная, временная, событийная).

Дискурс-анализ как интегральная сфера изучения языкового общения. Междисциплинарная структура дискурс-анализа. Роль контекста при интерпретации высказывания в рамках дискурс-анализа. Лингвистический уровень дискурс-анализа как основной для изучения структуры социальной коммуникации. Основные направления дискурс-анализа (текстуальный, интертекстуальный, контекстуальный). Слово, предложение, фраза, фрагмент текста, текст в целом как единицы внутренней структуры текста в рамках текстуального направления контент-анализа. Смысловые взаимосвязи (цитаты, ссылки, аллюзии, реминисценции) между структурами различных текстов как объект интертекстуального направления дискурс-анализа. Высказывание (текст, сообщение) как продукт деятельности социальных агентов, включенных в социальные взаимодействия, конкретную политическую и культурно-историческую ситуацию как объект контекстуального направления дискурс-анализа.

Методическая схема и этапы дискурс-анализа: определение цели исследования; обеспечение выборки (отбор единиц анализа); сбор материалов и документов (методы опроса, интервью, сканирования и т.д.); фиксация основных показателей речевого материала; транскрибирование (расшифровка) полученных данных; выявление их основных параметров; перекодировка в соответствии с системой принятых категорий; реконструкция смысла полученных сообщений; анализ об-

работанных данных, их обобщение и систематизация; общий отчет и выводы.

Предлагается следующая тематика **практических и лабораторных занятий**:

**Практические занятия**

- Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.
- Коммуникация как условие жизни современного человека.
- Уровни коммуникации (рассматриваются уровни в зависимости от профиля подготовки).
- Сферы коммуникации: вербальное и невербальное в разных сферах коммуникации.

**Лабораторные занятия:**

- Принципы вербальной коммуникации в действии. Деятельность Человека коммуницирующего по созданию и пониманию вербального (смешанного) сообщения.
- Эффективность вербальной коммуникации.
- Устная и письменная коммуникация как процесс.
- Монологическая и диалогическая коммуникация как процесс.
- Дискурс-анализ как метод исследования коммуникации.

Специфика и функции введения в теорию коммуникации как учебной дисциплины определяют особую значимость активных и интерактивных **форм занятий** (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, коммуникативного эксперимента, коммуникативного тренинга, иных форм), **самостоятельной работы студентов**, требуют использования разнообразных **оценочных средств** для контроля текущей успеваемости студентов.

Приведем образцы оценочных средств разных типов.

**По разделу «Введение»:**

**Эссе**

– Ваша версия суждения М. Шелера «Человек есть место встречи».

– Открытое произведение – для Вас загадка или очевидность? (По мотивам раздела «Поэтика открытого произведения» книги У. Эко «Открытое произведение: форма и неопределенность в современной поэтике». – СПб, 2004. – С. 24–65).

– Социальная деятельность и коммуникативная деятельность – что их объединяет и что разделяет?

**По разделу «Научные основы теории коммуникации»:**

**Тест**

1-й вопрос теста: кто автор положения *medium ergo message*?

(1. Ю. Хабермас; 2. М. Маклюэн; 3. Р. Барт)

2-й вопрос теста: к какому классу знаков относится вербальный текст?

(1. Знаки-индексы; 2. Иконические знаки; 3. Сложные знаки).

3-й вопрос теста: что означает изучение языка в действии?

(1. Изучение использования языка (use); 2. Изучение употребления языка (usage); 3. Изучение структуры и семантики языка).

**Вопросы для собеседования:**

– Каковы признаки информационного общества?

– Что такое коммуникация как реальность?

– На каких новых онтологиях базируется понимание коммуникации?

– Почему человек – субъект коммуникации – является интересубъектом?

– Оцените влияние идей Л.С. Выготского на современное понимание коммуникации.

**Темы письменных работ:**

– Опишите функции вербальной коммуникации на уровне групповой коммуникации.

– Массовая и групповая коммуникация: общее и различное.

– Межкультурная и межъязыковая коммуникация: что общего и чем различаются?

– Творческое начало у человека в условиях деловой коммуникации.

– Каковы связи между сферой коммуникации и ситуацией коммуникации?

**По разделу «Коммуникация как объект изучения филологии»:**

**Практические задания**

– Приведите примеры сообщений, образованных применением средств разных семиотических систем. Что меняется в сообщении при варьировании (смене) средств?

– Прослушайте аудиозапись № NN. Мысленно поместите текст в две-три коммуникативные ситуации (по своему выбору). Появляются ли смысловые различия между созданными сообщениями? Ответ аргументируйте.

– На примере собственного коммуникативного опыта докажите фундаментальную значимость цели коммуникации как компонента структуры коммуникативно-речевого акта.

– На основе собственных наблюдений установите причины возникновения конфликтов в речевой коммуникации. Как разрешаются (если разрешаются) эти конфликты?

– Сопоставьте тексты художественной и Интернет-миниатюры. Что объединяет оба текста в жанровом отношении? Что различает? Ответ аргументируйте.

**Эссе**

– Почему современная теория коммуникации не может обойтись без понятия «дискурс»? (По материалам 9–13 лекций книги В.В. Красных «Основы психолингвистики и теории коммуникации». М., 2001.)

– Составьте список речевых жанров, которыми вы пользуетесь в коммуникации. Оцените их по критерию эффективности / неэффективности. Ответ аргументируйте.

В системе форм самостоятельной работы по дисциплине могут присутствовать и **курсовые работы**. (Учебная дисциплина, в рамках которой выполняется курсовая работа, может избираться студентом по его усмотрению из некоторого перечня дисциплин, например: основной язык, литература страны изучаемого языка и др.)

Примерная тематика курсовых работ:

– Коммуникативные барьеры: причины и пути преодоления (на материале коммуникативно-речевой деятельности сокурсников, членов семьи и др.).

– Смешанное (креализованное) сообщение в публичной коммуникации.

– Коммуникативная и прагматическая цели коммуникации в сфере рекламы (на материале рекламных изданий).

– Диалогичность монологической коммуникации: рассказ о событиях.

– Запись на доске как письменное сообщение (на материале академической сферы коммуникации).

– Записка как письменное сообщение (на материале частных и служебных записок).

– Жанры Интернет-коммуникации (на примере сообщений разных жанров).

– Автокоммуникация в художественной прозе (на примере произведений разных авторов).

- Проект «Встреча одноклассников»: коммуникативное обеспечение.
- Самопрезентация в жизни современного человека (материал – по усмотрению студента).

**Перечень вопросов для зачета** составляется преподавателем, ведущим курс, исходя из методической стратегии, признанной на кафедре оптимальной: это могут быть теоретические вопросы / практические задания / другие формы; при выставлении зачета целесообразно учесть и уровень текущей успеваемости студента, результаты его самостоятельной работы.

**Учебно-методическое, информационное, материально-техническое обеспечение дисциплины:**

**а) основная литература:**

- Основы теории коммуникации / под ред. М.А. Василюка. М., 2003. 615 с.
- Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. Воронеж, 2000. 175 с.
- Клюев Е.В. Речевая коммуникация. М., 1998. 224 с.;

**б) дополнительная литература:**

- Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. М., 2007. 320 с.
- Барт Р. Основы семиологии // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с фр. М., 2000. С. 247–311.
- Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. М., 2000. С. 249–317.
- Городецкий Б.Ю. Коммуникативные основы теории языка (от лингвистики структуры к лингвистике общения) // Методы современной коммуникации. М., 2003. Вып.1. С. 84–95.
- Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2003. 288 с.
- Дементьев В.В. Непрямая коммуникация. М., 2006. 246 с.
- Конечкая В.П. Социология коммуникации. М., 1997. 304 с.
- Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М., 2001. 270 с.
- Крейдли Г.Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. М., 2004. 584 с.
- Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. М., 2002. 288 с.
- Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию. М., 2007. 368 с.

- Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003. 277 с.
- Макклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. М., 2007. С. 9–25; 87–91; 92–100; 193–202.
- Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура : курс лекций. М., 2004. 432 с.
- Михальская А.К. Основы риторики. М., 2002. 416 с.
- Никитина Е.С. Семиотика : учеб. пособ., М., 2006. 527 с.
- Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика / Русск. перев. М., 1985. 501 с.
- Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. XVII. Теория речевых актов / Русск. перев. М., 1986. 422 с.
- Основы общей риторики : учеб. пособ. / под ред. А.А. Чувакина. Барнаул, 2000. 110 с.
- Основы теории текста : учеб. пособ. / под ред. А.А. Чувакина. Барнаул, 2003. 181 с.
- Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2003. 656 с.
- Рождественский Ю.В. Теория риторики. М., 1997. 600 с.
- Чувакин А.А. Заметки об объекте современной филологии // Человек– коммуникация – текст. Барнаул, 1999. Вып. 3. С. 3–10.
- Чувакин А.А. Смешанная коммуникация в художественном тексте: основы эвокационного исследования. Барнаул, 1995. С. 3–48.
- Чудинов А.П., Будаев Э.В. Дискурсивное направление в зарубежной медиалингвистике // Известия Уральского государственного университета. 2006. № 45. Вып. 20. С. 167–175.
- Якобсон Р. Речевая коммуникация. Язык в отношении к другим системам коммуникации // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 306–331.
- Якубинский Л.П. О диалогической речи // Якубинский Л.П. Избранные работы: язык и его функционирование. М., 1986. С. 17–58.
- в) программное, коммуникационное, материально-техническое обеспечение дисциплины.** В соответствии с требованиями ФГОС ВПО учебная дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической документацией и материалами (рабочей программой, методическими указаниями для студентов и др.), а ее содержание – представлено в сети Интернет или локальной сети вуза (факультета). Обучающиеся должны иметь возможность оперативно обмениваться информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, иметь доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. Для проведения практических и лабораторных занятий и организации

самостоятельной работы по дисциплине требуются компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет.

В заключение отметим, что предложенные в публикации материалы обращены, разумеется, прежде всего к кафедре и преподавателю, которые на их основе и с учетом традиций вуза (факультета, кафедры), потребностей регионального сегмента национального (и мирового) рынка труда и, конечно, с учетом профиля подготовки бакалавров и основного языка / языков, используя приведенные материалы, определяют концепцию курса, отбирают теоретический материал, составляют рабочую программу учебной дисциплины. Незыблемо, с точки зрения ФГОС ВПО, одно: получение «на выходе» тех конечных результатов освоения учебной дисциплины, которые проектируются стандартом и документами учебно-методического объединения классических университетов.

### Литература

Ковтун Е.Н., Родионова С.Е. Образовательные программы «болонского» типа и возможность их реализации в России (на примере направления подготовки ВПО «Филология») // [Рукопись]. М., 2008.

Кощей Л.А., Чувакин А.А. Homo Loquens как исходная реальность и объект филологии: к постановке проблемы // Филология и человек. 2006. № 1.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки ФИЛОЛОГИЯ. Квалификация (степень) бакалавр. М., 2008: проект [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philol.msu.ru/~umo/>

Чувакин А.А. Заметки об объекте современной филологии // Человек – коммуникация – текст. Барнаул, 1999. Вып. 3.

Чувакин А.А. Теория текста: объект и предмет исследования // Критика и семиотика. Новосибирск, 2004. № 7.

## ФИЛОЛОГИЯ: ЛЮДИ, ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

### Первый Конгресс РОПРЯЛ «Русский язык и культура в формировании социокультурного пространства России» (Санкт-Петербург, 14–18 октября 2008 г.)

С 14 по 18 октября 2008 года в Санкт-Петербурге состоялся I Конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) «Русский язык и культура в формировании единого социокультурного пространства России». В работе Конгресса приняли участие специалисты в области изучения, преподавания и распространения русского языка и культуры из разных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Белгорода, Воронежа, Екатеринбургa, Иваново, Иркутска, Казани, Краснодарa, Красноярска, Магнитогорска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новгорода, Оренбурга, Перми, Пскова, Пятигорска, Рязани, Саранска, Саратова, Смоленска, Ставрополя, Твери, Томска, Тулы, Тюмени, Уфы, Челябинска и др., а также из стран ближнего и дальнего зарубежья – Казахстана, Украины, Монголии, Китая.

Организаторами Конгресса выступили Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) во главе с его президентом председателем Попечительского совета фонда «Русский мир» Л.А. Вербицкой, а также Вице-президентом РОПРЯЛ и членом Попечительского совета фонда «Русский мир» Е.Е. Юрковым; Санкт-Петербургский государственный университет и фонд «Русский мир».

В работе конгресса участвовали более 100 учебно-научных и научно-академических заведений России, в том числе Институт специальной педагогики и психологии (Санкт-Петербург), Невский институт языка и культуры; Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Институт лингвистических исследований РАН, Институт языкознания РАН (Москва), Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный лингвистический университет, Российский государственный университет имени Иммануила Канта, Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена,



Санкт-Петербургский государственный горный институт, а также вузы России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

С приветственным словом к участникам Конгресса обратилась академик РАО, президент РОПРЯЛ Л.А. Вербицкая. Были заслушаны доклады академика РАН Н.Н. Казанского о перспективах преподавания русского языка; доктора филологических наук М.Л. Каленчук о новом орфоэпическом словаре, вызвавшие оживленную дискуссию.

Работа Конгресса проходила по пяти направлениям. В рамках таких направлений, как «Русский язык и культура в школе: проблемы обучения и воспитания учащихся» и «Концептуальные основы преподавания русского языка как неродного для разных возрастных категорий учащихся в условиях поликультурной среды», рассматривались проблемы, связанные с разработкой современной концепции содержания и обучения русскому языку в школе, развитием речевых способностей, воспитанием языковой культуры учащихся в процессе обучения русскому языку и др. В обсуждении этих проблем активное участие приняли не только преподаватели высшей школы Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Мурманска и других городов, но и учителя гимназий, школьные преподаватели русского языка и литературы из разных городов России (Оренбурга, Пскова, Саранска и т.д.). Проблеме инновации и реформы в области обучения русскому языку в высших и средних учебных заведениях России был посвящен Круглый стол, прошедший под руководством доктора филологических наук, профессора Российского государственного университета им. А.И. Герцена И.П. Лысаковой, доцента Башкирского государственного университета Н.Ш. Галлямовой, профессора, доктора педагогических наук, научного руководителя Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга Н.М. Свиридовой.

Большой интерес у участников Конгресса вызвало третье направления работы – «Государственная политика в области развития и укрепления позиций русского языка в РФ и за рубежом». В рамках данного направления обсуждались проблемы, связанные с необходимостью государственной поддержки русского языка в России и за рубежом; развитием и распространением русского языка как государственного и др. Были заслушаны пленарные доклады доктора филологических наук, профессора Института языкознания РАН В.З. Демьянкова о разработке многоуровневой программы, направленной на изучение особенностей нормирования русского языка в различные периоды развития России; кандидата филологических наук, профессора Московского государственного лингвистического университета В.Н. Белоусова, рассказавшего об особенностях языкового законодательства и функциональной стратификации языков в федеративном государстве; кандидата социологических наук, главного юриста Фонда «Русский мир» В.Б. Подмаско о необходимости научного изучения официального государственного языка (в частности, языка закона); доктора филологических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета В.В. Химика о необходимости возвышения русского языка до национальной идеи и придания ему статуса общенациональ-

ной ценности, доктора филологических наук, профессора Российского университета дружбы народов В.М. Шаклеин о русском языке как факторе безопасности лингвокультурной среды России. В обсуждении докладов приняли участие ученые из Воронежа, Москвы, Нижнего Новгорода, Твери, Пятигорска и других городов России и Казахстана.

Четвертое направление – «Язык СМИ сегодня: проблемы и перспективы» – также привлекло внимание участников Конгресса. В рамках данного направления рассматривались такие вопросы, как роль и значение СМИ в деле пропаганды русского языка и культуры; русский язык на страницах газет и журналов и др. Были заслушаны пленарные доклады доктора филологических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета В.И. Конькова, сообщившего об особенностях формирования речевой среды СМИ; доктора филологических наук, профессора Башкирского государственного университета Р.А. Каримовой, рассказавшей о способах и средствах представления знаний в публицистическом гипердискурсе; доктора филологических наук, профессора Саратовского государственного университета М.А. Кормилицыной о роли современной прессы в пропаганде культуры речевого общения; доктора филологических наук, профессора Алтайского государственного университета Т.В. Чернышовой о языке СМИ как речевом идеале современного публичного и обыденного общения. В обсуждении проблематики направления активное участие приняли ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Перми, Челябинска и других городов России.

Всеобщее внимание привлекло пятое направление работы Конгресса – «Русский язык и культура в современной России: проблемы развития и взаимодействия», в рамках которого были обсуждены следующие вопросы: русский язык как основа сохранения единого социокультурного пространства России и развития межкультурного взаимодействия; образ России в контексте общемирового культурного процесса и др. Были заслушаны пленарные доклады доктора филологических наук, профессора Московского государственного лингвистического университета Ю.Н. Караулова, рассказавшего о трех концептосферах русского языкового сознания и трех «реальностях» мира; доктора филологических наук, профессора Московского государственного университета В.В. Красных, в выступлении которой раскрывались особенности грамматики лингвокультуры; доктора филологических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета В.М. Мокиенко и доктора филологических наук, профессора Псковского государственного педагогического университета Т.Г. Никитиной, в совместном сообщении которых были представлены русские поговорки и народные сравнения как объект современной тезаурусной лексикографии; доктора филологических наук, профессора Московского государственного университета И.Г. Милославского, в выступлении которого прозвучал призыв к лингвистам активнее участвовать в создании новых слов, в частности терминологии, а также создавать современные учебники русского языка; доктора филологических наук, доцента Московского государственного университета М.Ю. Сидоровой, которая в качестве актуаль-

ной задачи русистики представила изучение профессионального метаязыкового сознания и др. В обсуждении приняли участие ученые Воронежа, Мурманска, Санкт-Петербурга, Смоленска и других городов России и зарубежья

Активное, заинтересованное обсуждение вызвали проблемы, рассматривавшиеся в ходе проведения Круглого стола «Роль государства в воспитании современной языковой личности», прошедшего под руководством вице-президента РОПРЯЛ Е.Е. Юркова и главного редактора журнала «Мир русского слова» К.А. Роговой. С большим интересом были выслушаны выступления ученых из Москвы и Санкт-Петербурга: С.И. Богданова, В.В. Воробьева; И.А. Гончар, Ю.Н. Караулова, В.В. Красных, К.Г. Красухина, И.Г. Милославского, В.М. Мокиенко, С.Г. Тер-Минасовой, Т.В. Черниговской, А.Н. Щукина и многих других участников, в выступлениях которых был поставлен ряд проблем развития и функционирования современного русского языка, а также вопрос о роли государства в воспитании современной языковой личности.

На заключительном пленарном заседании была отмечена плодотворная работа всех направлений в рамках Конгресса. Участники конгресса выразили слова признательности и благодарности в адрес организаторов. Следующий конгресс планируется провести через три года.

*Т.В. Чернышова*

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

***Пищальникова В.А. История и теория психолингвистики : курс лекций. Ч. 2. Этнопсихолингвистика. – М.: Московский государственный лингвистический университет, 2007. – 228 с.***

Учебное пособие В.А. Пищальниковой посвящено сравнительно новому направлению отечественной психолингвистики – этнопсихолингвистике. В нем представлен перечень специфических задач, анализируются ключевые проблемы, уточняются объект и методы исследования. Автор выделяет центральное понятие этнопсихолингвистики – речевую деятельность, которая рассматривается сквозь призму этнической картины мира, и это позволяет В.А. Пищальниковой развивать аргументы, подтверждающие главное теоретическое положение о том, что культура как разновидность деятельности характеризуется этническим компонентом, а язык как транслятор культуры интегрирует в себе различные этнопсихические маркеры, которые проявляются, в первую очередь, в речевой деятельности.

Учебное пособие состоит из 7 лекций, заключения и обширного списка литературы на 24 страницах. Оно предназначено для студентов и аспирантов, делающих первые шаги в науке, но будет интересно и для широкого круга лингвистов.

Интересной для лингвистов, этнологов и социологов представляется первая лекция – «**Этнопсихолингвистика как раздел психолингвистики. Теоретическая основа и исследовательские проблемы**», – в которой В.А. Пищальникова рассматривает объект, предмет и задачи этнопсихолингвистики и приступает к анализу методологии нового направления. Вслед за А.А. Леонтьевым, автор определяет этнопсихолингвистику как область психолингвистики, и все вопросы в пособии рассматриваются в соответствии с этим положением и с поправкой на культурные доминанты.

Объектом этнопсихолингвистики объявляются национально-культурные варианты речевой деятельности (как одного из видов психической деятельности человека). Этот объект этнопсихолингвистики привязан к культурным постулатам о том, что национальная культура существует в ментальной, предметной и деятельностной формах, о том, что ментальные составляющие национальной культуры не могут быть «перекодированы» адекватно (по причине

их лакуарности), о том, что национально-культурные специфические элементы сознания различными этносами вербализуются по-разному. Самое существенное речевое сходство в компонентах ядра языкового сознания наблюдается лишь в эмоциональной и цветовой лексике разных лингвокультур, что, по видимому, объясняется тем, что представители разных этносов переживают один и тот же набор эмоций (хотя и по-разному) и воспринимают мир в одних и тех же красках (хотя членят и называют цвета и их оттенки неодинаково).

Следующим важным вопросом, рассмотренным в первой лекции В.А. Пищальниковой, становится вопрос о поиске собственных методик анализа речевого поведения в этнопсихолингвистике. В.А. Пищальникова предлагает в рамках новой научной парадигмы различать такие понятия, как «сознание» («образ мира», «образ сознания»), «языковое сознание» («образ языкового сознания») и «культурологическая константа», и не сводить все к упрощенному видению ядра речевой деятельности как соотношению реакций-ассоциатов.

Определив этнопсихолингвистику как интегративное (сверхсуммативное) направление, прошедшее путь от системно-структурной лингвистики к страноведению, а от него – к лингвострановедению и лингвокультурологии через психолингвистику и когнитивную лингвистику, В.А. Пищальникова перечисляет девять задач, определяющих границы этнопсихолингвистики, и предлагает обратиться к социолингвистическим и психолингвистическим методам, сочетание которых позволит подойти к выработке специфических этнопсихолингвистических методик изучения речевого поведения. При этом автор критикует чрезмерное увлечение ассоциативными методиками, выработанными в антропологии, социологии, психологии, полагая, что ассоциативное поле – лишь одна из многих и не самых аргументированных моделей репрезентации. Оно относится к моделям аналогической интерпретации, постулирует изоморфизм между репрезентируемыми мирами и не предполагает учета национальной специфики модели сознания. Однако (и автор неоднократно подчеркивает это в работе) этнопсихолингвистические методики должны быть нацелены на установление механизма национально-культурного смыслообразования.

Во второй лекции – «**Основные направления отечественных этнопсихолингвистических исследований**» – В.А. Пищальникова отмечает отсутствие единой системы терминопонятий этнопсихолингвистики, проводит аналитический обзор этнолингвистических теоретических построений и фокусирует внимание на необходимости разработки методик проведения этнопсихолингвистического анализа речевой деятельности как проявления ее межкультурной вариативности, то есть выделяет лингво-деятельностный аспект этноса в межкультурной коммуникации.

Большая часть лекции посвящена критическому осмыслению различных проблем этнопсихолингвистики, представленных в завершенных диссертационных исследованиях (например, исследования М.В. Сергеевой, Е.М. Евсеевой (с. 39 пособия), и анализу методологии исследования в них. Напомним, В.А. Пищальникова неоднократно подчеркивала, что этнопсихолингвистика до

сих пор пользуется методами лингвистики и психологии, подменяя объект исследования, и поэтому считает результаты таких исследований не вполне объективными, так как они не учитывают этнопсихические особенности протекания речевой деятельности. Во многих работах, объявленных как психолингвистические, фактически системноцентрическими методами исследуются лингвистические или лингвокультурологические предметы и объекты, смешиваются понятия психологические и понятия лингвистические, не имеющие прямого отношения к психолингвистике, хотя и утверждается, что в них проводятся якобы психолингвистические эксперименты (например, работы О.В. Степановой, Б.А. Ахатовой, С.В. Пинигиной, Т.А. Сироткина, С. Л. Дурандиной (с. 41 пособия).

Большой интерес для всех лингвистов, как начинающих, так и опытных, представляет та часть лекции, в которой рассматривается вопрос о подходе к изучению межэтнических ценностей. В.А. Пищальникова подчеркивает, что через изучение ценностей разных этносов можно установить их различные этнические характеристики и стереотипы, провести этническую (само)идентификацию.

Ценным в книге В. А. Пищальниковой является новый взгляд на знаменитую теорию Сепира-Уорфа. Отношения между знаками языка, которыми оперирует человек, неадекватно отражают отношения между их референтами. Многих отношений в природе вообще не существует, а существуют они только в воззрениях говорящего. В.А. Пищальникова полагает, что язык отчасти определяет наше восприятие мира, его категоризацию, картину мира в целом.

Именно поэтому В.А. Пищальникова утверждает, что в специфические задачи этнопсихолингвистики входит разработка особых процедур анализа языковых фактов, которые дают объективные данные. По ее мнению, это могут быть ассоциативные эксперименты массового характера, при этом с сожалением отмечается, что в этнопсихолингвистике методика массового эксперимента, равно как и методика обработки его результатов, еще не разработаны. В работе уточняется, что результаты, полученные ассоциативным экспериментом, должны быть верифицированы другими методиками. Главная черта современных этнопсихолингвистических исследований, по мнению В.А. Пищальниковой, – всего лишь поверхностная интерпретация полученных некорректным методом результатов. Здесь В.А. Пищальникова совершенно права, и лингвистам следует как можно скорее задуматься над этой ситуацией.

Третья лекция – «**Характер интерпретации данных ассоциативного эксперимента**» – посвящена критической оценке метода и методик ассоциативного эксперимента в различном их виде при анализе психо- и этнолингвистических проблем. В.А. Пищальникова напоминает, что и Т.Н. Ушакова неоднократно указывала на его недостатки. Последний автор предписывает этому эксперименту четкие методологические принципы, которые до сих пор мало учитываются молодыми исследователями. Главная методологическая ошибка в этом эксперименте – сопоставление лексем, а не образов сознания и мышления. Автор подробно описывает требования к экспериментатору, отмечая,

что к параметрам успешности эксперимента относятся и условия его проведения, и личность экспериментатора, и его авторитет.

В четвертой лекции – **«Межкультурная коммуникация как проблема этнопсихолингвистики»** – рассуждения о роли *этнофактора* в речевой деятельности продолжают в иной плоскости. Автор обращается к такому интересному и сложному феномену, как речевая деятельность переводчика. Здесь рассматриваются типы лакунарности и ее роль в *межэтнической коммуникации*, уточняется положение о том, что перевод является одним из объективных средств межкультурной коммуникации, подчеркивается, что типология техник перевода существует, но нег и не может быть типологии переводческих решений.

По мнению В.А. Пищальниковой, *речевой механизм* можно представить как триединство *языковой способности (когнитивной компетенции), языковой компетенции и коммуникации*, и она рекомендует переводоведам вернуться к идеям А.Н. Леонтьева о разделении *личностного смысла* и *психологического значения*, являющихся актуальными для перевода. В пособии подчеркивается огромная роль личности самого переводчика в *ретрансляции этнопсихолингвистических доминант* с одного языка на другой, ибо перевод является психолингвистическим процессом речемыслительной деятельности переводчика.

В пятой лекции **«Этнопсихолингвистическое исследование этнической напряженности»** В.А. Пищальникова поднимает злободневный в настоящее время вопрос о расколе массового сознания на множество *этнических идентичностей*, о переструктурировании межэтнических отношений согласно новым социальным условиям в мире (см. работу Г.У. Солдатовой, 1998 (с. 154 пособия)).

В предыдущих лекциях В.А. Пищальникова неоднократно подвергала критике ассоциативный эксперимент, но в этой лекции признается возможность его использования в качестве инструмента для диагностики межэтнической напряженности. Я не вижу в этих утверждениях В.А. Пищальниковой никакого противоречия, так как установлено, что именно в ассоциациях, в их эмоционально-оценочном компоненте наиболее четко проявляется культурно-специфичное знание, представление, мнение. Психологическая модель концепта должна включать эмоционально-оценочный компонент, что подтверждается рядом аргументов, приведенных в данной лекции.

Согласно концепции В.А. Пищальниковой, аксиологический (эмоционально-оценочный) компонент в структуре концепта может отражать *этническую напряженность*. Данная гипотеза была верифицирована и подтверждена в работе З.Г. Адамовой, результатам которой в данной лекции уделяется особое внимание. Анализируя ее, автор рецензируемого пособия подчеркивает важность эмоционально-оценочного компонента в структуре стереотипов, поскольку в нем сконцентрированы чувства, отражающие мотивационные состояния *этнической группы*, во многом определяющие социальное поведение ее членов и всего этноса.

Следующая лекция В.А. Пищальниковой посвящена *корпоральной семантике*. В ней В. А. Пищальникова рассматривает работы А.А. Залевской,

которая полагает, что «язык ничего не значит сам по себе, что он паразитирует на невербальных знаках...» (с. 179 пособия). Идеи А.А. Залевской успешно разрабатываются ее учениками, и В.А. Пищальникова подробно реферировала некоторые из этих работ.

Из этой лекции читатель узнает о содержании термина *корпоральный* в его сочетании с термином *семантика*. Необходимость включения данного термина в список важных понятий этнопсихолингвистики В.А. Пищальникова объясняет тем, что изучение того, как воспринимается и прочитывается человеческое тело с позиции *автохтонного эталона*, является одной из проблем этнопсихологии.

Последняя, седьмая лекция – **«Национальная специфика грамматических структур как проявление специфики национального (языкового) сознания»** – занимает всего три страницы и представляет собой краткий анализ-реферат нескольких исследований, доказывающих, что национальную (этническую) специфику языков можно изучать, как показано в работах Н.Д. Голева и А.Г. Антипова, и по грамматическим структурам языков, в том числе, и по моделям словообразования.

В заключительной части работы В.А. Пищальникова выстраивает теоретический базис этнопсихолингвистики на методологических посылах психологии, психолингвистики, лингвокультурологии и концептологии.

Все сказанное выше свидетельствует о том, что перед нами новаторская работа, в которой выделены четкие контуры новой лингвистической парадигмы – этнопсихолингвистики. Труд В.А. Пищальниковой убеждает нас в том, что все современные лингвистические парадигмы в их различных комбинациях обладают методологическим и методическим потенциалом для исследования актуальных в современном мире этнических проблем – мировоззренческих, ментальных, вербальных, соматических, акциональных и т.д.

В учебном пособии В.А. Пищальниковой, конечно же, рассмотрены не все стороны и аспекты этнопсихолингвистики как нового научного направления. Но в нем представлен анализ результатов многих исследований, что позволило автору сформулировать новые задачи, выделить базовые терминопонятия, расшифровать их значение для начинающих исследователей, представить собственную точку зрения на адекватность методов проведения эксперимента и методик их интерпретации в рамках нового раздела психолингвистики. Данное учебное пособие носит энциклопедический и интерпретационный характер. В.А. Пищальникова хорошо известна как талантливый исследователь-психолингвист, ее рассуждения и мнения представляются авторитетными и достоверными, а ее критические замечания должны привести к переосмыслению некоторых уже устоявшихся в науке выводов и постулатов.

Особого внимания заслуживают многочисленные фрагменты лекций, посвященные поиску собственной методологии этнопсихолингвистики. Автор справедливо отмечает, что те молодые лингвисты, которые собираются проводить этнопсихолингвистические исследования, должны помнить, что они изучают речевую деятельность представителей отдельного *этносоциума* или ведут

сравнение образцов речевого поведения разных этносоциумов, а, следовательно, этот объект не следует подменять лингвистическим / психолингвистическим и выдавать ассоциативный эксперимент или изучение семантики слов, фразеологизмов и т.п. за этнопсихолингвистический анализ, поскольку в них выявляется не структура речи в *социоэтническом дискурсе*, а, в лучшем случае, реализация лингвистического значения. Согласимся, что столь популярный в психолингвистике анализ лексических значений слов-ассоциатов не может в полной мере описать «образ сознания». И здесь нам следует довериться интуиции В.А. Пищальниковой, которая в данном пособии успешно пытается перейти от психолингвистической парадигмы к парадигме этнопсихолингвистики.

В заключение рецензии отмечу некоторые недочеты данного пособия. Так, считаю неудобным для читателя значительно различающиеся размеры лекций (более 80 страниц вторая лекция, и всего три страницы – седьмая).

Представляется излишним повторное приведение В.А. Пищальниковой в Заключении определения сознания как совокупности «фигур знаний», так как этот термин неоднократно пояснялся выше и данное определение не добавляет ничего нового. Точки зрения Ю.Н. Караулова и А.А. Леонтьева на языковое сознание не противоречат друг другу, и поэтому их противопоставление в заключении представляется неоправданным. И последнее: в Заключении, на мой взгляд, отсутствует ожидаемое обобщение всего содержания данного пособия.

Однако эти замечания нисколько не снижают как теоретической, так и практической ценности данного пособия. Автор работы удачно объединил достижения психо- и этнолингвистики с потребностями нового направления. К положительным моментам книги отношу серьезный критический подход В.А. Пищальниковой к этим достижениям, на фоне которых она постоянно уточняет свои личные взгляды, предлагает собственные подходы к рассматриваемым проблемам.

Рецензируемое пособие В.А. Пищальниковой, по сути дела, является энциклопедическим словарем по этнопсихолингвистике, так как оно содержит полный набор этнопсихолингвистических терминопонятий.

Считаю новую книгу В.А. Пищальниковой заметным явлением в отечественной лингвистической науке, и научная общественность должна поблагодарить автора за проделанный труд по подготовке данного пособия.

**В.И. Шаховский**

**Г.В. Кукуева** **Рассказы В.М. Шукшина: лингвотипологическое исследование : Монография. – Барнаул : Барнаулский государственный педагогический ун-т, 2008. – 184 с.**

Работа Г.В. Кукуевой продолжает традицию исследования языка Шукшина в рамках филологического шукшиноведения и в то же время предлагает новый аспект рассмотрения произведений писателя. Рассказы Шукшина осмыслены как динамическая система. Оценивая малую прозу Шукшина в качестве уникального явления отечественной культуры XX века, автор монографии пытается представить шукшинские тексты самостоятельными образованиями, способными приобретать память и вступать в диалогические отношения с другими текстами.

Актуальность рецензируемой работы определяется интегративным взглядом на проблему лингвотипологического описания. Целевая установка исследования предполагала создание многоуровневой целостной лингвопоэтической типологии текстов малой прозы Шукшина. Последовательно придерживаясь данной установки, Г.В. Кукуева сумела по-новому взглянуть на традиционную категорию «образ автора». Уровни репрезентации авторского начала (говорящий субъект, представленный в структуре текста, говорящий субъект, стоящий над миром художественного текста, речевая структура образа автора), приобретаемая статус параметров типологизации, отражают свойственную текстам малой прозы динамичность, помогают увидеть модели художественно-речевой структуры и их возможные модификации и, следовательно, позволяют выявить лингвопоэтические типы и подтипы текстов.

В первом разделе работы – «Проблема лингвопоэтической дифференциации текстов малой прозы В.М. Шукшина в филологии», раскрываются общеметодологические основы исследования, определяется содержание ключевых теоретических понятий. Основопологающим моментом типологического описания шукшинских рассказов служит обоснование их базового лингвопоэтического типа, соединяющего приметы классического нарратива с повествованием, ориентированным на диалог-реплику. Автором обосновывается доминантный признак базового типа – деривационная валентность, которая определяет характер эвоцирования и преобразования примет текстов с другой жанровой «этикеткой». Понятие базового типа является центральным в идейном содержании исследования и отражает его основную проблематику.

Во второй части – «Тексты малой прозы В.М. Шукшина как объект лингвотипологического описания» – интересными представляются результаты исследования моделей и модификаций художественно-речевой структуры текстов рассказов с экзегетическим и диегетическим повествователем. Описывая модифицирование моделей художественно-речевой структуры основного и генетически производного типов текстов, Г.В. Кукуева раскрывает новые стороны лингвопоэтики Шукшина, связанные с явлением трансформации «образа автора» и «образа читателя». Обнаружение и объяснение данного явления по-

зволяет говорить об особой риторической программе, заложенной в текстах малой прозы писателя.

В третьей части работы – «Лингвопоэтические типы текстов рассказов В.М. Шукшина как результат взаимодействия первичных и вторичных речевых жанров» – демонстрируются результаты анализа синкретических типов текстов с точки зрения формы, содержания, композиционно-речевой структуры. Лингвопоэтическая значимость данных типов текстов раскрывается в особых способах конструирования художественной действительности.

Особо значимым в данной части работы представляется сопряжение теории М.М. Бахтина о первичных / вторичных речевых жанрах с идеями деривации и методики жанрового поля. Автор монографии формулирует положение о деривационных отношениях как о таком характере связи между исходным и производным от него текстом, при котором сохраняется общее структурное и смысловое ядро текстов, а в качестве переменной выступают смыслы, возникшие на базе преобразования первичных признаков. Отталкиваясь от выдвинутого положения, Г.В. Кукуева рассматривает внутрижанровые разновидности текстов малой прозы Шукшина (рассказы-сценки, рассказы-анекдоты) как закономерный результат деривационного процесса, отражающий функционально-семантическое или субстанциональное преобразование исходной единицы, под которой мыслится базовый лингвопоэтический тип текстов.

Применение стилистического принципа выдвижения и методики жанрового поля к описанию механизма эвоцирования первичных жанровых признаков в поуровневой организации рассказов-анекдотов и рассказов-сенок позволяет не только выявить единый критерий типологизации подобных синкретических форм повествования, но и произвести членение текстов малой прозы писателя на центр, ближнюю и дальнюю периферию. Неоспоримую ценность для осмысления специфики языка писателя представляют новые лингвистические знания о пластичности текстов, о возможности их межтипологического и внутритипологического пересечения, о разной степени плотности первичных жанровых признаков в поуровневой организации рассказов-анекдотов и рассказов-сенок. Выявленные особенности рассматриваются в работе как особого рода лингвопоэтические характеристики малой прозы Шукшина.

Проведенный Г.В. Кукуевой всесторонний анализ текстового материала позволяет в качестве наиболее значимого отметить следующее положение. Целостность «материка» шукшинского рассказа задается, с одной стороны, динамичностью и открытостью текстов, с другой, – корпусом типологически значимых жанровых и композиционно-речевых признаков, находящихся в отношениях взаимообусловленности и варьированности, что указывает на невозможность построения типологии текстов с учетом отдельно взятого вектора типологизации.

Убедительность выводов демонстрируется схемами, отражающими результаты исследования текстов рассказов на каждом уровне типологизации.

Исследование Г.В. Кукуевой представляется актуальным, законченным, имеющим серьезную теоретическую и практическую ценность. В монографии содержится оригинальная научная концепция лингвопоэтической типологии, предлагающая значимые критерии классифицирования текстов, принадлежащих к жанровой форме рассказа. Полученные результаты важны для характеристики языкового творчества Шукшина. В частности, существенным представляется вывод о том, что динамичность и модифицирование моделей художественно-речевой структуры служат фактором, обуславливающим создание «затрудненной» формы текста и возможность многовариантного прочтения произведений. В работе намечается корпус новых идей в области исследования языка художественной литературы, совершенно справедливо говорится о необходимости анализа малых форм художественной прозы других авторов.

*А.И. Куляпин*

## **ФИЛОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ**

### **ПОЛОЖЕНИЕ**

#### **о порядке проведения Интернет-конференции**

1. Интернет-конференцию проводит редакция журнала «Филология и человек».

2. Информация о планируемой конференции и ее материалы публикуются в журнале.

3. Конференция проводится в форме трех круглых столов.

Научные руководители – модераторы круглых столов:

- Иосиф Абрамович Стернин, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой общего языкознания и стилистики Воронежского государственного университета – круглый стол № 1: Филология и человеческая деятельность;

- Игорь Витальевич Силантьев, доктор филологических наук, профессор, заместитель директора Института филологии СО РАН, – круглый стол № 2: Филология и гуманитарные науки;

- Евгения Наумовна Басовская, кандидат филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, – круглый стол № 3: Филология и образованность человека.

4. К участию в круглых столах приглашаются филологи и другие специалисты, а также аспиранты, магистранты и студенты вузов, практические работники, заинтересованные в разработке проблематики, вынесенной на обсуждение.

5. Участие в круглых столах осуществляется посредством электронной переписки с научными руководителями – модераторами круглых столов. Инициаторами переписки могут вступать как модераторы, так и читатели журнала. Электронные адреса:

Е.Н. Басовской: jeni\_ba@mail.ru

И.В. Силантьева: silantev@sscadm.nsu.ru

И.А. Стернина: sternin@phil.vsu.ru

6. Время проведения круглых столов: апрель – июнь 2009 года

7. Полученные материалы обрабатываются (сентябрь – октябрь 2009 года) и к 1 ноября 2009 года представляются для публикации в журнале. Время публикации – 2010 год.

8. Авторство присланных материалов и откликов сохраняется, однако организаторы конференции оставляет за собой право сокращения и редактирования материалов и откликов при их опубликовании (без дополнительных согласований текста с его авторами).

9. За участие в конференции, а также опубликование ее материалов в журнале «Филология и человек» плата не взимается.

### **Программа конференции**

#### **Круглый стол № 1. Филология и человеческая деятельность**

##### **1.1. ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА**

Понимание становления, развития и изучения человека во многом опирается на его деятельностную природу (учитывает преобразовательную, познавательную (когнитивную, ценностно-ориентационную (аксиологическую), коммуникативную (деятельность общения), художественно-эстетическую деятельность человека).

- ♦ Каков вклад филологических наук и дисциплин в становление, развитие и изучение деятельности человека?

Если «духовность» выражает полноту и целостность внутренней жизни человека (согласие его разума, свободной воли и высших чувств; единство творческой свободы благотворящего разума, добродетельной воли, благодарной памяти, недремлющей совести и бессознательной деятельности), то

- ♦ Каков вклад филологии и филологических дисциплин в развитие духовности человека?

- ♦ В каких случаях филология является уникальным средством формирования духовности?

##### **1.2. ФИЛОЛОГИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ**

- ♦ Какие филологические науки и дисциплины в наибольшей степени нацелены на становление и развитие человека? Во взаимодействии с какими науками?

- ♦ При каких условиях филологические науки и дисциплины в наибольшей степени способны реализовать себя в процессах становления и развития человека?

- ♦ Какие филологические науки и дисциплины в наибольшей степени нацелены на становление и развитие личности? Во взаимодействии с какими науками?

- ♦ При каких условиях филологические науки и дисциплины в наибольшей степени способны реализовать себя в процессах становления и развития личности?

##### **1.3. ФИЛОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ**

- ♦ Каков вклад филологии в решение этой проблемы?

1.4. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы филологии как фактора развития человека? личности?

### **Круглый стол № 2. Филология и гуманитарные науки**

2.1. Известно, что гуманитарные науки направлены в своих познавательных усилиях не столько на саму вещь, сколько на способы ее осмысления в чувствах, сознании, на способы человеческого представления, высказывания об этой вещи, что гносеологическая ситуация в гуманитарных науках – не отражение вещи, а «отражение отражения», «переживание переживания», «мысли о мыслях», «слова о словах», «тексты о текстах». М.М. Бахтин: «Сущность гуманитарного мышления – это всегда стенограмма диалога особого вида: сложное взаимоотношение *текста* (предмета изучения, обдумывания) и создаваемого *контекста* (вопрошающего, возражающего), в котором реализуется познающая и оценивающая мысль ученого. Это встреча двух текстов: готового и создаваемого, реагирующего текста, – следовательно, встреча двух субъектов. Человек в его человеческой специфике (мыслящий, говорящий) всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст (хотя бы потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, то это уже не гуманитарные науки».

♦ Какие филологические науки и дисциплины и как в наибольшей степени обеспечивают развитие содержания гуманитарного знания?

♦ Каков вклад филологических наук и дисциплин в развитие гуманитарного знания?

2.2. Гуманитарные науки осмысливают мир не сами по себе, а под углом зрения целей, интересов, потребностей, идеалов человека (совпадающих или не совпадающих с ними) и выбора человека в соответствии с ними; гуманитарная истина – это «истина-ценность» с определенной адресностью (А.С. Пушкин: «Нет истины в том, где нет любви»).

♦ Какова значимость филологических наук и дисциплин в ценностном осмыслении мира?

♦ Ценностное осмысление мира – мешает филологии? / способствует ее развитию? Повышает ее авторитет как фундаментальной науки? / Превращает ее в науку сугубо прикладную?

2.3. Современная тенденция развития гуманитарного знания – стремление понять частно-индивидуальный смысл человеческой жизнедеятельности через интерессубъектную значимость ее.

♦ Каков вклад конкретных филологических наук и дисциплин в эту современную гуманитарную тенденцию?

2.4. Гуманитарная мысль стремится понять человека в его взаимоотношении с миром через реальные или воображаемые миры, в борьбе с «обезличиванием» человека и мира.

♦ Какие филологические науки и дисциплины концентрируют свои усилия на познании этих сторон гуманитарного знания? как это происходит? каковы успехи филологии на этом пути? каковы проблемы?

2.5. Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития взаимоотношений филологии и других гуманитарных наук? Не попадает ли филология в новый, гуманитарнонаучный « плен »?

### **Круглый стол № 3. Филология и образованность человека**

3.1. *Филологическая образованность* – наличие освоенных человеком филологических знаний, умение работать с этими знаниями, компетентность в вопросах филологии, высокий уровень эстетического восприятия действительности и владения коммуникативно-речевыми нормами общения.

♦ Каков вклад филологических наук и дисциплин в освоение человеком навыков и умений культуросообразного поведения в социально значимых ситуациях, знания возможностей, правил и норм реализации своих интересов, в обеспечение безопасности человека и общества в целом, в положительную социализацию личности?

♦ Какова роль филологических наук и дисциплин в формировании и развитии в человеке способности быть субъектом культуры и общения?

3.2. Что, по Вашему мнению, требуется от современной средней и высшей профессиональной школы для успешного решения задач филологической образованности человека?

3.3. Какой уровень филологической образованности человека нужен современному российскому обществу? В перспективе?

♦ Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития филологической образованности отдельного человека? Общества в целом?

**С.А. Минеева, кандидат филологических наук (Пермь),  
А.А. Чувакин, доктор филологических наук (Барнаул),  
сопредседатели конференции**



## РЕЗЮМЕ

## SUMMARY

**В.П. Даниленко. Языковая картина мира в теории Л. Вайсгербера.** Статья посвящена описанию глубокой и тонко разработанной концепции языковой картины мира Л. Вайсгербера. В центре внимания Л. Вайсгербера всегда находился не язык как таковой, а заключенная в нем особая точка зрения на мир со стороны его носителей. Не отрицая влияния языковой картины мира на наше мышление, автор статьи указывает на приоритет неязыкового (невербального) пути познания перед языковым, при котором не язык, а сам объект задает нашей мысли то или иное направление. Не языковая картина мира в конечном счете определяет наше мировоззрение, а сам мир, с одной стороны, и независимая от языка концептуальная точка зрения на него, с другой.

**V.P. Danilenko. Linguistic World Concept in L. Weisgerber's Theory.** The article is devoted to L. Weisgerber's linguistic world concept. L. Weisgerber's point is not the language itself, but a special point of view of the speakers. The author stresses the priority of nonverbal way of getting knowledge when the object directs our thoughts. The world itself and conceptual point of view define our world consciousness.

**Н.В. Бугорская. «Темно и вяло» vs «образцово и просто»: два стиля научного письма.** Статья посвящена выявлению различных предпосылок формирования двух стилевых манер научного письма: одна характеризуется усложненностью форм языкового выражения и условно может быть названа *эзотерической*, другая пропагандирует простоту и ясность изложения.

**N.V. Bugorskaya. «Ignorant and Languid» vs. «Exemplary and Simple»: two Styles of Scientific Writing.** The article is devoted to the formation of two style manners of scientific writing. The first manner is characterized by complicated language structures and may be called *ezoteric*. Simplicity and lucidity of narration characterize the second one.

**В.С. Савельев. О современных методах исследования древнерусского текста (на материале «Повести временных лет»).** Используя методы исследования речевой коммуникации, автор статьи приходит к выводу, что создатель «Повести временных лет», реализуя в тексте свое представление о коммуникативном событии как явлении комплексном, дает ему характеристики, соотносимые с категориями современной лингвистики.

**V.S. Savelyev. On Modern Research Methods of Old Russian Text (in «Povest Vremennykh Let»).** It is obvious, that the study of the old Russian texts is impossible without usage of the methods of the contemporary linguistics. We tried to illustrate this thesis by analyzing some descriptions of speech act, which have been used for introduction of direct discourse in the old Russian Chronicle «Povest Vremennykh Let» (XII century), using the categories of «communicative doings».

**А.Т. Тыбыкова. О категории модальности в алтайском языке.** Особенностью категории модальности в алтайском языке является то, что модальная семантика может быть задана не только модальными аналитическими глагольными конструкциями, но также и синтетическими формами наклонений. Функция передачи сложных модальных значений ложится на предикат, который приобретает аналитическую грамматическую форму. В этой синтаксической роли выступают аналитические конструкции, состоящие из лексического компонента – знаменательного глагола, а служебным компонентом – вспомогательные глаголы, модальные слова и частицы, которые вносят в предложение разные оттенки модальной семантики.

**A.T. Tybykova. Peculiarities of Modal Category in Altai Language.** The modal semantics can be made not only with the help of analytical verbal structures but the synthetic mood forms. The predicate expresses complicated modal meanings and gets analytical grammar form. Analytical structures play this syntactic role. They consist of the main verb, helping verb, modal words and particles that bring different modal meanings to the sentence.

**Э.В. Хилханова. Проблема основного языка при двуязычии и критерии его определения (на примере бурятско-русского двуязычия).** В статье рассматривается вопрос об идентификации основного языка в ситуации двуязычия. Производится эмпирическая верификация критериев выделения основного языка посредством анализа транскриптов аудиозаписей естественных диалогов двуязычных бурят.

**E.V. Khilkhanova. The Problem of Matrix Language in Bilingualism and Criteria of its Definition (Exemplified on the Buryat-Russian Bilingualism).** The paper deals with the issue of matrix language identification in a bilingual situation. The author provides empirical verification of matrix language identification criteria while analyzing transcripts of naturally occurring dialogues of bilingual Buryats.

**Л.В. Чернец. О «внесценическом» времени и пространстве.** Статья посвящена соотношению сценического и внесценического пространства и времени в эпических и драматических произведениях, составляющему важный аспект сюжетной композиции произведения, а также «поэтического», иносказательного языка художника слова.

**L.V. Chernets. On «Outscenic» Time and Space.** The article is devoted to the interrelation between scenic and outscenic space and time in epic and dramatic works. It is an important aspect of the plot and «poetic» language of the writer.

**О.М. Гончарова. Поэзия В.А. Жуковского и русская лирика XIX–XX веков: наследие и наследники в пространстве смыслов и текстов.** «Наследие» Жуковского, выросшее из поэтических исканий XVIII столетия и актуализованное в поэзии XX века, стало своеобразным моментом «перелома» в поэтической истории и концептуальной «памятью» об истоках, началах и основаниях тех смысловых пространств, в которых реализует себя русский Поэт. Именно Жуковский в своей практике обозначает момент «перехода» от уже накопленного опыта к новым поэтическим горизонтам: таким «переходом» становится смена структуры поэтического «языка». Роль Жуковского в этом процессе состояла в переводе сконструированной концептосферы в поэтическую реальность.

**O.M. Goncharova. V.A. Zhukovsky's Poetry and Russian Lyrics of XIX–XX: Legacy and Successors in Meaning Space and Texts.** Zhukovsky's «Legacy» coming from XVIII century and realized in the poetry of XX century became a critical moment in poetry and conceptual «memory» about meaning space sources of the Russian Poet. Zhukovsky emphasizes the «transition» from the experience to the new poetic horizons. The transition is the changing of the poetic «language» structure. Zhukovsky has transferred the structural conceptual sphere into poetic reality.

**О.А. Ковалев. Оправдание вымысла как стратегия нарративного текста (на материале творчества Ф.М. Достоевского).** Категории «вымысел», «фантазия», «воображение» относятся к числу важнейших понятий в рассуждениях Достоевского об искусстве. Однако в его художественном творчестве присутствует бессознательная рефлексия о данных феноменах, не всегда совпадающая с эксплицитной эстетикой писателя.

**O.A. Kovalyov. Fiction Justification as Narrative Text Strategy (in F.M. Dostoevsky's works).** The categories of fiction, fantasy, imagination are the most important notions in Dostoevsky's reasoning about arts. There is a conscious reflection about these phenomena in his fiction and it doesn't always coincide with explicit writer's aesthetics.

**И.Б. Казакова. Идеи неоплатонизма в мировоззрении С.Т. Кольриджа.** В статье рассматривается вопрос о влиянии неоплатонической философии на английского романтика С.Т. Кольриджа. Особое внимание уделяется неоплатонической проблематике в теоретических сочинениях писателя.

**I.B. Kazakova. Neoplatonic ideas in Coleridge's views.** The article is devoted to the question of Neoplatonic philosophy's influence on English romanticist S.T. Coleridge. Special consideration is given to the Neoplatonic problems in theoretical work by this writer.

**Е.Н. Татаринцева. Моделирование принципов русской орфографии как единиц лингвоперсоналогического функционирования языка (на шкале «отражательное – условное»).** В статье рассматривается моделирование принципов русской орфографии как единиц лингвоперсоналогического функционирования языка (на шкале «отражательное – условное»). В ней со-

держатся основные положения исследования; параметры описания орфографических принципов в лингвоперсоналогическом аспекте, связанные как с системой языка, так и с ее функционированием; стратегии проведения экспериментов, направленных на изучение и описание различных вариантов орфографической способности языковой личности.

**E.N. Tatarintseva. Modelling of Russian Orthography Principles as Units of Linguistic Personality Functioning (on the Scale «Reflecting- Conditional»).** The article deals with the modelling of Russian orthography principles as units of language functioning in the aspect of linguistic personality (on the scale «reflecting – conditional»). It contains the main idea of the research; the parameters of the orthography principles described in the aspect of linguistic personality, which are connected with the system of Russian language and it's functioning; strategies of experiments for researching and describing orthography capacity variants or linguistic personality.

**Л.В. Иванова. Роль англо-американских сокращений в современных немецких средствах массовой информации.** В данной статье рассматриваются тенденции в развитии аббревиации современного немецкого языка, представляющие приоритетный интерес для лингвистов, а именно: заимствование англо-американских сокращений в современных немецких СМИ, причины и условия проникновения заимствованных сокращений в немецкоязычную прессу, а также сферы употребления англо-американских заимствованных сокращений в СМИ.

**L.V. Ivanova The Role of the Anglo-American Borrowings in the German Media.** The article deals with the abbreviation trends in modern German. It focuses on Anglo-American borrowings in the German Media, causes and conditions of the appearance of loan abbreviations in German Press and on the sphere of their usage in the Media.

**А.В. Марушак. Специфика публицистических текстов отечественной прессы периода хрущевской «оттепели» (1953–1964 годы).** Статья посвящена анализу публицистических текстов периода правления Н.С. Хрущева как текстов смысловывявляющих по методике Е.Е. Прониной.

**A.V. Marushchak. The Specific Character of Publicistic Texts of Khrushchev's Period (1953–1964).** The article is dedicated to the analysis of publicistic texts of Khrushchev's period as meaning-revealing texts by E.E. Pronina methodology.

**О.А. Киба. Основные направления лексического варьирования в списках Повести о Петре и Февронии: системно-функциональный аспект.** Статья посвящена лексическому варьированию в списках Повести о Петре и Февронии. Основные направления лексического варьирования, такие как замена синонимов и функциональных вариантов, объяснены на материале 10 списков из Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

**O.A. Kiba. Main Directions of Lexical variation in the Manuscripts of the Story about Peter and Fevroniya: System-Functional Aspect.** The article is devoted to lexical variation in the manuscripts of the Story about Peter and Fevroniya.

Main directions of lexical variation such as substitution of synonyms and functional variants are illustrated in the article on the material of 10 manuscripts from Russian National Library (Saint-Petersburg).

**Ю.Б. Бакулина. Античные мотивы и образы в творчестве Н.С. Гумилева.** В данной статье рассмотрены три ключевых античных мотива в творчестве Н.С. Гумилева: мотив духовного странничества, мотив земного мира, героический мотив. Это является важным моментом в осмыслении взаимосвязи русской и зарубежной (античной) традиций в творчестве Гумилева.

**Y.B. Bakulina. Antique Motives and Images in N.S. Gumilyov's Creativity.** In given clause three key motives of antique creativity by N.S. Gumilyov are considered: motive of spiritual wandering, motive of the terrestrial world, heroic motives. It is an important point in the analysis of interrelation of Russian and foreign traditions in creativity by Gumilyov.

**Т.А. Самсонова. Художественная функция литературных имен в лирике А.А. Ахматовой.** В статье анализируются литературные имена в стихотворениях А.А. Ахматовой. Доказывается значимость художественной функции этих имен в ахматовском лирическом тексте.

**T.A. Samsonova. Artistic Function of the Literary Names in A.A. Akhmatova's Poems.** The article is an analysis of literary names in Akhmatova's poems. The author proves the importance of artistic function of these names in lyric text.

**А.Ю. Ольховая. «Запрет смеха» в повести-сказке В.М. Шукшина «До третьих петухов».** В статье автор рассматривает значение запрета на смех в фольклорной сказке о Несмеяне и повести-сказке Шукшина «До третьих петухов». При этом смех анализируется не только как эстетическое основание, но и как предмет и персонаж шукшинской повести.

**A.Y. Olkhovaya. Laugh Prohibition in V.M. Shukshin's Tale «Do Tretykh Petukhov».** The author analyses Shukshin's tale «Do tretykh petukhov». The prohibition of laugh is studied as an esthetic base and as the subject of this tale.

**К.В. Быстрова. Интернет как современный ареал бытования сказки.** В статье рассматриваются проблемы распространения и обитания в Интернете фольклора как формы массового сознания.

**K.V. Bystrova. Internet as a modern area of being fairy-tale.** The article touches upon a problem of spreading and being folklore as a form of mass consciousness in Internet.

## НАШИ АВТОРЫ

**БАКУЛИНА,  
Юлия Борисовна**

– аспирант Самарского государственного педагогического университета  
E-mail: buranok@yandex.ru

**БУГОРСКАЯ,  
Надежда Васильевна**

– кандидат филологических наук, доцент Алтайского государственного университета (Барнаул)  
E-mail: bugorskaya2005@yandex.ru

**БЫСТРОВА,  
Ксения Викторовна**

– аспирант Тверского государственного университета  
E-mail: kseniya-11@yandex.ru

**ГОНЧАРОВА,  
Ольга Михайловна**

– доктор филологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)  
E-mail: gsah@herzen.spb

**ДАНИЛЕНКО,  
Валерий Петрович**

– доктор филологических наук, профессор Иркутского государственного лингвистического университета  
E-mail: dvp@home.isu.ru

**ИВАНОВА,  
Любовь Владимировна**

– аспирант Барнаульского государственного педагогического университета  
E-mail: ljuba80@mail.ru

- КАЗАКОВА,  
Ирина Борисовна** – кандидат филологических наук, доцент Самарского государственного педагогического университета  
E-mail: kib\_sam@mail.ru
- КАЧЕСОВА,  
Ирина Юрьевна** – кандидат филологических наук, доцент, докторант Алтайского государственного университета (Барнаул)  
E-mail: ikachesova@mail.ru
- КИБА,  
Олег Александрович** – аспирант Алтайского государственного университета (Барнаул)  
E-mail: kibaoleg@yandex.ru
- КОВАЛЕВ,  
Олег Александрович** – кандидат филологических наук, доцент, докторант Алтайского государственного университета (Барнаул)  
E-mail: kovalev\_oa@mail.ru
- КОЩЕЙ,  
Любовь Алексеевна** – кандидат филологических наук, доцент Алтайского государственного университета (Барнаул)  
E-mail: chuvakin@inbox.ru
- КУЛЯПИН,  
Александр Иванович** – доктор филологических наук, профессор Алтайского государственного университета (Барнаул)  
E-mail: rfl@filo.asu.ru
- МАРУЩАК,  
Анастасия Васильевна** – аспирант Алтайского государственного университета (Барнаул)  
E-mail: nastyam-s@list.ru
- МИНЕВА,  
Светлана Алексеевна** – кандидат филологических наук, доцент, руководитель школы риторики диалога НП «Западно-Уральский учебно-научный центр» (Пермь)  
E-mail: rhetoric@pi.cd.ru

- ОЛЬХОВАЯ,  
Анна Юрьевна** – аспирант Алтайского государственного университета (Барнаул).  
E-mail: annaolch@rambler.ru
- ПАНЧЕНКО,  
Наталья Владимировна** – кандидат филологических наук, доцент Алтайского государственного университета (Барнаул)  
E-mail: panchenko@list.ru
- САВЕЛЬЕВ,  
Виктор Сергеевич** – кандидат филологических наук, доцент Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова  
E-mail: alfertinbox@mail.ru
- САМСОНОВА,  
Татьяна Александровна** – аспирант Самарского государственного педагогического университета  
E-mail: SamsonovVV1@yandex.ru
- ТАТАРИНЦЕВА,  
Елена Николаевна** – кандидат филологических наук, старший преподаватель Алтайской академии экономики и права (Барнаул)  
E-mail: lenta\_22@mail.ru
- ТЫБЫКОВА,  
Александра Тайбановна** – доктор филологических наук, профессор Горно-Алтайского государственного университета  
E-mail: tayban@rambler.ru
- ХИЛХАНОВА,  
Эржен Владимировна** – кандидат филологических наук, доцент Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств (Уфа)  
E-mail: erzhen133@mail.ru
- ЧЕРНЕЦ,  
Лилия Валентиновна** – доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова  
E-mail: sovet01@filo.asu.ru

**ЧЕРНЫШОВА,  
Татьяна Владимировна** – доктор филологических наук, профессор  
Алтайского государственного университета  
(Барнаул)  
E-mail: labrlexis@mail.ru

**ЧУВАКИН,  
Алексей Андреевич** – доктор филологических наук, профессор  
Алтайского государственного университета  
(Барнаул)  
E-mail: chuvakin@inbox.ru

**ШАХОВСКИЙ,  
Виктор Иванович** – доктор филологических наук, профессор Вол-  
гоградского государственного педагогического  
университета  
E-mail: shakhov@vspu.ru

Журнал распространяется по подписке.  
Подписной индекс 36795  
в каталоге «Газеты. Журналы» Агентства «Роспечать»

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых  
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.  
Свидетельство ПИ № ФС77-30179 от 02.11.2007 г.

Журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и  
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты  
диссертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (редак-  
ция апрель 2008)». Согласно решению Президиума Высшей аттестационной  
комиссии Минобрнауки России от 10 октября 2008 года № 38/54 с 10 октября  
2008 года к изданиям, рекомендованным для публикации основных научных  
результатов докторских и кандидатских диссертаций, относятся все издания,  
включенные в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-  
ний, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубли-  
кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых сте-  
пеней доктора и кандидата наук.

Сдано в набор 26.01.2009. Подписано в печать 29.01.2009. Формат 60×84/16.  
Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л.  
12. Тираж 500 экз. Заказ № .

Отпечатано в типографии «Графикс»:  
г. Барнаул, ул. Крупской, 108

© Издательство Алтайского университета.  
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66.

### Требования к оформлению присылаемых в редакцию материалов

1. Редакция журнала принимает статьи объемом до 0,75 авторского листа (30 тыс. знаков с пробелами), научные сообщения – до 0,4 авторского листа (16 тыс. знаков с пробелами), другие материалы – до 0,15 авторского листа (6 тыс. знаков с пробелами).
2. Электронные материалы должны быть представлены в формате Word for Windows. Интервал точно 12 пт (полуторный); шрифт – Times New Roman, кегль 12. Для знаков, отсутствующих в шрифте Times New Roman (для транскрипции, иноязычных примеров и т.д.), используются стандартные распространенные шрифты (Symbol, Lucida Sans Unicode, SILDoulosIPA, SILDoulos IPA93). При использовании оригинальных шрифтов их файлы (формат \*.ttf – True Type Font) необходимо выслать вместе со статьей приложением к электронному письму. Для создания схем, графиков, иллюстраций используются программы стандартного пакета Microsoft Office; графика должна быть внутри файла.
3. Примеры в тексте статьи оформляются курсивом.
4. Примечания к тексту оформляются в виде постраничных сносок и имеют постраничную нумерацию.
5. Библиографическое описание изданий оформляется в соответствии с действующим ГОСТом Р 7.0.5-2008 и приводится в конце работы по алфавиту. Источники на иностранных языках располагаются после источников на русском языке.
6. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, где указываются фамилия автора, год издания, цитируемые страницы. Например: [Виноградов, 1963, с. 46]. Если в библиографии упоминается несколько работ одного и того же автора и года, то используется уточнение: [Горелов, 1987*a*]. В списке литературы делается такая же пометка.
7. Неосновной текст, предваряющий статью (научное сообщение), состоит из следующих компонентов: код по УДК и код по ББК; название (на русском и английском языках), и.о. фамилия автора (на русском и английском языках), аннотации на русском и английском языках (не более 250 слов каждая), ключевые слова на русском и английском языках (не более 6-ти на каждом языке).
8. Статьи следует направлять по адресу: 656049 г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Алтайский государственный университет, филологический факультет, ауд. 411-а, отв. секретарю журнала Панченко Наталье Владимировне. Почтовые отправления в обязательном порядке дублируются по электронной почте. Электронная версия отправляется вложенным файлом по адресу: [soveto1@filo.asu.ru](mailto:soveto1@filo.asu.ru) (В разделе «Тема» просим указать: «В редакцию журнала».) К статье прилагается справка об авторе или авторах: фамилия, имя, отчество, место работы (полное название организации с указанием адреса и почтового индекса), должность, ученая степень, ученое звание, служебный и домашний адрес, номера телефонов/факса, электронная почта. **Наличие адреса электронной почты обязательно!**
9. Статьи, оформленные в нарушение приведенных правил или плохо отредактированные, редакцией не рассматриваются.

**Примечания:** 1. Научные тексты, присылаемые аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук, должны отражать основные результаты исследования, соответствовать жанру научного сообщения и сопровождаться рекомендацией кафедры, при которой выполняется диссертационная работа (оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры), и отзывом научного руководителя (с оценкой актуальности темы исследования, новизны полученных результатов, их теоретической и практической значимости) и рекомендацией к печати в журнале «Филология и человек». Сопроводительные документы (скрепленные печатью организации) сканируются и высылаются в редакцию по электронной почте или передаются по тел./факсу (3852)366384.

2. **Обращаем внимание, что указанный в п. 1 объем научного текста учитывает все его компоненты (от названия до примечаний и источников материала включительно).**

3. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.